

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А. И. Герцена
Факультет иностранных языков

*Заслуженному деятелю науки РФ,
доктору филологических наук,
профессору кафедры английской филологии
РГПУ им. А. И. Герцена
Михаилу Васильевичу Никитину
посвящается*

STUDIA LINGUISTICA

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

XVIII

Санкт-Петербург
Политехника-сервис
2009

Печатается по решению Ученого совета
факультета иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор Г. А. Баева (Санкт-Петербургский государственный университет);

доктор филологических наук, профессор Л. М. Нюбина (Смоленский государственный университет)

Ответственные редакторы:

доктор филологических наук, профессор И. А. Щирова;

кандидат филологических наук, доцент Ю. В. Сергаева

Член редколлегии:

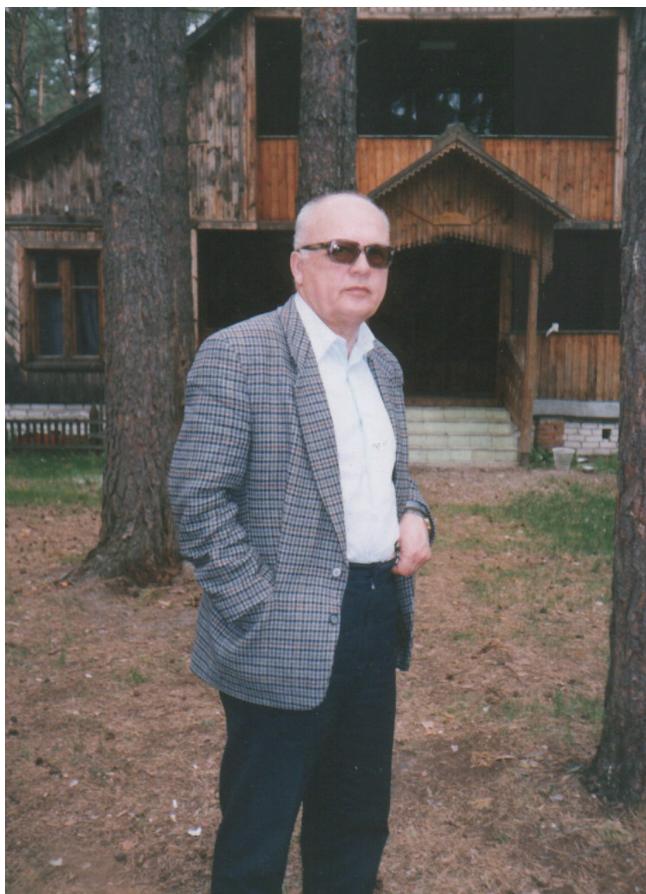
кандидат филологических наук, доцент К. И. Масленникова

Технический редактор: В. С. Федякова

STUDIA LINGUISTICA XVIII. Актуальные проблемы современного языкоznания: Сборник. — СПб.: Политехника-сервис, 2009. — 359 с.

Сборник STUDIA LINGUISTICA XVIII посвящен ученому с мировым именем, Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору кафедры английской филологии, доктору филологических наук, Почетному профессору Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Михаилу Васильевичу Никитину, чьи идеи и научные теории находят отражение в статьях сборника. Материалы STUDIA LINGUISTICA XVIII охватывают актуальные проблемы современного языкоznания, включая проблемы когнитивной и лексической семантики, диахронического описания языка, теории текста, лингвостилистики и лингвистики текста, перевода и межкультурной коммуникации. Отличительной чертой сборника выступает его междисциплинарная направленность, отвечающая современному этапу развития гуманитарных технологий в сфере образования и науки.

Сборник рассчитан на специалистов в области филологического знания и на более широкую аудиторию, интересующуюся вопросами языка и современной гуманитаристики.



М. В. Никитин

Михаил Васильевич Никитин — Заслуженный деятель науки Российской Федерации, выдающийся учёный, лингвист широкого профиля, автор фундаментальных трудов по теории и истории английского языка, общему и русскому языкознанию, семиотике, семиотике и прагматике английского языка, когнитивистике и методике преподавания иностранных языков.

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Этот выпуск сборника *STUDIA LINGUISTICA* посвящён учёному с мировым именем — доктору филологических наук, профессору Михаилу Васильевичу Никитину. Мощный интеллект и замечательные человеческие качества Михаила Васильевича вот уже в течение нескольких десятилетий определяют образ науки на факультете иностранных языков РГПУ им. Герцена и, в первую очередь, на его «родной» кафедре английской филологии. В эпоху, справедливо упрекаемую за «варварство специализма» и дисциплинарную фрагментацию, универсальный размах мысли учёного был отмечен многочисленными почётными наградами. Михаил Васильевич Никитин — Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации, Почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена. В числе наград профессора Никитина — орден Дружбы народов, Знак почета, медаль «За доблестный труд», иные знаки профессионального отличия. Есть и ещё одна, как думается, немаловажная награда — любовь и уважение коллег и учеников Михаила Васильевича, их восхищение и преданность, их готовность неустанно трудиться, чтобы продолжать традиции учителя.

Михаил Васильевич Никитин работает в РГПУ с 1975 года, но началось всё гораздо раньше ...

Юные годы М. В. Никитина совпали с Великой Отечественной войной, а студенческий период жизни — с послевоенным временем. В 1948 г. талантливый студент поступает, а в 1953 оканчивает с отличием 1-й Ленинградский институт иностранных языков по специальности «переводчик с русского языка на английский». Благодарность своим учителям, выдающимся ученым С. Д. Кацнельсону, В. Г. Адмони и И. П. Ивановой он сохраняет навсегда.

Серьёзный интерес к научной деятельности приводит молодого исследователя в аспирантуру при Ленинградском государственном университете (специальность «английская филология»), где в 1959 г. под руководством Е. И. Калугиной он блестяще защищает кандидатскую диссертацию по теме «Становление определенного и неопределенного артикля в английском языке». После окончания аспирантуры М. В. Никитин направляется по распределению в столицу Киргизской ССР г. Фрунзе (ныне — Бишкек), чтобы применить полученные знания в жизни: совмещает чтение

лекционных курсов по истории английского языка и теоретической грамматике с практическими занятиями по английскому языку. Чуть позже — продолжает научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность уже во Владимирском государственном университете. Ему он отдаёт целых 13 лет.

В 1964–1966 гг. М. В. Никитин — эксперт ЮНЕСКО в Монгольской народной республике. В Улан-Баторе он выполняет широкий круг обязанностей, направленных на укрепление дружбы народов двух стран: обучает преподавателей, занимается пополнением книжных фондов монгольских библиотек и финансовыми вопросами. Для организации конференций по линии ЮНЕСКО он неоднократно выезжает в Париж.

Вернувшись во Владимир, Михаил Васильевич Никитин полностью посвящает себя науке. В феврале 1975 г. в ЛГПИ он блестяще защищает докторскую диссертацию по теме «Лексическое значение в слове и словосочетании» (специальность 10.02.04. — «германские языки», научный консультант проф. И. В. Арнольд). С этого момента «начинается отсчёт» герценовского периода его жизни.

На протяжении многих лет — с 1975 г. по 2007 г. — он заведует одной из крупнейших теоретических кафедр ЛГПИ/РГПУ им. А. И. Герцена — кафедрой английской филологии, совмещая эту работу с деятельностью декана факультета иностранных языков. С 1976 по 1996 год декан М. В. Никитин успешно внедряет на факультете концепцию совершенствования гуманитарного образования, что находит отражение в новых учебных программах и новых учебных дисциплинах.

Наука занимает в жизни профессора М. В. Никитина всё более важное место. Он возглавляет Диссертационный Совет Д 212.199.05 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук в РГПУ, руководит научным направлением «Когнитивно-прагматические аспекты языка и речи, проблемы порождения и восприятия дискурса». Направление, представленное более чем 20 докторами филологических и педагогических наук, охватывает 11 языковых и методических кафедр. Созданная профессором Никитиным научная школа объединяет несколько поколений исследователей. Под его научным руководством успешно защищают диссертации свыше 60 кандидатов и докторов наук.

В настоящее время М. В. Никитин является профессором кафедры английской филологии, осуществляет научное руководство, является членом Диссертационного Совета Д 212.199.05. Ежегодно он «дарит» нам свою очередную новую книгу, большинство из которых давно и по праву считаются классикой научной литературы. Общий объём научных публикаций профессора М.В. Никитина, в том числе научных монографий, учебных пособий, словарей и научных статей — около 300 печатных листов. Наиболее значимые работы: «Лексическое значение слова» (1983 г.), «Основы лингвистической теории значения» (1988 г.), «Знак — значение — язык» (2001 г.), «Основания когнитивной семантики» (2003 г.), «Новый русско-английский учебный словарь (НРАУС)» (2005 г.), «Курс лингвистической семантики» (2007 г.).

Ну, наконец, 2009 г. — год славного юбилея профессора Михаила Васильевича Никитина...

Дорогой Михаил Васильевич! Спасибо Вам за подаренную возможность считаться Вашими современниками и, хотелось бы надеяться, единомышленниками. Спасибо за то, что Ваша богатая, насыщенная и необходимая всем нам жизнь наполняет нас идеалами и заставляет стремиться к поиску научной истины, какую бы труднодостижимой она порою не казалась. С юбилеем Вас, дорогой Михаил Васильевич!

Коллеги, ученики, друзья

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАНИЯ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

М. В. Никитин

ОБ УРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА¹

В современной лингвистике прочно укрепилось представление о языке как структуре уровней с иерархической организацией. Однако состав и сущность уровней, характер межуровневых связей, определение основных единиц языка, соответствующих уровням его структуры, вызывают серьезные разногласия. Эти разногласия в значительной мере объясняются тем, что при стратификации языковой структуры и определении языковых единиц зачастую смешиваются два разнородных основания: функциональное и формальное. Споры о природе фонемы, морфемы, слова и т. д., по-видимому, не могут быть решены, если не усolvиться о строгом разграничении *функции* и *формы* как двух разных оснований, дающих две различные таксономии языковых единиц. Настоящая статья является попыткой изложить в общих чертах концепцию основных языковых уровней и единиц, исходя из последовательного различения функционального и формального таксономических критериев.

1. Функция, форма, содержание, значение.

Сами понятия функции и формы в языке и сопряженные с ними понятия содержания и значения далеко не очевидны и нуждаются в пояснении. Применительно кteleологическим сущностям, т. е. сущностям с заданной целью, функция есть цель, назначение, *raison d'être* того, что чему-то служит. Язык относится к сущностям такого рода, и его единицы должны рассматриваться прежде всего в телеологическом, функциональном аспекте.

Относительно тех же телеологических сущностей форма есть способ осуществления функции, средство её реализации. Философским противочленом формы, т. е. универсальной категорией, противопоставленной форме, является содержание. Нетрудно ви-

¹ Более подробно представленная в статье типология разноуровневых языковых единиц рассматривается в готовящемся к публикации учебном пособии автора «Уровневая структура языка» (прим. редакторов).

деть, что функция — это содержание телеологических сущностей. В таком случае соотношение формы и функции в языке описывается как частный случай общего соотношения формы и содержания. Известно, что философские категории формы и содержания принято рассматривать как две стороны объектов, относительно, но не полностью независимые друг от друга: содержание определяет развитие объекта и задает предел варирования его формы, форма со своей стороны не безразлична к содержанию и способна модифицировать его. Форма и содержание, таким образом, связаны некоторой упорядоченной неслучайной и непроизвольной зависимостью. Тем самым философское понимание зависимости между формой и содержанием сближается с математическим понятием функции как правила, по которому каждому элементу данного множества ставится в соответствие некоторый объект (см., например, [Кемени, Снелл, Томпсон, 1963: 95–96]). Различие состоит в большей определенности и меньшей содержательности математического понятия, сравнительно с философским.

Но в лингвистике, как, впрочем, и в других науках, касающихся семиотических (здесь в широком смысле — относящихся к знаку) проблем, термин «содержание» и дериват «содержательный» широко используются также в другом смысле как синоним значения, означаемого. Противоположном содержания в этом смысле выступает означающее, десигнатор. Поскольку содержание в первом, философском смысле коррелирует с формой, то эту корреляцию аналогически распространяют и на второй, семиотический смысл термина: говорят об означаемом как содержательной стороне, или просто содержании знака, а об означающем как его формальной стороне, или просто форме. Многозначность термина всегда нежелательна, а в данном случае способна породить серьезную путаницу в методологии языка. Возникает иллюзия, что отношение между двумя сторонами знака, значением (означаемым, десигнатом) и формой, его выраждающей (означающим, десигнатором) — это частный случай зависимости между содержанием и формой в философском смысле терминов. Эта иллюзия в разных вариантах широко представлена в истории лингвистики от античности до наших дней, ср. теорию «фюсей», мысли В. Гумбольдта о языке как выразителе и творце духа и мировоззрения народа, идеи неогумбольдтианства о языке как «промежуточном мире»

национального мировоззрения, гипотезу Э. Сепира-Б. Уорфа о зависимости между структурой языка и категориями сознания, разнообразные попытки разграничить «собственно языковые» значения и понятия как разные концептуальные формы, определить значение как функцию (здесь в математическом смысле термина) употребления знака, как функцию свойственных знаку формальных признаков (например, как функцию характерных для него дистрибуций и трансформаций) и т. п.

Между тем связь десигнатора и десигната носит принципиально иной характер, чем отношение формы и содержания как философских категорий.

Две стороны знака не обнаруживают никакой двусторонней естественной зависимости, их связь устанавливается произвольно, по условию, хотя бы и спонтанно возникающему. Десигнатор любой формы хорош для десигната, хотя предпочтение отдается тем, которые не противоречат другим установлениям и соглашаются со сложившейся или принятой системой установлений. Дискретизация и стратификация сознания определяется не языком, а деятельностью людей, общественной практикой. Что же касается структур языка, то они лишь подстраиваются к этому процессу и весьма неадекватно его отражают. В соотношении язык—сознание ведущим фактором выступает сознание, но категории сознания не имеют прямого изоморфного отражения в соответствующих участках языковой структуры, а «распределены» на разных уровнях этой структуры. Таким образом, не только отношение десигнатора и десигната не сводимо к отношению формы и содержания, но и структуры десигнаторов не являются прямым изоморфным отображением структуры сознания.

Вполне справедливо в телеологическом смысле сказать «выражение значения есть функция десигнатора», но ни в телеологическом, ни в математическом смысле термина «функция» нельзя утверждать «значение есть функция десигнатора»: это утверждение или бессмысленно или ложно. Говоря о содержании и форме в языке, следует уточнять смысл этих терминов: *содержание* 1) функция в телеологическом смысле, 2) значение; *форма* 1) противочлен функции, способ осуществления функции, 2) десигнатор с точки зрения его внутреннего строения, внутренних признаков, отличающих один десигнатор от других независимо

от функции (содержания-1). В настоящей статье о функциях и форме языковых единиц говорится в первом из указанных смыслов.

2. Функциональные и формальные единицы языка.

Естественным языкам при всем их типологическом разнообразии свойственны общие черты, или лингвистические универсалии. Наличие таких универсалий в структуре языков обусловлено общностью функции языков и общностью психического и физиологического субстратов, на которых основан язык. Иначе говоря, функция, для которой возникает язык, и особенности человеческой природы, т. е. условия осуществления этой функции, вынужденно приводят к выбору определенной структуры, принципиально одинаковой при всем разнообразии ее конкретного воплощения. Язык есть прежде всего устройство с заданной целью, функцией.

Единицы языка, как и единицы любого функционального устройства, могут быть охарактеризованы двояко, по их функциональному назначению в структуре языка (*функциональные единицы*) и по их формальным особенностям (*формальные единицы*). В первом случае единица характеризуется по её внешним отношениям, т. е. по отношениям части к целому, а во втором случае — по её внутренним особенностям, т.е. по отношениям целого к целому.

Соответственно устанавливаются два ряда единиц, понятий и терминов для описания структуры языка: 1) относящиеся к функциям в структуре; 2) относящиеся к форме. (Аналогия для пояснения: в структуре транспортного средства необходима ходовая часть. Ею могут быть колеса, штанги, гусеницы, винт и др. Все они тождественны относительно того, какую функцию они выполняют, т. е. все они являются одной и той же функциональной частью целой структуры. Вместе с тем все они различны относительно того, как эта функция ими выполняется, т. е. все они различны по внутреннему строению, по своей форме, по заложенному в них принципу). Между формой и функцией существует двусторонняя зависимость: функция ограничивает вариабельность формы, со своей стороны форма модифицирует функцию. Одна может подчинять другую в зависимости от того, насколько велики мутационные возможности формы.

3. Таксономия функциональных единиц

Для функциональной структуры языка свойственна уровневая организация, основанная на принципе иерархического включения, так что единицы высшего уровня обладают всеми свойствами единиц низшего уровня и дополнительным качеством, которого нет у единиц низшего уровня. Тот же принцип имеет вид иерархического исключения, если идти от верхних уровней к низшим (что, по-видимому, соответствует онто- и филогенезу языка).

Выявляются следующие основные функциональные уровни и соответствующие им уровневые единицы (в порядке нисходящей иерархии): коммуникация смысла (значения) — *коммуникаторы*; номинация смысла — *номинаторы*; фиксация смысла — *фиксаторы*; различение смысла — *дистинкторы* [см. также Никитин, 2007: 75]. Все указанные уровни и единицы объединены функцией различения смысла и образуют иерархически организованный класс контентивных уровней и единиц.

Наряду с классом контентивных единиц существует также особый функциональный класс формативных единиц (*форматоров*), не связанных с различением смысла, но обеспечивающих построение контентивных единиц на разных уровнях. Форматоры в целом определяются как функциональный класс референционно бессодержательных языковых единиц, обеспечивающих организацию и функционирование контентивных единиц разных уровней и их межуровневые связи (например, показатели согласования прилагательных и глаголов, основообразующие суффиксы, показатели грамматического рода, соединительные гласные в сложных словах, беглые и вставные эпентетические гласные и согласные и др.) Формативная функция нередко слита с контентивными единицами или заложена в них самих.

Внутри класса контентивных функциональных единиц проводится разграничение на подкласс дистинкторов и собственно контентивных единиц по существенному отличию: единицы, просто различающие смысл, и единицы, различающие и дискретизирующие (квантующие) смысл. Первые просто различают смысл, но не связываются с определенным смыслом. Вторые и различают смысл и соотнесены с определенным смыслом.

Дистинкторы — функциональные единицы, различающие смысл в составе единиц высшего порядка, но не соотнесенные

с каким-либо концептом. Дистинкторами являются фонемы (в функциональном понимании), слоги, морфемы, слова, слово-сочетания, предложения с фонологической стороны, тоны, ударения, интонации и т. п.

Фиксаторы не только различают смысл, но и фиксируют его, т. е. соотнесены с определенными единицами содержания. К уровню фиксаторов должны быть отнесены не только морфемы в традиционном понимании, а также все служебные слова, не способные к номинации. Наряду с этими базисными средствами, функции фиксаторов смысла выполняются также просодическими (интонация) или модельными (членование, нулевые морфемы) средствами.

Номинаторы различают, фиксируют и номинируют смысл, а *коммуникаторы* еще также сообщают его. Номинатором следует считать такую единицу, которая сама по себе способна актуализировать в сознании фиксируемый ею концепт. Фиксаторы актуализируют связанный с ними смысл только в составе номинаторов как часть смысла последних: напр., англ. “ship” в отдельности актуализирует значение «корабль» и является, таким образом, номинатором; та же единица сама по себе не способна актуализировать значение, с которым она соотносится, в единицах “friendship” (дружба), “partnership” (партнерство) и т. п., и выступает только в качестве фиксатора соответствующего смысла.

Уровень номинаторов — наименьший уровень, на котором семиозис является осознанным волевым процессом. Все мыслительные операции по классификации, сопоставлению, систематизации, соединению концептов совершаются на уровне не ниже номинативного. На этом уровне происходит реальное осознанное соотнесение десигнатора с десигнатом (обозначающего с обозначаемым). Напротив, фиксаторы, хотя и соотнесены с определенным смыслом, не способны представить этот смысл как особую единицу сознания. Значение фиксаторов устанавливается из анализа соотношений формы и содержания в структурных моделях номинаторов и интерпретируется в терминах номинаторов, но не наоборот. Абстрактное в фиксаторах подчинено конкретному, общее растворено в частном, в то время как номинатор способен представить абстракцию и обобщение как отдельный осознанный концепт.

Номинативность конкретно проявляется в ряде особых свойств единиц этого уровня, в частности, в способности составить сообщение (номинативные и эллиптические предложения), сопровождаться отрицаниями, экстенсиональными, модальными и прагматическими квалификаторами, замещаться местоимениями и вопросительными словами и пр. Она является функцией синтаксической автономии языковой единицы от окружения при сообщении связанного с ней значения. Степень номинативности зависит от способности номинатора представить связанный с ним концепт в «чистом» виде, в максимальном отвлечении от его возможных связей. Поскольку слова распределены по классам с предустановленной большей или меньшей синтаксической специализацией, обнаруживаются градации номинативности, причем большей номинативностью обладают субстантивные слова, меньшей — атрибутивные и т.д. В свою очередь, если слово обладает парадигмой с иерархией привативных оппозиций, то наибольшую номинативность обнаруживает максимально немаркированный член парадигмы на предельном уровне нейтрализаций.

Номинаторы подразделяются на *простые* и *сложные*. Первые содержат одну номинативную единицу, вторые — две и более номинативные единицы, объединенные логическим отношением и синтаксической связью.

Номинатор — узловая единица функциональной структуры языка, лежащая на пересечении лексики и синтаксиса. Он одновременно и проекция лексемы в синтаксис и проекция синтаксемы в лексику. В онтогенетическом плане он первичен по отношению к лексемам и синтаксемам. Уровень номинаторов — наименьший уровень, на котором снимается противопоставление собственно языка (*langue*) и речи (*parole*) и совершается переход в речевую деятельность (*language*, язык в широком смысле).

Особой разновидностью номинатора является лексема. Лексема определяется как семантический инвариант множества номинаторов с общим спецификатором и привативными оппозициями, номинированный предельно немаркированным членом этих оппозиций. В указанном множестве номинаторов лексема отличается наибольшей номинативностью.

Фиксаторы подразделяются по их взаимному логическому отношению в структуре простых номинаторов на *категоризаторы*

и *спецификаторы*. Функция категоризатора состоит в указании категории смысла номинируемого концепта и может выполнятьсь словообразовательными и словоизменительными морфемами, порядком слов, формулами чередования, просодическими средствами, предлогами, союзами и т.д. Например, «ик» в словах «столик, ключик» указывает, что номинированные концепты относятся к категории маленьких, “s” в словах “tables, dogs” категоризирует соответствующие концепты и денотаты как множественные. Спецификатор соотносится с частным смыслом эксплицитно категоризированного номинатора, т.е. специфицирует его. Например, в номинаторах «слепец, старец, глупец» категоризатор «ец» сигнализирует категорию носителей признаков, а спецификаторы соотносятся с признаком, конструирующим вид носителя.

Структура номинатора при эндоцентрическом подходе может содержать несколько последовательных градаций спецификаторов, т.е. иерархию спецификаций. Конечной спецификации соответствует предельный спецификатор, не содержащий каких-либо категоризаторов. Та же структура при экзоцентрическом подходе представляет собой иерархию категоризации. Таким образом, структура номинатора не есть линейная цепочка фиксаторов (например, морфем), а ступенчатая иерархия разноуровневых спецификаций — категоризации определенной последовательности.

Деление на категоризаторы и спецификаторы основывается на внутреннем отношении фиксаторов в структуре простого номинатора. По другому основанию, а именно, по внешним логическим отношениям номинатора, т. е. по отношениям в структуре сложных номинаторов, фиксаторы подразделяются на синтаксические и лексические. Синтаксическими считаем те фиксаторы, которые выражают отношения номинаторов в сложных номинативных единицах, сами не являясь номинаторами этих отношений (напр. союзы, предлоги, падежные показатели субстантивных слов, залоговые показатели глаголов, порядок слов и т.п.). Синтаксический фиксатор — это разновидность категоризатора, а именно, предельный категоризатор. Тем самым, категоризаторы в целом также подразделяются на синтаксические и лексические. Первые категоризируют номинатор только по его отношениям к другим номинаторам в составе сложных номинативных единиц. Вторые

указывают категорию номинируемого концепта вне синтаксических отношений. Синтаксические фиксаторы — единицы, которыми обеспечивается тождество структурно-семантического синтаксического типа, а лексические фиксаторы — единицы, перемена которых не нарушает тождества синтаксического типа. Конверсивно, синтаксические фиксаторы — это единицы, перемена которых изменяет синтаксический тип, а лексические — те единицы, тождество которых не обеспечивает тождества синтаксического типа.

Неосновательно мнение, что значение грамматических элементов (грамматическое значение) более абстрактно, чем значение элементов лексических (лексическое значение). И те и другие могут быть одинаковы или различны по степени абстракции. Сопоставление их в этом аспекте не корректно, поскольку это элементы разных функциональных уровней. Абстракция на уровне номинаторов является осознанно-конструктивной, номинатор представляет абстракцию как отдельное. Абстракция категоризаторов растворена в конкретном, общее в этом случае не обособлено от частного. Значения номинатора и фиксатора могут быть не только одного уровня абстракции, но и содержательно сходными, однако они несопоставимы, разнородны функционально.

4. Таксономия формальных единиц

Формальные единицы понимаются как форма проявления и существования функциональных единиц, как таксономические категории средств различения, фиксации, номинации и коммуникации значений. Если принять, что десигнатор — это форма выражения языковых знаков разных уровней, то формальные единицы в общем виде определяются как таксономические категории средств различения десигнаторов и способов их структурной организации на разных функциональных уровнях.

Различаются два субстанциональных класса формальных единиц, связанных с функцией различения десигнаторов: базисные и ассесивные (адссесивные). Класс базисных единиц образуется фонемами. Фонемы — класс формальных единиц, специализированных в функции смыслоразличения и служащих субстратной основой для ассесивных единиц смыслоразличения. Поскольку фонема — формальная единица, она определяется субстанциональными, физическими (артикуляторно-акустическими) при-

знаками. Иными словами, тождественность и различия фонем основываются на субстанциальных, а не функциональных критериях.

Ассесивные единицы субстратно базируются на фонемах и представляют собой нерелевантные признаки базисных единиц, используемые как дополнительные средства различения десигнаторов и значений на уровне номинативных и коммуникативных единиц. Если принять, что базу десигнатора образует его фонематическая структура, то это признаки, не релевантные для базы десигнаторов, но релевантные для десигнатора как целого.

Различаются два формальных способа фиксации (точнее, категоризации) значений: субстанциональный и реляционный. В первом случае категоризация выражается в самой форме десигнатора посредством его собственных признаков (базисных или ассесивных), во втором она выражена его реляционными признаками, выявляющимися исключительно в соотношениях с формой других десигнаторов. Первый способ в свою очередь включает сепарацию и фузию, а второй — способы нулевой морфемы и позиции. В целом, таким образом, возможны четыре формальных способа категоризации: сепарации, фузии, нулевой морфемы и позиции.

При сепарации категориальная и спецификационная части номинаторов имеют раздельное выражение и каждая из них имеет собственный десигнатор, форма которого варьируется лишь в пределах незначимых альтернаций. При фузии нет раздельного выражения спецификационной и категориальной частей, категоризатор слит со спецификатором и является частью последнего, категоризация осуществляется за счет изменения формы спецификатора, роль категоризатора при этом выполняет схема изменения спецификатора. Предельным случаем фузии является супплетивизм.

Реляционные признаки как средство категоризации выявляются из парадигматических или синтагматических соотношений номинатора. Нулевая морфема — это категоризация посредством парадигматико-реляционного признака, а позиция — посредством синтагматико-реляционного.

Слово и морфема — также категории формальной (vs. функциональной) таксономии языковых единиц, причем категорий,

находящиеся в дополнительном отношении: одно предполагает другое, и наоборот. Этими понятиями описывается неуниверсальный тип компонования фиксаторов в морфологически когерентные структуры. Когерентными (непроницаемыми) называются структуры значимых единиц, не допускающие включение номинаторов. И слово, и морфема — значимые единицы, структура которых характеризуется свойством когерентности. Различие же между ними состоит в том, что слова комбинируются в некогерентные структуры, а сочетания морфем образуют только когерентные структуры. Таким образом, слово можно определить как значимую единицу с когерентной структурой, выступающую как элемент некогерентных структур более сложного порядка, а морфему — как значимую единицу с когерентной структурой, выступающую в качестве элемента когерентных же структур более сложного порядка. Или более лапидарно: слово есть предел когерентной значимой структуры, а морфема — значимый элемент такой структуры.

Таким образом, наиболее общий уровень таксономии языковых единиц представляет собой систематизацию средств различия и способов фиксации значений, универсально используемых в естественных языках. То обстоятельство, что приходится разграничивать формальные единицы, являющиеся формой дистинкторов, и единицы, являющиеся формой фиксаторов, является следствием фундаментального принципа: в языке, как и во всяком функциональном устройстве, функция является ведущим признаком, а структура функции не может не отразиться на структуре формальных средств. Поскольку в функциональной структуре языка существенно разграничение уровня простого смыслоразличения (незнаковые функциональные единицы) и уровня дискретизированного смыслоразличения (уровень значимых функциональных единиц), то это различие отражается и в таксономии формальных единиц.

КЕМЕНИ Дж., СНЕЛЛ Дж., ТОМПСОН Дж., 1963. Введение в конечную математику. М.

НИКИТИН М. В., 2007. Курс лингвистической семантики. СПб.

НИКИТИН М. В., 2009 (в печати). Уровневая структура языка. СПб.

И. В. Арнольд

НАШЕ НАСЛЕДИЕ: О СУДЬБАХ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ XX ВЕКА*

Филология, по мнению Е. Д. Поливанова, — совокупность наук, изучающих отраженную в языке культуру народа. Все разделы ее — языкоzнание, поэтика, литературоведение и др. — предполагают диалог с тем, что уже сказано раньше, переосмысление и рефлексию.

ЕЕ ПРЕДМЕТ — СЛОВО, МЕТОД — ДИАЛОГ И ЭРУДИЦИЯ, ЭТИКА — УВАЖЕНИЕ К ПРИОРИТЕТУ.

История вопроса — основа теории вопроса, в диалоге с прошлым рождается новая теория. Надо обратить внимание на то, что с этим у нас не все в порядке. Рецензируя диссертации и сборники, с сожалением констатируешь, что мысли, давно уже предложенные в нашей стране, дают со ссылками на современных ученых США.

История превратила нас в манкуортов. Напомню, что в романе «И больше века длится день» Чингиз Айтматов рассказал киргизскую легенду (может быть, он сам ее придумал) о том, как завоеватели превращали пленных в покорных рабов, лишая их ПАМЯТИ. Им сжимали головы, и после этой пытки они забывали, кто они, как их зовут, откуда они, не узнавали родную мать, один из них убил свою мать, когда она нашла его. У современников Айтматова легенда вызывает многие ассоциации.

Отбить память у целого народа можно, запрещая печатание работ его ученых, запрещая упоминание опальных имен и высылая или ликвидируя самих ученых. В Евангелии сказано: «Я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, а вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город» [Матф., 23.34]. Предсказание сбылось.

Русские ученые, чье наследие наш святой долг восстановить, были достойным примером для подражания. Начиная с М. В. Ломоносова они были энциклопедистами и полиглотами. Они делали

* Впервые опубликована в: Вестник Курганск. гос. ун-та. 2005. № 3. С. 116–118.

важнейшие открытия во многих сферах науки, и притом раньше, чем в других странах (М. В. Ломоносов, И. А. Бодуэн де Кортуэн). Они не замыкались в пределах какой-нибудь одной отрасли и не были кабинетными учеными, а делали очень много для распространения науки, просвещения и создания письменности.

Вклад русских ученых в мировую науку очень значителен. В начале XX в. он связан со структурализмом через фонологию и другие работы Н. С. Трубецкого в Пражской школе, с трудами Бодуэна, с поэтикой. Название «русский формализм» сохранилось до сих пор. Работы Р. Якобсона в этой области ценятся очень высоко. Во второй половине XX в. это — труды и идеи Бахтина и выросшая из диалогизма интертекстуальность.

Этот вклад был бы еще больше, если бы не ряд исторических причин, мешавших распространению русской филологической мысли.

Очень многое русские филологи предлагали раньше, чем западные. Но мешал односторонний языковой барьер — незнание иностранцами русского языка и особый наш алфавит — кириллица. Русские же хорошо владели иностранными языками.

За четверть века до В. фон Гумбольдта И. С. Рижский, живший в Харькове, отмечал, что в языке каждого народа отпечатывается характерный для этого народа взгляд на вещи. При появлении работ Ф. де Соссюра Е. Д. Поливанов и Л. В. Щерба отмечали, что многое в них, особенно в смысле синхронии и диахронии, или языка и речи, уже было известно из лекций И. А. Бодуэна и Н. В. Крущевского. Бодуэн и о системности в языке писал раньше немцев [Бодуэн де Куртенэ, 1963].

Но дело не только в языковом барьере. Тот же Поливанов с горькой иронией писал, что русские лингвисты отличаются тем, что их открытия остаются в рукописях или даже в черновиках. Но мы знаем и можем теперь сказать, что их вины в этом не было. Они действительно писали «в стол», но, несмотря на невозможность публикации, отсутствие условий для научной работы и репрессии, были безответственно преданы науке и выполнили свой долг перед ней.

Историческая трагедия, постигшая Россию в XX в., внесла много разрушений в судьбы филологии и филологов и оборвала Серебряный век русской филологии. Но рукописи не горят, и в

80-х, и 90-х годах через 100 лет после рождения тех, о ком эта статья, были опубликованы их работы. В конце столетия напечатаны не только работы М.М. Бахтина, возрождение идей которого началось раньше, но и сборники собраний работ Н. С. Трубецкого, Е. Д. Поливанова, Г. Г. Шпета, А. Ф. Лосева.

В первом столетии 90-х годов XIX в., Бог послал России плеяду блестящих филологов. В 1890 г. родились князь Н. С. Трубецкой и Б. В. Томашевский, в 1891 г. — Е. Д. Поливанов и В. М. Жирмунский, в 1893 г. — Б. А. Ларин, А. Ф. Лосев и В. Б. Шкловский, в 1894 г. — Ю. Н. Тынянов, в 1895 г. — М. М. Бахтин, В. Я. Пропп и В. В. Виноградов. Р. Якобсон родился в 1896 г.

После революции Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон, а также представитель более старшего поколения И. А. Бодуэн де Куртенэ были вынуждены эмигрировать. Н. С. Трубецкой умер в Вене в 1938 г. после допроса в гестапо. Страшными были 30-е годы и в России. В 1937 г. был расстрелян Г. Г. Шпет, а в 1938 г. — П. А. Флоренский, погиб и Е. Д. Поливанов.

Позволю себе привести пример из своей семейной хроники. Сестра моей мамы — выдающийся историк А. И. Хоментовская — осенью 1923 г. была изгнана из университета вместе с профессорами Л. П. Карсавиным и И. М. Грэвсом, а затем несколько раз совершенно безвинно попадала в тюрьму, а в перерывах — в ссылку. Но как только она оказывалась на относительной свободе, она продолжала свои исследования по итальянскому Возрождению, восстанавливая общение с профессором Тарле и другими тоже репрессированными учеными. Главная ее работа «Итальянская гуманистическая эпиграфия: ее судьба и проблематика» закончена в Вышнем Волочке в 1942 г. Эта работа была опубликована под редакцией А. Н. Немилова и А. Х. Горфункеля через 50 лет после ее кончины, в 1995 г., но не потеряла своей актуальности и научного значения до сих пор.

Каждый из тех, кто родился в 90-х или погиб в 30-х, был основателем какой-нибудь новой отрасли в филологии или сделал существенный вклад в уже существующую.

Остановлюсь очень кратко только на некоторых.

Н. С. Трубецкой, эмигрировавший в 1919 г. в Прагу, стал одним из столпов Пражской школы, создателем фонологии и

теории оппозиций, концепции языковых союзов. Его можно с полным правом назвать одним из предтеч структурализма. Род Трубецких сыграл важную роль в русской истории. В БСЭ 60-х годов перечислены несколько представителей этой семьи: воевода, ученые, скульптор, декабрист, но Н. С. Трубецкой даже не упомянут.

Огромное влияние на развитие поэтики и особенно структуральной поэтики оказал Роман Якобсон, эмигрировавший сначала в Прагу, а позже в США, где и прожил долгую и плодотворную жизнь.

Необыкновенно многогранна деятельность Е. Д. Поливанова. Создатель социолингвистики, выдающийся исследователь многих и очень разных восточных языков: китайского, японского, узбекского и многих других, феноменальный полиглот, он знал более 30 языков и писал свои теоретические работы на всех европейских языках. Он много сделал для создания письменности малых народов. Он дал наиболее обоснованную критику теории Я. Марра, вел большую руководящую дипломатическую работу. Для стилистики большой интерес и ценность представляют его работы по звуковой поэтической технике, но особенно знаменит он своим вкладом в восточную филологию. Репрессирован он был в 1930-е годы.

Ю. Н. Тынянов сочетал в себе писателя и ученого литературоведа. Он один из создателей структурной поэтики «Русского формализма», другими выдающимися представителями которой были Р. Якобсон, Б. В. Шкловский, В. Я. Пропп (знаменитый своей морфологией сказки) и другие. Это направление и в настоящее время не потеряло своего авторитета в европейской науке и широко используется в работах, исследующих проблему «читатель — текст». Для стилистики особенно существенным и известным оказалось его учение о тесноте ряда.

М. М. Бахтин не эмигрировал и провел много лет в ссылке в Саранске. Его гений филолога, литературоведа, философа и специалиста во многих других гуманитарных науках получил самое широкое, хотя и несколько запоздалое мировое признание. Число публикаций о нем, конференций, обществ и т. п. за рубежом даже больше, чем на родине. Возникшее на основе его теории диалогизма учение об интертекстуальности продолжает бурно развиваться.

Всеобщий интерес к работам Бахтина через столько лет после их написания — наглядный пример того, что обращение к первоходцам оказывается более полезным, чем цитирование эпигонов даже самых новых. Для стилистики особенно важно учение Бахтина о диалогизме, его глубокие суждения о диалоге между культурами в «большом времени». В разных концепциях интертекстуальности французских и немецких ученых его положения оказываются иногдаискаженными, к ним следует относиться с некоторой критичностью. Погоня за новизной себя не всегда оправдывает.

Идеи Бахтина оказались нужными для многих отраслей гуманитарных знаний. Его считают своим корифеем не только филологи, но и философы, психологи, специалисты по семиотике и т.п. Второе издание его работы о поэтике Достоевского вышло в свет через 30 лет после первого и сразу же было переведено на все европейские языки [Бахтин, 1963]. Мировое признание пришло к нему в 1960-е годы, бум вокруг его имени и трудов не уменьшается, а даже возрастает.

Теперь о тех, кто был старше Бахтина и погиб в роковые 1930-е годы.

Имя Г. Г. Шпета было незаслуженно забыто. Власть имущие об этом постарались. Теперь его труды стали печатать, и молодым ученым очень полезно с ними познакомиться. Исследования по теории языка он сочетает с психологией и, в частности, с этнопсихологией. Он автор капитальной работы по герменевтике [Шпет, 1989]. Он начал свое образование на математическом факультете Киевского университета св. Владимира, затем много учился в университетах Германии. Он ученик психолога, логика и философа Г. И. Челпанова и философа, основоположника феноменологии Эдмунда Гуссерля. Разнообразие его возможностей можно себе представить по тем постам, которые он занимал: профессор Московского университета, он был и вице-президентом Академии художеств, и реформатором народного образования, и организатором московского лингвистического кружка, и руководителем кабинета этнической психологии.

Очень важно обратить внимание на работы одного из величайших ученых века — священника Павла Александровича Флоренского, богослова, философа, филолога, выдающегося специалиста по теоретической и прикладной физике. Он родился в 1882 г.,

блестяще окончил физико-математический факультет Московского университета, а позже Духовную Академию и стал священником. В его работах и мировоззрении богословие сочетается с математикой и глубоким знанием теории электрических полей. Его идеи прерывности хорошо согласуются с квантовой теорией, хотя термин «квант» он не употребляет. Он утверждает, что в мире господствует прерывность в отношении самой реальности и прерывность в отношении связей. Эту концепцию он применяет и в эстетике, и в психологии творчества. Изучению подлежат не единицы, а группы и их функции. Сознание осуществляет синтез множественности в единство более высокого порядка. Заслуживает внимания энергетическая по своему существу концепция слова. Занимался он и эстетикой — у него есть работа о Гамлете [Флоренский, 1991: 250–280]. Судьба его была фантастически динамичной и трагичной. Он неоднократно арестовывался. А в промежутках между тюремами занимал руководящие инженерные посты.

Перемены в нашей стране сделали возможным публикацию нашего наследия, и это наследие необходимо изучать. У нас, даже у старшего поколения, к сожалению, сохранилась привычка обращаться не к своему драгоценному наследию, а к самым новым работам и желательно иностранным, зачастую новым только по времени публикации, а по содержанию вторичным; путается прогресс и новизна.

По существу, это недостаток эрудиции, невнимание к приоритету.

Такое невнимание очевидно и в когнитивистике. Когнитивный бум наступил в последнее десятилетие XX в. Это направление предложило новую терминологию для описания связи языка познания и мышления. Официальное начало этому направлению было положено в 1989 г. на симпозиуме в Дуйсбурге в Германии. Опираясь на развитие вычислительной техники, системы искусственного интеллекта и эпистемологии, когнитивистика имеет известные достижения. Но проблемами механизма рече-мышслительной деятельности и ее связи с процессами познания еще раньше занимались многие. Большое значение в этой области имеют работы А. А. Потебни, С. Д. Кацнельсона и Л. С. Выготского. Терминология, правда, у них новая.

Подведем итоги. Филология — система наук с полевой структурой. Составляющие ее отрасли частично перекрываются.

Особенно важной для развития стилистики и поэтики оказывается связь языкоznания с литературоведением, историей культуры и психологией. Самые интересные результаты получаются на стыках наук и при разработке старых идей на новом материале и с новых позиций.

Наши предшественники — созвездие талантов, историческая судьба которых была одной из трагедий XX в. Труды их изучены недостаточно. Этика научного труда определяется добросовестной эрудицией. Более новая статья необязательно лучше написанной раньше.

Наш святой долг — расширить знания о трудах русских ученых прошлого в мировой науке и восстановить память о них в наших работах.

БАХТИН М. М., 1963. Проблемы поэтики Достоевского. М.

БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ И. А., 1963. Избранные труды по общему языкоznанию. М.

ФЛОRENСКИЙ П., 1991. Гамлет // Флоренский Павел, свящ. Сочинения: в 4 т. Т.1. М.

ШПЛЕТ Г. Г., 1989. Герменевтика и ее проблемы.

И. К. Архипов

**СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ:
АМБИЦИИ И РЕАЛЬНОСТИ ЯЗЫКА
(на материале номинаций категории времени
в русском и английском языках)**

Опыт лингвистических исследований подсказывает, что следует быть по возможности осторожным в своих высказываниях о чем-либо. Эта банальная «истина», как ни странно это может показаться, относится в первую очередь к форме высказывания независимо от содержания. Действительно, «констатацию истинности мы выражаем (уже) в форме утвердительного предложения. При этом слово *истина* нам не требуется» [Фреге, 1987: 24–25]. Вот поэтому это слово тремя строчками выше поставлено в кавычки — хочешь высказать «просто мнение», а, оказывается, звучишь уже как «прорицатель истин».

Ясно, что за этой пресуппозицией стоит опыт миллионов. Что бы ни говорили экстремисты от культуры, шельмующие вечные ценности, человек нацелен на передачу позитивного опыта в первую очередь. То, что это именно так, косвенно подтверждает сам факт выживания миллионов людей на протяжении веков благодаря адекватному приспособлению к окружающей среде. Они, в общем, правильно оценивали условия своего существования и, в общем, правильно выбирали пути развития. Они также правильно используют неистинное знание в pragматических целях [Grice, 1975], потому что при этом ориентируются на изначально адекватно выработанные ими представления об объективном мире.

В подавляющей массе высказываний формы глагольного времени «утверждают» истинность того, что есть, было или будет, точнее, утверждают истинность существования пространств, называемых «временными планами», в которых «размещаются» действия, процессы, состояния и отношения. При этом носителей русского языка удовлетворяет функционирование семи морфологических категорий времени, однако говорящих на английском языке устраивает система языка, которая предусматривает передачу более широкого диапазона аспектов процессуальных признаков — 12 грамматических времен (*tenses*).

Прежде чем перейти к анализу деталей английской системы следует отметить, что максимальным приближением к природе того, что называется «время», является «настоящее продолженное» (Present Continuous; Present Progressive). Оно соответствует философским представлениям о мире, пребывающем «в вечном настоящем». Данное грамматическое время указывает на некий «миг настоящего», миг «практики или свершения жизни наблюдателя» мира (the praxis, or happening of living of the observer [Maturana, 1992: 116]. В следующий миг «вечного настоящего» весь мир «вздрагивает» и становится иным, и так мир развивается. Однако остаются в нем лишь **видимые (воспринимаемые) следы** этих изменений, но не память о них, на основании которой можно было бы охарактеризовать их как «новые» по сравнению со «старыми». Поэтому в объективном мире нет ни прошлого, ни будущего — они существуют только в сознании людей [КФЭ, 1994: 270; Мамардашвили, 1999: 106, 112; Сенокосов, 1999: 217].

Когнитивный образ мига времени, передаваемого формой Present Progressive **сложился у носителей** английского языка как видение того или иного действия, процесса или состояния как текущего (проходящего) перед (внутренним) взором наблюдателя. Однако использование этой формы в попытке приблизиться к непосредственным ощущениям *hic et nunc*, к передаче «мига» иногда уступает формам «неопределенного настоящего» (Present Indefinite), как, например, в спортивных репортажах (Bill passes to Fernandez... Fernandez shoots) [Quirk et al., 1985: 180-182]. В подобных случаях Present Indefinite уподобляется амбивалентным формам русского настоящего. Сравните, Он (сейчас) читает свой доклад (актуальное настоящее) и Он много пишет на эту тему (абитуальное настоящее). «Всеядность» русской формы идет еще дальше, описывая, например, будущее (Завтра он едет в Павловск), настоящее историческое (Идет он вчера по Невскому проспекту и видит...) или повелительное наклонение (в городском транспорте: «Предъявляем карточки!»).

Следует обратить внимание на то, что указанные формы в обоих языках в своих прототипических значениях «неопределенного настоящего» представляют очередные фикции — они не имеют в качестве референтов ситуации, в которых протекают описыва-

емые действия, процессы или состояния в реальном настоящем. На самом деле подобные значения **обобщают** конкретные процес-суальные признаки, **наблюдавшиеся в прошлом**. Они — продукт памяти, благодаря которой описываются явления, по своей природе невозможные в реальном мире — действия, процессы или состояния «вообще». Такими же конструктами являются и Past и Future Indefinite, как и значения русских форм «прошедшего» и «будущего», и надо отдавать себе отчет в том, что в данном случае обобщающая сила сознания действует на основе такого «чисто человеческого» фактора, как фантазия.

Сравнивая обе системы грамматических времен в общих чертах, нетрудно заметить, что английские глаголы демонстрируют более тонкую дифференциацию признаков в рамках основных временных планов — настоящего, прошедшего и будущего [Иванова, Бурлакова, Почепцов, 1981: 54–65]. Можно предположить, что этой логически выверенной рациональной картине соответствует система специфических, контрастирующих когнитивных образов. Однако достаточно пристально приглядеться хотя бы к одному сегменту интересующей нас системы, чтобы убедиться, что тонкая дифференциация глагольных признаков, предусмотренная системой английского языка, не всегда получает обязательное или непротиворечивое отражение на уровне речи.

Так, выясняется, что такие теоретически выделяемые тонкие оттенки «прошедшего» глагольного признака, как «время, начавшееся в прошлом и продолжающееся до момента речи», функционирует в 5%, а «недавно завершенное действие» и «действие, завершившееся в неопределенное время в прошлом» «еще реже» [Hudson, 2004: 123]. Можно было бы попытаться объяснить это тем, что соответствующие ситуации просто редко имеют место, однако настораживает другое: оказывается, 80% всех употреблений прошедшего времени исследователи-носители английского языка относят к тому, что по-английски называется «прошедшим неопределенным» (Past Indefinite) [Mindt, 2000], а по-русски «претерит основного разряда» [Иванова, Бурлакова, Почепцов, 1981: 54–55]. Что стоит за этим — неряшлисть или безразличие носителей языка?

В рамках отдельного исследования можно было бы показать, что простые, недифференцированные, обобщенные значения и

прочие фикции, выражающие понятия о реально не существующих временных пространствах, на самом деле дорогостоят. Их неясные (*fuzzy*) границы предоставляют оптимальные возможности для актуализации на уровне речи самых разнообразных значений и, далее, высказываний — общих, конкретных, с затемненным смыслом или просто свидетельствующих о лености мысли. Подобные значения предоставляют глаголам большую свободу сочетаемости с отдельными словами или предложными оборотами, что, в свою очередь, обеспечивает возможности уточнения или, наоборот, расширения смысла и/или его дублирования.

Как можно убедиться, стремление к ясности и четкости передачи глагольных признаков, явно отражающее субъективные интенции носителей английского языка, реализуется достаточно непоследовательно в силу действия объективного фактора, а именно «отсутствия у человека органа, специализированного на восприятие времени» [Арутюнова, 1998: 687–688]. Поэтому понятие о времени формируется не в результате непосредственного восприятия такого **свойства** предметов, а косвенно — оно выводится из наблюдений за последовательными изменениями свойств и/или отношений предметов и памяти об этих фактах. Это обусловлено особенностями устройства глаза, который в состоянии фиксировать изменения в окружающей среде только в линейной последовательности [Кравченко, 2004: 82]. «...По сравнению ...с физическими возможностями мира...видеть нам мешает наше зрение-калечка» [Мамардашвили, 1993: 345]. В результате, все представления о времени сложились как о явлении и категории **последовательности** событий. Как следствие действия биологического фактора, «психические структуры связали себя с линейным временем, расчлененным «точкой присутствия» на прошлое, будущее и соединяющее их в единый поток настоящее. Такова роль фактора человека в моделировании времени» [Арутюнова, 1998: 687–688].

Сказанное здесь абсолютно верно, но не следует понимать это расширительно, а именно, что любое моделирование мира человеком является объективным (зеркальным) отражением: «претензии человека на свободное строительство жизни и совместное со временем движение вперед обернулись концептуальными

неполадками....Время восприятию недоступно, и его модели изменчивы. Время описывается в метафорических терминах, легко допускающих противоречия» [Арутюнова, 1998: 694-695].

Итак, слова, описывающие «время» — метафоры, то есть средства указания на несуществующее в реальном мире. Однако весь аппарат познания мира и в том числе слова как средства описания его результатов изначально базируются исключительно на восприятии органами чувств того, что существует реально, то есть предметов. Все что представляется человеку как новое, осмысливается им только в терминах «старых», уже виденных предметов. Поэтому несуществующее «время» также описывается как существующее в виде дискретных единиц-«контейнеров». Это не истинно, а просто естественно для людей, поскольку они выбрали в качестве моделей предметы, имеющие три измерения и находящиеся постоянно перед их глазами.

Как видно, этот узел действительного и выдуманного «затянут» так туго, что фразы типа «река течет» и «время течет», «в ящике 60 кирпичей» и «в одном часе 60 минут» воспринимаются в равной степени как объективно отражающие существующий порядок вещей. Поэтому, когда мы, просвещенные лингвисты, говорим, что «время — это Метафора», то, вероятно, очень часто оказываемся «страшно далеки от народа», который искренно верит в то, что оно есть на самом деле. Это в очередной раз ставит вопрос о том, что нужно и можно иметь в виду, когда мы неосторожно говорим, что язык — это то, что используют «все» (и тогда на этом концентрируют свое внимание исследователи в области философии языка), а в речи отражается индивидуальное и необычное, и тогда этим занимаются специалисты в области pragmatики.

Что же и как в этой ситуации должны описывать лингвисты? Особенно те из них, которые знают и свой народ, и то, что переубедить его ни в чем нельзя, ибо «узел затянут так туго», что они сами **вынуждены изъясняться** на языке своего народа. То есть можно, конечно, радоваться интересным исследованиям об разности, используемой авторами художественных произведений в описаниях времени, и оценивать «степень точности» терминов времени в научных текстах, но при этом в отдаленном уголке своего сознания отдавать себе отчет в том, чего стоят эти описа-

ния «отражений объективного мира». Иначе говоря, сложилось положение, при котором, с одной стороны, естественным наукам (англ. sciences), имеющим дело с изучением объективной реальности материального мира, «нечего сказать о человеческом времени» [Прист, 2000: 9], потому что это — «форма априорного внутреннего созерцания» [Берестнев, 2002: 171] «и «вне нас мы не можем созерцать время, точно так же как не можем созерцать пространство внутри нас» [Кант, 1994: 50]. С другой стороны, наблюдается широкое поле деятельности людей, хлопочущих о развитии гуманитарных наук (англ. humanities). Некоторые из них, вероятно, искренне стремятся помочь кому-то понять суть времени на основе его описаний в обыденной речи, публицистике и художественной литературе. Независимо от их целей, они действительно делают полезное дело, описывая **категории человеческого отражения** времен, но при этом вместо явления «время» они описывают одну из сторон явления «человек».

С помощью следующего примера можно попытаться показать, как «явления», или «феномены», то есть то, что «является» нашим органам чувств (ср. греч. phainomenon — прош. прич. phainomenos глагола phainesthai—появляться <phainein—показывать), отливается на уровне обыденного сознания в соответствующие номинации с тем, чтобы хоть как-то намекнуть на происходящее. С другой стороны, следует обратить внимание на то, что все эти «хоть что-то» в данном случае являются нормативными лексическими средствами русского языка, представленными нормативными способами. Так что можно себе представить степень произвольности символической природы языка относительно реального мира, для намеков о котором он используется.

Итак, наблюдение запуска космического корабля под аккомпанемент описаний типа «Неумолимое время отсчитывает секунды до запуска. Поднимается солнце. Шесть часов, одна минута... Пуск!». Пуск и возвращение корабля проходят успешно, и подсознательно это воспринимается, помимо всего прочего, и как результат «следования объективным реальностям мира», включая и тот факт, что ракета была запущена в «необходимое», «правильное» время.

В действительности, успех запуска был определен тем, что проектировщики и изготовители сделали так, что все необходи-

мые изменения в собственных свойствах используемых и связанных с полетом предметов совпадали с теми пространственными точками, в которых они должны были происходить по их замыслу в соответствии с необходимой **последовательностью действий и событий**. В итоге, необходимые свойства предметов и их комбинации, с одной стороны, и точки их нахождения в пространстве, с другой, совпадали так, как они должны были совпадать, потому что разработчики правильно использовали свои адекватные знания, сгенерированные ими на основе памяти и фантазии, то есть способности предвидеть. Естественно, что в своей работе они использовали категорию времени для **исчисления и названия нужных им последовательностей** изменений в свойствах предметов и их совпадений с пространственными точками. Они также предусмотрели правильные последовательности слов: это **им обеспечивало средства изъяснения** себе и другим в терминах, принятых в данном социуме.

В ходе полета сменялись друг за другом состояния мира предметов, неотъемлемой частью которого был и корабль. При каждом таком состоянии мира, которое мы вынуждены назвать «каждым мигом», каждый предмет занимал свое место (точку в пространстве) согласно своим свойствам. В «следующий миг» складывалось новое соответствие (совпадение) этих двух факторов. Так мир развивается, не имея никакой цели, стремления и необходимости **фиксировать стадии** своего развития как «старые» и «новые». И только люди, имеющие **свои цели и обладающие памятью и фантазией**, выделяют и фиксируют стадии, потому что это помогает им адекватно приспосабливаться к среде. Соответственно, для изъяснения между собой они вводят понятия «раньше, сейчас, позже».

АРУТЮНОВА Н. Д., 1998. Язык и мир человека. М.

БЕРЕСТИНЕН Г. И., 2002. Языковые подходы к проблеме архетипов коллективного бессознательного//Языкоzнание: взгляд в будущее. Калининград.

ИВАНОВА И. П., БУРЛАКОВА В. В., ПОЧЕПЦОВ Г. Г., 1981. Теоретическая грамматика современного английского языка. М.

КАНТ И., 1994. Критика чистого разума. М.

КРАВЧЕНКО А. В., 2004. Язык и восприятие. Иркутск.

КРАТКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 1994. М.

МАМАРДАШВИЛИ М. К., 1993. Картезианские размышления. М.

- МАМАРДАШВИЛИ М. К., 1999. О призвании и точке присутствия (из курса лекций о Марселе Прусте)// Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М.
- МАТУРАНА У., 1995. Биология познания// Язык и интеллект. М.
- ПРИСТ С., 2000. Теории познания. М.
- СЕНОКОСОВ Ю. П., 1999. Насилие и структура рациональности // Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М.
- ФРЕГЕ Г., 1987. Мысль: логическое исследование// Философия. Логика. Язык. М.
- GRICE H. P., 1975. Logic and conversation//Syntax and Semantics. Vol.3
- HUDSON S., 2004. Corpora in Applied Linguistics.
- MATURANA H. R., 1992. The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence. In: N.Luhmann, H.Mot, M.Namuki, V.Redder and F.Varela. Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien. 2nd ed., Munich.
- MINDT D., 2000. An Empirical Grammar of the English Verb System. Berlin.

E. A. Гончарова

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И СТИЛИСТИКА — ОБЩЕЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ В МЕТОДОЛОГИИ И ПРЕДМЕТЕ ИЗУЧЕНИЯ

Проблемы разграничения научных и практических целей лингвистики текста и стилистики возникают постоянно, хотя и лингвистика текста, и стилистика не принадлежат к абсолютно новым научным областям языкоznания. При этом наиболее часто используемое название «лингвистика текста» — это не единственное обозначение языковедческой «науки о тексте», поскольку изучение текста осуществляется под разными названиями (включая и «стилистику текста»): например, грамматика текста (т. е. изучение «правил» построения текстов), герменевтика текста (т. е. выявление системы неочевидных и связанных с реципиентной стороной смыслов текста) и др. Нельзя не согласиться с Т. М. Николаевой, считающей, что «онтологический статус каждой из этих дисциплин определен нечетко, и в целом можно говорить о более общей дисциплине — теории текста» [Николаева, 1990: 507]. В. Г. Адмони также полагает, что неправомерно делать из исследования текстов «во всей их многоаспектности» «лишь раздел лингвистики или грамматики», отмечает неточность «таких нашедших широкое распространение терминов как «грамматика текста» или «лингвистика текста». Учитывая закрепленность кажущегося ему более точным термина «текстология» за другим содержанием, а именно расшифровкой, атрибуцией языковых памятников в историческом и культурном аспектах, ученый говорит о возможности использования, по аналогии с «поэтикой», понятия «текстика». Но — поскольку это слово звучит «искусственно» — он предлагает обозначение «текстоведение», хотя оно и выглядит, на первый взгляд, лишь переводным словом к «текстологии» [Адмони, 1994: 91]. В предлагаемой статье будут использоваться в качестве синонимичных традиционное определение «лингвистика текста», что необходимо для обсуждения сущности этой научной области с позиций лингвистики, и «теория текста», что подчеркивает необходимость более широкого — не всегда «чисто» лингвистического — взгляда на текст, его системную и структурную сущность.

По сравнению со стилистикой, лингвистика текста является более молодой научной областью языкоznания. Как известно, она получила самостоятельный научный статус в 60–70-х годах прошедшего столетия, став наряду с другими дисциплинами свидетельством принципиальной смены в лингвистических учениях системно ориентированной научной парадигмы на функционально и коммуникативно обусловленную, что получило название «прагматического поворота» в лингвистике. Этот поворот был подготовлен, как справедливо отмечает К. А. Филиппов, причинами как внутреннего (т.е. собственно лингвистического), так и внешнего (т.е. над- и внелингвистического) характера [Филиппов, 2003: 9]. К внутренним причинам можно отнести прежде всего становившуюся все более актуальной во второй половине прошедшего столетия необходимость объяснения таких языковых явлений как межфразовые связи в виде прономинализации и иных видов (не только чисто грамматической) повторности и речевых «подхватов», а также связанные с ними специфические виды порядка слов, синтагматическая расчлененность речевой цепи, вызываемая разными видами экспрессивности, дискурсия темпоральных отношений и др. В качестве «внешних», внелингвистических, импульсов, обусловивших развитие лингвистики текста, послужило все более тесное взаимодействие гуманитарных наук, вызванное их общим интересом к интерпретации языковых явлений и процессов, как обеспечивающих, так и зависящих от носителей языка, их социальных ролей, а также когнитивных и коммуникативных потребностей. На пересечении названных факторов «текст» выкристаллизовался как тот языковой феномен, в котором, во-первых, в наиболее завершенном виде сходятся вопросы содержания и формы языковых единиц и явлений и, во-вторых, осуществляется когнитивная и коммуникативно-прагматическая деятельность человека в их индивидуальном и социально-культурном аспектах.

Стилистика же, будучи более старой филологической отраслью, зародилась в недрах риторики и получила в качестве первоначального научного фундамента своего дальнейшего существования выделение вопросов, связанных с интерпретацией языка как средства воздействия и убеждения словом. Риторика, возникшая и развивавшаяся и как наука, и как искусство красноречия не

могла не обратиться к вопросам, во-первых, «культуры речи», иными словами, к тому, как «ведут себя» языковые явления и единицы при построении «целесообразной», т.е. соответствующей определенной коммуникативной ситуации и вытекающим из нее тематическим, ролевым и др. потребностям участников речевого общения, а также тому, каким образом язык помогает носителю языка проявить речевую индивидуальность и креативность, с одной стороны, и соответствовать социальным правилам речевого общения в определенной сфере деятельности, с другой. Дальнейшему «высвобождению» из «чистой» риторики и последовавшей за этим эволюции стилистики как более или менее автономной языковедческой дисциплины способствовал не могущий не возникнуть специальный интерес филологов к проблемам поиска, отбора и речевой комбинации языковых единиц, способных обеспечить говорящему разные виды рационального и эмоционального воздействия на других и — за счет этого — показать свои особенности как «языковой личности».

Впрочем, «высвобождение» стилистики из риторики и позднее ставшей для нее благодатной почвой поэтики, которая, как известно, занималась и занимается — наряду с изучением произведений словесного искусства в их индивидуально-творческом аспекте, а также в системных и исторических связях — вопросами использования в них в «поэтической функции» языковых единиц и явлений как средств литературного выражения, изображения и «самовыражения» автора, происходило постепенно и достаточно проблематично, если иметь в виду самостоятельность научного статуса стилистики как научной области лингвистики. Недаром В. В. Виноградов, один из ярчайших и последовательных исследователей проблем стилистики в отечественном языкознании, отмечал, что «стилистика вырастала как дикий бурьян, на границе между лингвистикой и историей литературы» и что «почти каждая стилистическая проблема балансирует на канате, протянутом от литературных дисциплин к лингвистике» [Виноградов, 1980: 42].

Слова В. В. Виноградова о том, что «в стилистике все острее заявляют о себе методологические принципы лингвистического изучения», и его связанная с этим констатация «методологической неустойчивости» стилистики, которая «сказывается и в не-

ясной постановке проблем, и в смешении приемов исследования, и в отсутствии определенных решений» [там же], относящиеся к 1925 году, не только не теряют своей актуальности, но и приобретают новый смысл в наше время. Это связано в первую очередь с появлением и бурным развитием — после «прагматического поворота» 60–70 годов — все новых областей лингвистики, которые можно было бы отнести к так называемой «внешней лингвистике», т. е. лингвистике, в научную парадигму которой входят разнообразные вопросы не только «чисто» языкового характера. К подобным областям относятся и «сдвоенные», как их называет Е. С. Кубрякова [1995], науки: психолингвистика и социолингвистика, социо- и психосемантика, семантика синтаксиса, лингвопоэтика и др., и новые дисциплины в самой лингвистике, такие как лингвистика текста, когнитивная лингвистика, прагматика и т.п. Названные дисциплины стали специально заниматься многими вопросами, смежными или «поглощающими» те, которые традиционно интересовали стилистику. Это, например, социально и индивидуально (ситуативно и психически) обусловленное использование лексического состава языка, функционирование языковых единиц по отношению к виду речевой деятельности носителя языка в качестве адресата или реципиента информации, контекстуальная обусловленность содержания и формы языковых единиц в соответствующих речевых актах и текстовых целых и проч.

Стилистика реагировала на появление выше названных процессов дифференциации и интеграции научного знания о языке с помощью собственного разделения на специализированные области типа: функциональная стилистика, коммуникативная стилистика, прагмалистика, стилистика устной речи, стилистика текста и др. [См. их перечень и описание научного предмета, например, в книге: Sowinski, 1991: 17–51]. В настоящей статье мы ограничимся сопоставлением научно-исследовательского предмета и методологических границ стилистики и теории текста как двух частных областей общего языкоznания, которые по определению принадлежат к «внешней лингвистике».

Фактором, объединяющим эти дисциплины и свидетельствующим об их принадлежности к «внешней лингвистике», является прежде всего то, что и та и другая вырастали на разных этапах развития общего языкоznания параллельно возрастанию

научного интереса лингвистов к разным аспектам «языка в действии». «Язык в действии» как объект обеих дисциплин означал необходимое включение в параметры его изучения «антропоцентрической составляющей», т. е. рассмотрение языка в его принадлежности и обусловленности человеком, «присваивающим» себе язык в своей ментальной и коммуникативной деятельности. В процессе этого «присвоения» человек как пользователь языка создает в качестве одной из главных форм речевой деятельности и коммуникации с «Миром» и «Другими» вербальные тексты, т. е. осмыслиенные и делимитированные последовательности (верbalных) знаков, соответствующие условиям осуществления коммуникации и требованиям ее успешного, на взгляд создателя текста, протекания. Далее, создавая текст, его автор всегда сталкивается с необходимостью «отбора и комбинации наличных языковых средств, их трансформаций» [Степанов, 1990: 494], иными словами, с проблемами создания адекватного коммуникативной ситуации модуса формулирования текста, т.е. стиля.

Это означает, что исследовательская установка на безусловный антропоцентризм, приводящий в движение «действие» языка, является методологической основой изучения и текста, и стиля. Но уже на втором исследовательском шаге подход к антропоцентризму в теории текста и стилистике получает разное осмысление. Для теории текста антропоцентризм служит общим (в определенном смысле имплицитным, или подспудным) основанием для изучения текстовых структур как таковых, т. е. ее интересует то, осознает или не осознает, облекает или нет в определенные речевые формы человек (как абстрактный, или потенциальный, текстопорождающий и текстовоспринимающий субъект) обязательные параметры «текстуальности», превращающие некую последовательность знаков в делимитированное смысловое и коммуникативное целое, а также то, например, какие речементальные действия характерны для носителя языка как автора текста, с одной стороны, и его читателя, с другой. Стилистика же акцентирует по отношению к антропоцентрической обусловленности «языка в действии» вопросы «целесообразного» отбора и комбинирования человеком (как правило, автором конкретного текста) тех языковых знаков и их совокупностей, которые «надстраиваются» на обязательные признаки текста как универсаль-

ной ментально-речевой структуры и создают в этой структуре дополнительную (1) индивидуально и (2) социально «отмеченную» информацию: о принадлежности текста к конкретной коммуникативной ситуации, об (эмоциональном или рационально-логическом) отношении автора текста к предмету коммуникации и средствам его языкового изображения, о том, какие элементы текста свидетельствуют о «подчиненности» его автора либо определенным коммуникативно-речевым конвенциям (то, что определяется на английском языке как *opting in*, а на немецком как *Sich-Einfügen*), либо собственной речевой индивидуальности, или креативности (англ. *opting out*, нем. *Sich-Ausfügen*), и прочее.

Объединяет описываемые научные области и само понятие «текст», который, однако имеет различный концептуальный смысл для двух рассматриваемых областей «внешней лингвистики». Для лингвистики текста этот феномен является центральным предметом изучения, о чем свидетельствуют и само название научной дисциплины, и многочисленные определения текста. Эти определения не всегда похожи друг на друга и по количеству выделяемых сторон текста, и по характеру самого представления подобных сторон в качестве обязательных дефиниционных составляющих. Связано это в первую очередь со сложностью и многослойностью феномена текста, объединяющего в себе многоаспектные характеристики, идущие как от природы кодовой системы составляющих его семиотических знаков, так и от сущности «системы» использующего этот феномен человека, в которой одинаково важны и когнитивные, и психологические, и коммуникативные параметры. В большинстве определений текста можно выделить тем не менее несколько наиболее принципиальных моментов. Сошлемся здесь, например, на известного немецкого филолога У. Фикса, которая выделяет в дефиниционной перспективе текста следующие принципиальные позиции: наличие связанной цепочки предложений, некой знаковой последовательности, объединенной функциональной общностью; а также тематическое единство; средство речевого действия; конструкт, зависящий от лежащих в его основе когнитивных предпосылок („... Verkettung von Sätzen, ... Zeichenfolge mit einer Funktion, ... thematische Einheit, ... Mittel sprachlichen Handelns, ... auf Wissensvoraussetzungen angewiesenes Konstrukt“) [Fix, 2008: 18].

В перечне обязательных дефиниционных пунктов текста У. Фикс важным и актуальным в свете становящегося все более активным и всеобъемлющим в лингвистике когнитивного подхода можно считать специальное выделение «когнитивных предпосылок», обусловливающих текстовый «конструкт». Ранее в определениях текста на первый план выдвигалась «функциональная», или коммуникативная, общность знаков, последовательность которых создает текст, как его универсальная характеристика. Так, немецкие исследователи Богранд и Дресслер, ставшие с начала 80-х годов наиболее цитируемыми не только в Германии авторами по теории текста и в определенном смысле ее «законодателями», ставят во главу угла при перечислении семи «критериев текстуальности» (где присутствует, несомненно, и фактор смысловой, т.е. прежде всего когнитивной, цельности текста) то, что текст — это коммуникативно и деятельностно обусловленный феномен, возникающий при связывании неких (языковых) знаков в единое целое. Мы читаем у них: “Wir definieren einen TEXT als eine KOMMUNIKATIVE OKKURENZ [...], die sieben Kriterien der TEXTUALITÄT erfüllt” [Beaugrande/Dressler, 1981: 3].

Таким образом, лингвистика текста исходит методологически из взгляда на текст как на комплексное когнитивно и коммуникативно обусловленное действие человека на основе объединения языковых знаков в некую речевую структуру (конструкт) исходя из его собственных интеллектуальных и психологических потребностей, а также из необходимости контакта с Миром и Другими при осуществлении разных видов деятельности. В связи с этим научные интересы этой дисциплины распространяются в первую очередь на текст как уникальный языковой феномен, подчиняющийся неким универсальным и обязательным «критериям текстуальности», а также на изучение условий, сопровождающих процесс порождения и восприятия текста как такового, с одной стороны, и разных экземпляров, или типов, текстов, возникающих в неоднородных когнитивно-коммуникативных обстоятельствах, с другой, и, далее, на прототипическое описание этих текстовых экземпляров и их классификационную систематизацию по типам и классам текстов.

Стилистика методологически связана с лингвистикой текста своей специальной областью, обозначаемой нередко как «стилис-

тика текста», инклузивным отношением «части» и целого», так как для нее центральным предметом изучения является стиль, а стиль как антропоцентрическая категория может реализоваться только на уровне текста, точнее, его формулирования. Продолжая рассуждения Г. Антоса, который понимает формулирование как «решение проблемы с помощью особой организации текста» (*textorganisierendes Problemlösen*) и выделяет в нем две стороны: производство текста (*Herstellen eines Textes*) и представление предмета коммуникации (*Darstellen einer Sache*) [Antos, 1982: 56–91], мы в свое время отметили необходимость учета в формулировании, т. е., иными словами, транспозиции языковых единиц из системы языка в систему текста, еще одной стороны (важной прежде всего для феномена стиля), а именно, самовыражения в системе текста его речевого субъекта. Это «самовыражение» происходит путем создания автором текста определенного модуса формулирования, который отличает один текст от другого и характеризует новые свойства текста, получаемые им — в дополнение к универсальным критериям текстуальности (связности, цельности, информативности и др.) — в зависимости от смены способа представления предмета (темы) и речевого субъекта текста [Гончарова, 1999: 146–154]. Модус формулирования, избираемый и создаваемый в тексте его автором, представляет собой сигнал о способе выражения с помощью языка определенных содержаний и, одновременно с этим, о том, как речевой субъект «приспособливается» к известным ему нормам когниции и коммуникации: следует ли он этим нормам или, наоборот, «стилизует» свой текст, стараясь выделиться из некой общности. В основе обеих тенденций лежит осознаваемое речевым субъектом единобразие в использовании языковых единиц в качестве элементов текста. Как отмечают У. Фикс, Х. Пете, Г. Йос, для того чтобы создать «стиль текста», все стилевые средства должны быть объединены общей интенциональностью [Fix/Poethe/Yos, 2001: 28].

Тем самым для стилистики (текста) в методологическом плане существенны две полярные координаты ее центрального предмета стиля: текстовая единица (за которой стоит атомарное выражение более сложного, чем ее непосредственное языковое значение, когнитивного и коммуникативного смысла) и языковая личность, реализующая себя в тексте. Две этих координаты,

а также целая система лежащих между ними иных иерархически соотнесенных координат со стилистической значимостью (стилевой элемент, стилевая черта, функционально-стилистический регистр и др.) определяют характер содержащейся в тексте стилистической информации. Стилистическая информация текста, выражаясь в его структуре эксплицитно, принадлежит тем не менее к ряду имплицитных, сопутствующих текстовых информаций, которые сопровождают когнитивный и коммуникативный процессы, но не определяют их изнутри. Неумение адресанта отразить в текстовом целом особенности своего отношения к средствам языкового выражения (например, акцентировать эмоционально-экспрессивную оценку рассматриваемых концептов, показать владение правилами общения в определенной речевой ситуации и умение соответствующим образом воздействовать на адресата, проявить речевую креативность и т. д.), с одной стороны, и неспособность адресата воспринять стилистическую информацию текста, с другой, не прерывают акт сообщения и общения и не разрушают структуру текста, хотя и могут сказаться на его эффективности и привести к коммуникативным неудачам. Осознанное же использование текстовых элементов одновременно и как элементов «стиля текста», т. е. включение в общую интенциональность текста вопроса: «Как я строю текст, какие единицы отбираю и каким (наиболее эффективным) образом их комбинирую в структуре текста?», поднимают стилистику на более высокий уровень — уровень «эстетики формы» [Kainz, 1948: 529]. Обозначенные проблемы содержания и формы текста лингвистика текста не может решить, не прибегая к стилистическим методам интерпретации.

Рассматривая вопросы смежности и размежевания лингвистики текста и стилистики, нельзя не отметить и существование внутри последней ряда специальных областей, на первый взгляд увеличивающих предметную и методологическую дистанцию между лингвистикой текста и стилистикой, но открывающих в то же время новые исследовательские перспективы для обеих дисциплин. Здесь прежде всего следует назвать так называемую «структурную», или «аналитическую», стилистику, или «стилистику ресурсов», занимающуюся изучением стилистического потенциала отдельных единиц и явлений языка, иными словами,

описанием стилистической стороны языковой системы [Ср.: Кожина, 2003: 408–414]. Аналитическая стилистика в свою очередь существует в двух формах: как теоретическая стилистика и как практическая, или прикладная, стилистика. Последняя не может не опираться и на лингвистику текста, поскольку перед ней стоят вопросы практического изучения и внедрения в общественное сознание правил «речеведения» в определенных социально-коммуникативных сферах, в том числе и наиболее эффективного построения определенных видов текстов.

- АДМОНИ В.Г., 1994. Система форм речевого высказывания. СПб.
- ВИНОГРАДОВ В.В., 1980. Проблема сказа в стилистике // Избранные труды. О языке художественной прозы. М.
- ГОНЧАРОВА Е.А., 1999. Стиль как антропоцентрическая категория // Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. *Studia Linguistica VIII*. СПб.
- КОЖИНА М.П., 2003. Стилистика // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.
- КУБРЯКОВА Е.С., 1995. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. М.
- НИКОЛАЕВА Т.М., 1990. Теория текста // Лингвистический энциклопедический словарь. М.
- СТЕПАНОВ Ю.С., 1990. Стиль // Лингвистический энциклопедический словарь. М.
- ФИЛИППОВ К.А., 2003. Лингвистика текста. СПб.
- ANTOS G., 1982. Grundlagen einer Theorie des Formulierens. Textherstellung in geschriebener und gesprochener Sprache. Tübingen.
- FIX U., 2008. Text und Textlinguistik // Textlinguistik. 15 Einführungen / Hg. Nina Janich. Tübingen.
- FIX U., POETHE H., YOS G., 2001. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Frankfurt am Main.
- KAINZ FR., 1948. Vorlesungen über Ästhetik. Wien.
- SOWINSKI B., 1991. Stilistik. Stilttheorien und Stilanalysen. Stuttgart.

A. Г. Гурочкина

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СРЕДА И РЕЗУЛЬТАТ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Развитие и становление коммуникативно-деятельностного и когнитивного подходов к проблемам функционирования языка сосредоточило интерес исследователей-языковедов на процессуальных аспектах языковой деятельности, сделав связную речь, именуемую дискурсом, полноправным объектом лингвистического описания. Исследования в этой области неизбежно привели ученых к признанию дискурса (устного и письменного) — главной и высшей единицей коммуникации.

В зависимости от направленности коммуникативного действия и характера участия в нем адресанта и адресата выделяются такие виды дискурсивной деятельности как монологический и диалогический, при этом многие исследователи признают за диалогическим дискурсом первичный и более естественный по сравнению с монологическим характер отмечая, что диалогическое взаимодействие является онтологически первичной, пратекстовой формой организации речи [Мурзин, Штерн, 1991: 161].

Всеобъемлющий характер диалогического дискурса неоднократно подчеркивался в работах М. М. Бахтина, в понимании которого сам процесс человеческого бытия имеет диалогическую сущность, диалог рассматривается ученым не только как модель межличностного взаимодействия, но и как основная категория процессов человеческого сознания и познания [Бахтин, 1979: 260].

Общение по своей сути диалогично и диалог признается «естественной» формой существования языка. Положение о диалогичности языка, разрабатываемое в современной функциональной лингвистике, прагмалингвистике, социо- и психолингвистике, восходит к концепциям Л. Н. Щербы, В. В. Виноградова, Л. С. Выготского, М. М. Бахтина, Г. О. Винокура и др.

Нормальный ход диалогического взаимодействия предполагает согласование иллоктивных намерений участников, которое заключается в удовлетворении их взаимных претензий. Участвуя в диалоге, коммуниканты вынуждены выполнять разнообразные речевые (неречевые) действия, заставлять друг друга реа-

гировать на них определенным образом. М. М. Бахтин во многих своих работах отмечал, что выполнение взаимных обязательств является основной особенностью диалогического дискурса. Комплекс взаимных реакций участников образует единицу речевого взаимодействия, определяемую как микродиалог или простой интерактивный блок, когда речевое взаимодействие предполагает однократный обмен репликами, или макродиалог (речевое событие, трансакцию), включающий несколько интерактивных блоков, соответственно многократный обмен речевыми ходами. Дж. Остин представляет диалогический дискурс как разворачивающийся процесс осуществления иллокутивно вынужденных речевых действий [Остин, 1986: 37, 46]. Введенный термин «иллокутивное вынуждение» указывает, с одной стороны, на основную особенность диалогического дискурса, а именно его динамичный характер, с другой, это одно из проявлений законов сцепления, действующих на пространстве диалога. Речевые ходы (реплики), связанные в речевом контексте отношением иллокутивного вынуждения, квалифицируют соответственно как иллокутивно независимые и иллокутивно зависимые. Связь между зависимым и независимым речевым актом и особенности ее проявления определяются разнообразными факторами. Прежде всего это конструктивные характеристики диалога. Структура диалога опирается на отношение иллокутивного вынуждения, подобно тому, как структура предложения формируется на основе синтаксических связей. Вместе с тем иллокутивное вынуждение не тождественно синтаксической связи. Такая связь как синтаксическая зависимость основывается исключительно на категориальных свойствах языковых единиц. Вынуждение, действуя на пространстве речевых актов, формируется не только под влиянием иллокутивной функции высказываний, но и находится под воздействием общих законов функционирования диалога. К последним, в частности, принадлежат социально обусловленные законы — известные максимы Г. Грайса, принципы вежливости, релевантности и др., а также универсальные психологические закономерности, определяемые свойствами речевого раздражения как такового, что часто сочетается с обязательностью появления ответной реакции в некоторых типах ситуаций речевого общения [Баранов, Крейдлин, 1992: 88].

С позиций лингвистической прагматики процесс обмена репликами и смены коммуникативных ролей в диалогическом дискурсе выглядит следующим образом: адресант, выстраивая первую, инициирующую реплику, выражает, прежде всего, свое коммуникативное намерение и эмоциональное состояние, соответствующее его социальной и психологической роли, и, пользуясь общим со вторым коммуникантом кодом, воздействует на него, либо сообщая новые знания и, тем самым, изменяя мир знаний партнера, либо побуждая его к совершению того или иного действия. В свою очередь, адресат, выстраивая вторую, реактивную реплику, понимает суть сказанного, вычленяет намерение собеседника, совершает ряд когнитивных операций и определяет направление собственного реагирования в сторону унисонных (кооперативных) или диссонансных (конфликтных) взаимодействий с партнером. Тот или иной вид взаимодействия актуализируется в диалогическом дискурсе в зависимости от совпадения/несовпадения прагматических установок и интенций собеседников. Интенция представлена в любом речевом действии и играет основополагающую роль в порождении того или иного речевого акта. Одним из важных условий диалогического общения является также исходный разрыв в знаниях. Степень этого разрыва может быть различной. При этом следует подчеркнуть, что достаточная информативность диалога достигается, не только за счет новизны сообщаемой информации, но и посредством языковых средств, подчеркивающих новый аспект в восприятии уже известной информации. Выделение релевантных с точки зрения передачи смысла сообщения единиц коммуникации влечет за собой правильное восприятие текста адресатом и адекватное реагирование на поступающую информацию.

Одним из неотъемлемых компонентов диалогического дискурса является контекст. Понятие «контекст» включает самые различные аспекты: вербальный и невербальный, историко-культурный, психологический, социальный и др. Любая коммуникация контекстуальна., она происходит в определенных условиях, которые оказывают влияние на характер ее протекания. Контекст не застывшее приложение к коммуникативному процессу. Контекст — это динамическая система, меняющаяся по мере развития коммуникации. Участники коммуникации корректируют

свое речевое поведение, свои знания и представления в ходе коммуникации, добавляя и снимая определенные пропозиции.

В работах исследователей последних лет особое внимание уделяется когнитивному аспекту контекста, а именно: проблеме взаимоотношения между коммуникацией и познанием, что в первую очередь связано с изучением ментальных состояний и ментальных процессов, обуславливающих речевое/неречевое поведение человека, а также с проблемами порождения, восприятия и понимания речи. Восприятие и понимание возникают, если у общающихся имеется единое смысловое поле, что возможно при наличии общих знаний. Наличие общих знаний определяет языковой выбор и обеспечивает успех коммуникации. Отмечается, что в мозгу человека, осуществляющего адекватный выбор, должны присутствовать знания правил употребления языка и ограничений на его употребление, знания о различных параметрах контекста, о личности партнера по коммуникации, знания конвенциально закрепленных стереотипизированных норм социума, к которому принадлежат участники коммуникации, то есть за решение вопроса о том, выполнены ли необходимые условия приемлемости того или иного речевого/неречевого действия, ответственно знание субъектов о мире, организованное в сознании в виде различных ментальных структур репрезентации знания. Иными словами порождение, восприятие и понимание диалогического дискурса происходит как с опорой на комплекс процедуральных знаний, именуемых в теории коммуникации как «коммуникативные практики», так и с опорой на целый комплекс когнитивных знаний.

В современных лингвистических исследованиях предпринимались и предпринимаются попытки построить типологию диалогического дискурса. Целью типологических исследований является выявление доминантной модели, по которой строится дискурс, «структур предпочтительных или типичных для дискурсов данного типа» [Дейк, 1989: 124].

Принимая в качестве таксономических признаков категории собственно диалогического дискурса (темы диалога и динамизм речевого обмена репликами), выделяют такие диалогические дискурсы как: *нейтральный диалог* (беседа с сохранением дистантиности между партнерами); *диалог-унисон* (с личностно бытовой

тематикой); *диалог-дискуссия* (с нейтрально-абстрактной тематикой); *событийный диалог* (с личностно-бытовой тематикой, которая эмоционально остро переживается партнерами) [Бубнова, 1987: 50].

По коммуникативной функции общения выделяют: *фатические диалоги*, служащие для поддержания гармоничных отношений между общающимися; *риторические диалоги*, направленные на изменении социально-экономического бытия; *эстетические диалоги*, позволяющие интерпретировать действительность; *терапевтические диалоги*, устраниющие функциональные помехи субъектов коммуникации; *метакоммуникативные диалоги*, позволяющие осуществлять рефлексию коммуникативного поведения [Geissner, 1981: 141].

Опираясь на связь интенции коммуниканта с ее конкретным интеракционным воплощением выделяют *комплémentарный тип*, характеризующийся дефицитом информации у одного из партнеров по коммуникации и, соответственно, интенцией восполнить информационную лакуну в процессе коммуникативной интеракции, *компетитивный диалог*, представляющий собой конкуренцию мнений и стремлений партнеров, и *координативный тип*, когда посредством диалога партнеры выравнивают субъективные интересы и притязания [Frank, 1985: 213–222].

Исходя из четырех классов социальных мотивов выделяют четыре соответствующих им типа диалогических дискурсов: *аффилиативный* (когда потребность в диалоге представлена экспрессивной макроинтенцией, суть которой заключается в поиске поддержки партнера по общению, а также поддержании контакта посредством развлечения партнера); *интерпретационный* (реализует координативную макроинтенцию, которая отражает потребность субъекта в идентификации и выделении его в социуме); *диалог-интервью* (являющийся следствием познавательной потребности индивида) и *инструментальный* (актуализирующий регулятивную макроинтенцию) [Сухих, 1990].

На основе интенционально-языкового критерия выделяют: *информационный* диалогический дискурс, *комментарийный* (интерпретационный) дискурс, *персуазивный*, дискурс *саморепрезентации*, *директивный* дискурс, дискурс *введения в заблуждение*, *аргументативный* дискурс и др. [Виноградов, 1996].

В социолингвистике классификация диалогических дискурсов строится на противопоставлении личностно-ориентированного (представлен двумя разновидностями — бытовым и бытийным) и статусно-ориентированного дискурсов.

Таким образом основными подходами к типологизации диалогических дискурсов являются: тематический, функциональный, интенциональный, семиотический и социологический.

- БАХТИН М. М., 1979. Эстетика словесного творчества. М.
- БАРАНОВ Н. А., КРЕЙДЛИН Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога// ВЯ. № 2.
- БУБНОВА Г. И., 1987. Текстовые категории устного спонтанного диалога// Вопросы системной организации речи. М.
- ВИНОГРАДОВ С. И., 1996. Нормативный и когнитивно-прагматический аспекты культуры речи// Культура русской речи и эффективность общения. М.
- ДЕЙК ВАНН Т. А., 1989. Язык. Познание. Коммуникация. М.
- ЗЕРНЕЦКИЙ П. В., 1987. Единицы речевой деятельности в диалогическом дискурсе// Языковое общение: Единицы и регулятивы. Калинин.
- МУРЗИН Л. Н., ШТЕРН А. С., 1991. Текст и его восприятие. Свердловск.
- ОСТИН ДЖ. А., 1986. Слово как действие// НЭЛ: вып. 17. М.
- СУХИХ С. А., 1990. Типология речевого общения// Язык, дискурс, личность. Тверь.
- FRANK W., 1985. Taxonomie der Dialogen Types// Sprachtheorie, Pragmatic, Interdisziplinäres: Akten des 19. Linguisten Kolloquiums Vechta. Lund.
- GEISSNER H., 1981. Sprechwissenschaft: Theorie der mündlichen Kommunikation. Königstein.

B. B. Кабакчи

ЗНАЧЕНИЕ, СЛОВАРЬ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Лингвистические исследования невозможны без обращения к значению слова. При этом мы обычно обращаемся к словарю, полагая, что словарь, в особенности авторитетный словарь, является надежным и объективным регистратором как словарного состава языка, так и собственно значения слов. Мы рассматриваем словарь как «истину в последней инстанции».

Однако, опыт изучения лексикографических данных показывает, что зачастую словарные данные далеко не бесспорны. Данная статья предлагает новую трактовку подхода к лексикографическим данным.

В разработке нового подхода к значению будем отталкиваться от бесспорных фактов. Действительно, словарь, а нас в первую очередь интересует *толковый* словарь (a general purpose dictionary), — это справочник (a reference book), в котором в алфавитном порядке приводится словарный состав («словник», word list) и раскрывается значение слов. Лингвистическая дисциплина, занимающаяся теорией и практикой составления словарей, называется *лексикографией* (lexicography) [см. классические работы по лексикографии: Л. В. Щерба, С. И. Ожегов, В. В. Виноградов; X. Касарес, S. I. Landau, L. Zgusta]. Энциклопедию можно рассматривать как разновидность словаря. Именно в словарях и энциклопедиях (в последнее время все большую популярность получает гибрид — энциклопедический словарь) составители и осуществляют на практике *вербальное описание* значения слова.

Толковые словари, более строго называемые в английском языке general purpose dictionaries, противостоят специализированным (specialized) словарям и могут быть различных видов: полные и сокращенные, академические и популярные, лингвистические и энциклопедические, адресованные native speakers и иностранцам. Существенную часть современных англоязычных толковых словарей составляют учебные словари.

Энциклопедии, в отличие от толковых словарей, не рассматривают языковую сторону языка. Их, например, не интересует,

является ли данный глагол переходным или непереходным и с какими предлогами он употребляется. К тому же энциклопедии рассматривают, как правило, лишь одну часть речи — существительное и в отличие от словарей включают в свой словарь большое количество собственных имен. Кстати, отличие словарей чисто лингвистических от энциклопедических заключается именно в том, что первые не включают собственные имена. До самого последнего времени британские словари были в основном лингвистическими.

Среди словарей Соединенного королевства следует упомянуть OED и его сокращенные варианты *Shorter Oxford English Dictionary* (SOED), *Concise Oxford English Dictionary* (COD), по словам Британской энциклопедии (EncBr) “probably the best-known of the ‘smaller’ Oxford dictionaries”. *Oxford Encyclopedic English Dictionary* (OEED) мало известен, тем не менее, я его всячески рекомендую. Среди других популярных словарей следует упомянуть «однотомные словари» (one-volume dictionaries) издательств Chambers и Collins, а также учебные словари: *Cambridge International Dictionary of English* (CIDE), словарь COBUILD (Collins Birmingham University International Language Database) с очень спорными дефинициями, а также *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (OALD), более известный в нашей стране как «словарь Хорнби».

Учебные словари, ориентируясь на студентов-иностранных, всячески упрощают дефиницию, пытаются отказаться от традиционной модели дефиниции (COBUILD, LDCE), отказываются от показа омонимии, ограничиваясь указанием на различные лексико-семантические варианты (ЛСВ, в английской терминологии — senses): CIDE, LDCE. Начиная с конца 20-го века, наблюдается переход британских лингвистических словарей на энциклопедическую концепцию. Отсюда и появление таких словарей как *Oxford Encyclopedic English Dictionary* и *Longman Dictionary of English Language and Culture* (последний создан на базе лингвистического словаря *Longman Dictionary of Contemporary English*).

Среди словарей американской лексикографии, достойных для привлечения к исследованию, в первую очередь следует упомянуть следующие словари: *Merriam-Webster’s Third New Interna-*

tional Dictionary of the English Language [1961], прямой потомок первого словаря N. Webster, фактически восьмой словарь со временем опубликования родоначальника этой серии в 1828 году, а также Webster's New Collegiate Dictionary — его сокращенная версия; The Random House Dictionary of the English Language [RHD; 1966, 1987, revised 1993], в последнее время на многих словарях издательства Random House используется название Random House Webster's. Упомянем также словари The American Heritage Dictionary of the English Language [AHD; 1969, 4 изд. 2000]. Получивший в свое время высокую оценку The Century Dictionary, вышел в 12 томах в 1911 году и с тех пор не перерабатывался, правда, в середине этого же века выходил однотомный вариант The New Century Dictionary [1959]. Из словарей, использующих имя Webster's за рамками компании 'Merriam' необходимо упомянуть весьма достойный словарь Webster's New World Dictionary, 1-е изд. — 1951 год, последнее, 4-е изд., включающее 160,000 слов, опубликовано в 1998 году.

Объем словаря зависит от той цели, которую перед собой ставят его составители (compilers), но более всего, конечно, от размера финансирования. Современные словаря могут располагать словником от нескольких тысяч (pocket dictionaries) до 600 тысяч слов [OED] и более. Обычно читатели пользуются сокращенными вариантами полных академических словарей ("desk" или "college-size" dictionaries) или учебными словарями объемом в 70-80 тысяч слов. Поскольку большая часть словарей носит чисто коммерческий характер, составители нередко пускаются на хитрости при указании числа слов, приводя не столько число словарных статей, сколько общее число слов, включая и производные (derivatives), которые приводятся в статье без какого-либо пояснения (не считая указания принадлежности к определенной части речи).

К полным (unabridged) словарям относятся такие словари как OED, Webster's Third International; RHD; AHD. Все эти словари имеют сокращенные (abridged) версии, нередко в мягких дешевых изданиях. Последнее время они, как правило, включают и электронные версии.

Представляется возможным выделить три части значения: микро-, мини- и макро-значение.

Макро-значение представляет собой сумму знаний человека на данном этапе о конкретной вещи или идее и поэтому с трудом поддается фиксации в рамках отдельной публикации; лингвисты говорят о том, что внешние границы значения «размыты». *Микро-значение* представлено в словарной дефиниции, а мини-значение — приводится в энциклопедической статье. *Мини-значение* можно также рассматривать как *энциклопедическое расширение дефиниции*.

Непременной составной частью любого толкового словаря является «словарная дефиниция» (*definition*), то есть определение значения слова. Очень важно иметь в виду, что словарная дефиниция, дающая определение значения слова, имеет двойную функцию: во-первых, она, по крайней мере, частично раскрывает значение слова (микро-значение); во-вторых, дефиниция — это словосочетание, которое выполняет функцию *лексико-грамматического субститута* этого слова: “The classical definition is one that is substitutable for the word being defined” [Workbook: 65].

Возьмем в качестве примера простое предложение: *I found him pruning his roses*. Воспользуемся краткой дефиницией карманного словаря.

rose: beautiful flower of genus *Rosa* [Collins Gem].

Теперь заменим слово *rose* этой словарной дефиницией: *I found him pruning his roses*. => *I found him pruning his [beautiful flowers of genus Rosa]*.

Таким образом, в тех случаях, когда человек не хочет или не может по какой-либо причине использовать само слово, на помощь приходит его дефиниция. Скажем, вы хотите избежать употребления трудного, быть может, незнакомого для собеседника, слова «*claustrophobia*» (*morbid dread of confined spaces*— Collins Gem), поэтому вместо «*He's claustrophobic*» вы дипломатично говорите «*He's got fear of confined spaces*».

Классическая дефиниция дается по правилам формального определения, восходящим к Аристотелю, когда выделяется ближайшее к определяемому слову родовое понятие (*genus*), в объем которого входит это слово, а затем уточняются его специфические характеристики (*differentia*). Если использовать формальные классические термины, определяемое слово — это **definiendum**, а уточняющие его слова — **definiens**.

Поскольку основная функция дефиниции — раскрыть значение слова [Арнольд, 27], очевидно, что слова, используемые в дефиниции, должны быть понятны читателю. Совокупность таких слов называется «дефиниционный словарь» («defining vocabulary»: a set of words used as a part of the definition of other words). Объем дефиниционного словаря обычно колеблется от 1500 до 2000 слов, и этот словарь в последнее время нередко дается приложением в словарях учебного типа, например, LDCE, CIDE. Выход за рамки дефиниционного словаря, как правило, допускается академическими словарями, которые стремятся к точности в дефинициях и могут даже использовать греко-латинские термины, в частности, в случае флоры и фауны.

Поскольку дефиниция выполняет коммуникативную функцию субститута определяемого слова, она по возможности должна быть предельно краткой. Отсюда причина основной трудности составления дефиниций: чем протяженнее дефиниция, тем более полно раскрывается значение слова, но, одновременно, тем менее удобна она для использования в качестве субститута. Возьмем для примера простое предложение: Birds are usually covered with feathers. Слово feather объясняется с помощью словосочетания из 61 слова:

feather: one of the light horny epidermal outgrowths that form the external covering of the body of birds and that consist of a shaft bearing on each side a series of barbs which bear *barbules* which in turn bear *barbicels* commonly ending in hooked *hamuli* and interlocking with the *barbules* of an adjacent barb to link the barbs into a continuous vane (WNCD: 61 слово).

Очевидно, что попытка использовать такую дефиницию вместе с определяемого слова обречена на неудачу. В менее академических словарях дефиниции этого слова короче: LDCE (11); Collins Jem (10).

Аналогично, если мы воспользуемся дефиницией слова *claustrophobia* в 20 слов, приводимой в словаре LDCE (a strong fear of being in a small enclosed space or in a situation that limits what you can do), предложение получится очень неуклюжим. Еще сложнее использовать в качестве субститута академическую дефиницию слова *birch* (34 слова).

Особую трудность представляют для составления дефиниции слова с широким значением, поскольку для них практически не-

возможно подыскать родовое понятие (*genus*). В результате, лексикографы либо приводят тавтологические словосочетания (типа «масло масляное»), либо приводятся синонимы, которые обычно не решают проблему. Именно такой случай мы имеем и с ключевым словом нашей статьи, «значение»: **meaning**: what is meant (COD; WNW) <> what is meant by a word, action, idea, etc.; sense, significance [Collins Gem].

Трудность определения значения слова, в том числе и формулировки дефиниции, заключается в неопределенности границ самого значения. По мнению М.В. Никитина, «нельзя указать с полной определенностью, сколько значений у слова и какие это значения, так, чтобы наперед задать все возможные речевые актуализации слова» [Никитин, 1983: 23–24]. Иными словами, изначально, словарная дефиниция — это весьма условное и приблизительное определение значения слова, которое никоим образом нельзя рассматривать как единственное и окончательное. И это естественно, поскольку в противном случае нам незачем бы было ломать себе голову, скажем, над определением значения термина «культура» (их существует несколько сотен): достаточно было бы просто заглянуть в толковый словарь.

Иногда лексикографы открыто играют с дефиницией. Известны «шуточные» дефиниции С.Джонсона в его знаменитом словаре *Dictionary of the English Language*: *Oats*. A grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports people.

Очень спорными представляются попытки некоторых словарей решать языковые проблемы методом голосования. Так, АHD приглашает для решения таким образом спорных вопросов своего рода языковой арбитражный суд из группы уважаемых знатоков языка (в 1992 году эта группа включала 173 человека).

Чтобы убедиться в том, насколько субъективны дефиниции, предлагаемые словарями, обратимся к простому слову “*rose*”, выделив в дефинициях семантические компоненты (в скобках указывается сначала число слов в дефиниции, затем — количество семантических компонентов):

(WNCD: 38\8) any of a genus (*Rosa* of the family Rosaceae, the rose family) of usu. prickly shrubs with pinnate leaves and showy flowers having five petals in the wild state but being often double or partly double under cultivation;

(WNW: 36\6) any of a genus *Rosa* of shrubs of the rose family, characterized by prickly stems, pinnate leaves, and fragrant flowers with five petals that are usually white, yellow, or, often specifically, red or pink;

(Chambers: 35\5) an erect or climbing thorny shrub that produces large, often fragrant, flowers which may be red, pink, yellow, orange or white, or some combination of these colours, followed by bright-coloured fleshy fruits known as hips. *Chambers 21st Century Dictionary*;

(LDCE: 24\4) a flower that often has a pleasant smell, and is usually red, pink, white, or yellow, or the bush that this flower grows on;

(OED: 22\5) any prickly bush or shrub of the genus *Rosa*, bearing usually fragrant flowers generally of a red, pink, yellow, or white colour;

(RHD: 15\5) any of the wild or cultivated, usually prickly-stemmed, pinnate-leaved, showy-flowered shrubs of the genus *Rosa*;

(OALD: 22\4) bush or shrub, usually with thorns on its stems, bearing an ornamental and usually sweet-smelling flower, growing in cultivated and wild varieties;

(Collins Gem: 5\2) beautiful flower of genus *Rosa*.

Обратим внимание, прежде всего, на существенную разницу в числе слов, которые используют составители различных словарей при составлении дефиниций: колебания от 38 слов в WNCD до 5 в карманном словаре Collins Jem. Очевидно, что в словосочетания различной протяженности нельзя вложить равнозначное значение.

В приведенных выше дефинициях можно выделить следующие семантические компоненты (всего 12):

1. genus *Rosa*, the rose family <>
2. the family *Rosaceae*, <>
3. wild or cultivated <>
4. showy flowers <>
5. colour: red, pink, yellow, or white <>
6. fragrant flowers <>
7. prickly <>
8. bush or shrub <>

9. pinnate leaves <>
10. five petals (wild) / double (under cultivation) <>
11. erect or climbing
12. bright-coloured fleshy fruits known as hips

При этом выделенные компоненты (в таблице они указаны соответствующими номерами) различным образом выделяются различными словарями, причем ни в одном случае не наблюдается единобразия в подходах лексикографов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WNW	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Cham	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+
RHD	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-
LDCE	+	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-
OEED	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
CJem	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
EncBr	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-

Теперь покажем, каким образом значение того же слова структурируется в *Encyclopedia Britannica*. Статья, посвященная слову ‘rose’, содержит 606 слов. Энциклопедическая статья, как правило, также начинается с приведения дефиниции. В данном случае — это словосочетание «any perennial shrub or vine of the genus *Rosa*, within the family *Rosaceae*» (13 слов), которое включает лишь два семантических компонента значения, Далее идет основной текст статьи, то есть описание мини-значения, из 584 слов, причем в пределах первых 140 слов упоминаются 14 компонентов.

Таким образом, становится ясно соотношение вербализации значения в его микро- и мини- частях. Составители энциклопедий, располагающие большим пространством для описания значения, нежели составители толковых словарей, не стремятся втиснуть упоминание всех семантических компонентов в рамки дефиниции, спокойно раскрывая значение слова пределах мини-значения.

Таким образом, значение слова представляет собой очень сложную структуру, включающую в себя множество компонентов, нередко тесно связанных друг с другом и пересекающихся своим значением.

Таким образом, при составлении словарных дефиниций лексикографы пытаются найти баланс между описанием значения слова и созданием лексико-грамматического субститута, достаточного для идентификации данного объекта. Безусловно, приведенная выше дефиниция слова *feather* из словаря WNCD неудачно решает эту задачу. В качестве субститута данная дефиниция слишком громоздка, а в качестве описания значения воспринимается с трудом.

В целом есть основания утверждать, что в значении любого слова присутствуют как *эксплицитные*, так и *имплицитные* компоненты, причем последние могут представляться настолько очевидными, что их не считают нужным вербализовать. Не случайно, британская лексикография начиналась с толкования исключительно «трудных слов» (hard words). Логика лексикографов понятна: зачем объяснять, скажем, слова *небо, река, мать* и им подобные, если все знают их значение. Именно поэтому в словаре R. Cawdrey слово *horse* присутствовало только как морской термин.

В результате, значение любого слова представляет сложную структуру, которая в полной мере доступна лишь высоко образованным людям, в то время как в бытовом общении люди обычно обходятся самыми элементарными представлениями о вещах и идеях. Чем сложнее значение слова, тем меньшее число людей знакомы с ним в полной мере.

АРНОЛЬД И. В., 1986. Лексикология современного английского языка. З изд. перераб. М.

НИКИТИН М. В., 1983. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М.

Словари и принятые сокращения

AHD — American Heritage Dictionary of the English Language, 1992. The 3rd edition. Boston, New York, London.

CHAMBERS DICTIONARY — Chambers Harrap Publishers, 2008. UK.

CIDE — Cambridge International Dictionary of English, 1995.

COLLINS NEW GEM DICTIONARY, 1963/ 1970. UK: London & Glasgow.

ENCBR — Encyclopaedia Britannica, 2001.

LDCE — Longman Dictionary of Contemporary English, 2003.

LDELС — Longman Dictionary of English Language and Culture, 2005.

WNCD — Merriam Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (unabridged), 1988.

OALD — Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1989.

OEED — Oxford Encyclopedic English Dictionary, 1991.

OED — Oxford English Dictionary, 1st ed. — 1928; 2nd edition — 1989.

RHD — Random House Dictionary of the English Language. NY, 1987.

WNWD — Webster's New World Dictionary. Cleveland&New York, 2000.

H. A. Кобрина

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ КОГНИТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

Появление и развитие когнитивной лингвистики является закономерным и обусловленным фактом развития лингвистики в целом. Исследования семантической совместимости/несовместимости при сочетании единиц языка, безусловно, доказывает факт их выбора и целенаправленность в расположении элементов, т. е. роль ментальной деятельности человека при речепорождении.

Само создание системы (частей речи, их парадигм) — это уже когнитивный процесс, и следование этим нормам, понятным для всех участников коммуникации, есть тоже когнитивный акт или процесс, что получает отражение в устройстве и функционировании самого языка как основополагающей сущности для всякого процесса коммуникации. Другими словами, язык человека всегда основывается на когниции, т. е. ментальная деятельность и когнитивные процессы и механизмы должны отражаться в языке (и через него — в речи) на всех уровнях развития. Это очень хорошо видно при сравнении разных языков на разных стадиях их развития. С. Д. Кацнельсон говорит по этому поводу об интеракционально-интерпретационной коммуникативной мотивации речи вообще [Кацнельсон, 2001]. Действительно, в речевой презентации могут использоваться разные уровни и порядок выражаемого (простое предложение, сложное предложение, предложение с комплексом, предложение с парентезой, в устной форме с разной интонацией и темпом, в смысловом плане в буквальном смысле и с использованием вторичного семиозиса, в серьезном изложении или в шуточном тоне, в форме монологической и диалогической и др.).

Ограниченный объём статьи не позволяет изложить вклад всех направлений и школ лингвистики в развитие когнитивизма в прошлом. Остановимся на наиболее значимых проявлениях и тенденциях, в которых когнитивные взгляды проявлялись наиболее чётко.

В 17 веке тенденция к объяснению фактов языка как ментально обусловленных наиболее чётко изложена в «Грамматике общей и рациональной» авторов А. Арно и К. Лансло, двух монахов из монастыря Пор-Рояль. Авторы объясняли появление и осмысление грамматических категорий необходимостью выразить мысли, а суть грамматики — выразить это с позиции разума (отсюда и определение её как «рациональной»). Авторами подчёркивалось, что рациональность грамматик является общим в строении всех языков, тем самым признавалось сходство ментальных операций в основных своих проявлениях у людей разных национальностей. Установка на такую общность рассматривалась авторами в основном в морфологии, а слово рассматривалось как «предельная открытость логических извивов мысли», поскольку рационализм, рассудочность есть отражение бытия, отражение **предметов мысли**. В разряд слов, отражающих мысли, они включали существительные, местоимения, прилагательные, наречия, частицы и артикли, а также и привычную комбинаторику, например неупотребление релятивных местоимений после существительных без артикля. Остальные части речи — глаголы, союзы и междометия — авторы относили к разряду слов, выражающих **способ мысли** (*la manière des pensées*) [Арно, Лансло, 1990: 147], так как они предназначены для обозначения какой-либо сущности. В концепции авторов прескриптивность (или предназначение) определённых слов либо для обозначения, либо для утверждения мысли отражает основные компоненты, необходимые для реализации логического мышления. В языке прескриптивность имеет определённую закреплённость.

Большой вклад в развитие лингвистики внес немецкий лингвист В. фон Гумбольдт, который считается основоположником теоретического языкоznания. Его первая работа «О мышлении и языке» [1795, 1796] посвящена роли языка в определении предмета познания. Он утверждал, что мышление всегда связано с языком, «иначе мысль не может достичь отчетливости, представление не может стать понятием» [Гумбольдт, 1984: 8–9], и далее — «Язык есть орган, образующий мысль» [Гумбольдт, 1984: 75].

Основной своей целью он считал выявление и показ изначального единства языка и мышления, а также единство феноменов

культуры, заложив тем самым лингвистический фундамент для объединения наук о культуре. Для отражения единства языка и мышления он ввел термин «дух» как необходимый интеллектуальный аспект человечества. «Язык и духовная сила народа — писал Гумбольдт — коррелируются, составляют одно и то же действие интеллектуальной способности» [Гумбольдт, 1984: 68]. Однако В. фон Гумбольдт считал, что ведущим в этой тесной связанности является язык, т. е. изучал значение языка для мышления. Эта концепция связана с его интересами к сравнительному языкоznанию, где исходными данными служили языковые формы в родственных языках. Анализ этих форм, а также впоследствии языковых данных в целом, расценивался автором как фиксирование созидающего механизма при выявлении предмета познания.

Значительный вклад в изучении роли ментальной деятельности для языка внес А. А. Потебня. Он отрицал точку зрения, что грамматические категории сводились к логике и порождались на её основе, поскольку их гораздо больше, чем логических категорий, и они не всегда строятся на противопоставлении двух членов, а, как правило, представляют развёрнутые системы (например, система глагольных категорий, падежей, типов предложений, местоимений и др.). «Языкоzнание и, в частности, грамматика, ни чуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук», — писал А. А. Потебня [Потебня, 1888: 63].

А. А. Потебня трактовал мышление широко, не только как исключительно ментальную деятельность, используя также термины «дух», «духовность». Язык он определял как работу «духа», т. е. как процесс, объективизацию всякого движения, прогресса, отражения и формирования мысли, коммуникативности (т. е. процесса общения), «забегания вперед», субъективного толкования, фантазии, желания, волитивности, рефлексивности и др. Душевная деятельность, как убедились лингвисты, в том числе и В. фон Гумбольдт и А. Потебня, включает и **сенсорику** т. е. **чувственное восприятие** как каналы, по которым поступает информация в душу человека — зрение, обоняние, слух, вкус, осязание — которые неотделимы от жизни человеческого организма, поэтому совокупность этих функций А. Потебня называет **общим чувством**.

Дума (или дух), таким образом, шире ментальности, она включает также психику и внутренние индивидуальные особенности индивида, его реакции на внешние раздражители, например, смех как реакция на абсурд или остроумие, крик как реакция на опасность. Поэтому душа связана и с физическим состоянием как говорящего, так и слушающего, возможно также непонимание между ними.

Задолго до появления и формирования принципов когнитивной лингвистики А. А. Потебня ввёл также понятие *апперцепции*, называя так участие накопленных знаний и представлений в сознании человека при формировании новых мыслей на основе новых поступлений (в этом смысле апперцепция трактовалась в философии Лейбницием и Кантом). Апперцепция актуализируется на разных уровнях, хотя А. А. Потебню интересовали, в основном, слова. Важно то, что он определил ментальную индивидуальную деятельность как первичный этап, как основание при становлении, расширении, углубления языкового потенциала человека. В трактовке А. А. Потебни апперцепция включала две «стихии» — *воспринимаемое и объясняемое*, с одной стороны, и *совокупность мыслей и чувств*, с другой [Потебня, 2007: 99]. Сама возможность слияния двух актов мысли, имплицитность и допущение, неполное их выражение в последующих частях свидетельствует о том, что апперцепция в этой трактовке довольно близка к истине. С другой стороны, она может быть ошибочной, так как это простейшее чувственное восприятие, которое может быть и должно быть проверено путём других источников познания (через зрение, через болевые ощущения, через слух и др.). Принципиально значимым является тот факт, что А. А. Потебня подчёркивал роль человека уже в процессе речепорождения, признавая динамичность, неоднозначность, вариабельность и индивидуальность каждого акта речепорождения, т. е. он подчёркивал целенаправленность как основу этого процесса, в частности, основу для порождения последовательного текста. При этом целенаправленность создаваемого может быть различной и гибкой по существу. Другими словами, А. А. Потебня допускал возможность прагматической направленности, семантического развития слова, появления новых слов и сочетаний. По существу, А. А. Потебня признавал «лингвистическую относительность»,

которая была сформулирована позже при становлении когнитивизма. Он писал, что «слово утверждает не одним присутствием своей формы, но и всем своим содержанием, отлично от понятия и не может быть его эквивалентом уже потому, что мысль предшествует понятию» [там же].

А. А. Потебня дифференцирует **язык мысли** и **язык чувства**. Последний выражается целым рядом модусных средств — не только собственно языковыми (частицами, междометиями, фразовыми сочетаниями), но и мимикой, жестами, тоном. Эти средства А. А. Потебня называет **общепонятными** [Потебня, 2007: 84].

Наиболее полный и логически обоснованный анализ языка пытался дать Ф. де Соссюр, который стремился создать философию языка — диалектику, отражающую единство и противоположность сущностей [Соссюр, 1977]. Среди идей Ф. де Соссюра доминирующими и релевантными к вопросу об устройстве языка являются пять антиномий (называемых также дихотомиями), которые касаются основных сущностных характеристик языка и отражают специфику мыслительной деятельности человека. Ф. де Соссюр сформулировал основной тип связи в системе языка как наличие отношения *симметрии и тождества*.

Все пять дихотомий являются отражением контрастности и обобщённой дифференциированности языковых характеристик. В них не учитываются основные специфические черты языка, но содержится много установочных рассуждений, наводящих на необходимость изучения того или иного аспекта языка, с учётом причин, стимулирующих динамику в какой-то период и развитие языка, что является самым ценным в его концепции.

Центральной и наиболее значимой для лингвистики стала дихотомия **язык/речь**. Эта дихотомия не касается влияния внешних факторов на развитие и функционирование языка. Она касается лингвистики индивидуальных речевых актов. Как считал Ф. де Соссюр, здесь отбрасывается также связанность языка с другими науками — логикой, физиологией, психологией, общественным устройством, историей, социально-обусловленными факторами и др. В этой трактовке язык есть арсенал средств, сигналов, необходимых для коммуникации, безразличных к материализации.

Языку противопоставляется речь — сугубо индивидуальная сущность. Между ними существует диалектическая связь: без речи нет языка, помимо языка не существует речи. Между ними имеется соотношение как между канонизированной системой и возможной реализацией. (Поэтому при их описании в генеративной грамматике впоследствии стали использоваться термины *competence and performance*).

Соотношение между канонизированной системой и реализацией может быть разным. Ф. де Соссюр отмечает следующие дифференцирующие признаки. Это, во-первых, объём. Язык образует **систему с постоянным набором правил и ограничений** в выборе форм, функций и значений; речь **практически необозрима** по всем этим параметрам. Во-вторых, различие проявляется по степени участия сознания при реализации: в языке большинство аспектов его использования основано на привычке, механичности или автоматичности; в речи превалирует сознательный, свободный отбор с отрывом от логики, неограниченный количественно. В речи представляются и новые фазы отражения сознания, например, двуплановость, расширение моделей и их формы, сохранение малоупотребительных и совсем неприемлемых форм. Поэтому некоторые лингвисты (А. Гардинер, М. А. К. Хэллидей, А. И. Смирницкий) учитывают это творческое начало в речи, коммуникативное расширение моделей и их форм и считают предложение единицей речи, а не языка.

Важным дифференцирующим моментом между языком и речью является **индивидуальность в речи** и сам процесс речевой деятельности. Эту дифференцированность Ф. де Соссюр отразил в виде переходного элемента, который репрезентирует саму деятельность:

Язык → речевая деятельность → речь
(langue) (langage) (parol)

Речевая деятельность — это своего рода когнитивный мостик, обозначающий активизацию, компетенцию и концептосферу говорящего или производящего текст, необходимый для окончательного формирования высказывания. Представление речепорождения с выделением мостика «речевая деятельность» — очень важный момент в общей концепции Ф. де Соссюра. Это

по существу признания когнитивной деятельности человека при порождении речи. Первичными исходными данными являются всё же языковые данные (по существу — то, что предполагается коллективным договором, без знания которых индивид не может быть участником коммуникации). «Язык — всегда есть наследство», — говорил Ф. де Соссюр. Все это позволяет определить язык и речь как диалектически соотносимые сущности. Установив эту связанность, Ф. де Соссюр констатировал связь и между языком и мыслительной деятельностью, поскольку речь есть часто импульсивный, обусловленный ситуацией и восприятием действительности вид деятельности. Позже это признали многие психологи и лингвисты (Л. С. Выготский С. Д. Кацнельсон, В. А. Михайлов и др.). В частности В. А. Михайлов внес уточнение, понимая под «связью» единство языка и сознания, речевой деятельности и сознания, считая сознание высшей формой мышления, которое могло сложиться только при воздействии языка у существа с высшей степенью мыслительной деятельности. На стадии возникновения первичного языка действовало более примитивное мышление, язык был на уровне сигналов, не образующих системы в той стадии сложности, которая сформировалась позже [Михайлов, 1992].

Отход от этого принципа — игнорирования роли мыслительной деятельности в языковых процессах трансформации, характерное для трансформационной грамматики Н. Хомского на первом этапе её становления, и последующее разочарование в этих позициях при использовании этого метода, оказались очень полезными для дальнейшего развития когнитивного направления.

Трансформации — это давно известный и широко применяемый перевод лексемы (или слова во флексивных языках) в другой функциональный и категориальный статус. Этот процесс есть результат работы человеческой мысли, не всегда осознаваемой человеком. Практически использование метода создания новых единиц и моделей построения отработан как созидательный процесс **синтезирования**, основанный на семантической связанности однокоренных слов. Однако при всей генерализованности синтезирования выяснилось, что при этом выявляются законы изби-

рательности в сочетаемости, которые могут различаться у исходного слова и у трансформируемого. Другими словами, выявилось не всегда реализуемое совмещение языковых единиц и потенциала их мыслительных оснований. Эта проблематика стимулировала развитие психолингвистики. По существу, это особая область исследования, относящаяся не только к речевой деятельности, сколько к регулярности определенных признаков речи [Березин, Головин, 1979: 330].

Трансформационная грамматика Н. Хомского преследовала цель изучения только предложения, в основном простого, хотя трансформация возможна и на уровне словосочетания, для выявления самой возможности трансформирования. Например, *обложка книги* можно трансформировать в *книжная обложка*, но *текущее течение реки* не допускает трансформацию в **речное течение*; или *заморозить мясо* трансформируется в *замороженное мясо*, но словосочетание *заморозить зарплату* не дает **замороженная зарплата*.

Совершенно очевидно, что трансформация не приемлема для фигур речи, метафор, усложненных структур, так как всегда меняет характер отношений путем включения дополнительных элементов или изменения функционального статуса входящих слов. А Н. Хомский в трансформационном методе разные синтаксические изменения трактовал изомерно, даже если они относятся к разным уровням предложения. В ряде случаев трансформация выходит за уровень синтаксиса предложения, так как включает и порождение разных коммуникативных типов предложения.

Все попытки упростить сущность трансформаций до уровня механической операции, с трактовкой языковых структур как языковых схематизмов, с небольшим количеством речевых отклонений оказались пагубными для концепции в целом. Язык — не самонастраивающаяся система, которая отбрасывает все неграмматичное, как считал Н. Хомский в начале своей деятельности. На самом деле все в языке контролируется и определяется носителями языка. Сама идея выбора подходящего варианта требует пересмотра смысловой нагрузки составляющих компонентов предложения. В языках флексивного строя смысловая нагрузка тесно связана даже с простым изменением порядка слов в любой структуре. Например, предложение *Он не читает газет* имеет

общий смысл констатации ситуации; в предложении *Не читает он газет* акцентируется его упрямство и нежелание выполнять это действие; в предложении *Газет он не читает* акцентируется именно этот вид чтения, который не реализуется. Для флексивных языков это обычный прием смещения акцентированности и рематизации. Для языков изолирующих порядок слов, и, следовательно, позиция слова является выражением функции, категории и значения слова. Так сочетание *a sound speech* значит «*здравая (трезвая) речь*», а *a speech sound* — «*звук речи*». В английском языке, правда, некоторые позиционные характеристики менее жесткие, например препозиция прямого дополнения к переходному глаголу или предикативный член в начале предложения возможны и используются для выражения подчеркнутости, выделенности, но не меняет общего смысла структуры: *Literature and art he adored. Grammar he detested. Talented he is not. A snake I am not* (примеры заимствованы из разных источников, но стали эталонами возможных модификаций).

Трансформационная грамматика Н. Хомского строилась с целью выявить механизмы порождения структур. По существу же выявился (точнее, подтвердился) **семантический прескриптивизм**, т. е. ограниченность при порождении структур, зависимость от этой процедуры от факта совместимости/несовместимости значений в комбинаторике. Не учитывалось, что в языке всегда действуют две тенденции — тенденция к типизации структуры, формы вообще, и тенденция к выражению индивидуального смысла, путём выражения отношений между компонентами, т. е. конкретными лексическими единицами. Именно это диалектическое единство противоречий лежит в основе многозначности языковых единиц и поступательного развития языка. Сходство с автоматическим механизмом только для образования структур без одновременного изменения смысла тут искать не уместно.

- АРНО А., ЛАНСЛО К., 1990. Грамматика общая и рациональная. М.
БЕРЕЗИН Ф. Н., ГОЛОВИН Б. Н., 1979. Общее языкознание. М.
ВЫГОТСКИЙ Л. С., 1961. Мышление и язык. М.
ГУМБОЛЬДТ В. ФОН, 1984. Избранные труды по языкознанию. М.
КАЦНЕЛЬСОН С. Д., 2001. Категории языка и мышления. М.

- МИХАЙЛОВ В. А., 1992. Смысл и значение в системе речемыслительной деятельности. СПб.
- ПОТЕБНЯ А. А., 1988. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.
- ПОТЕБНЯ А. А., 2007 Мысль и язык. М.
- СМИРНИЦКИЙ А. И., 1957. Синтаксис английского языка. М.
- СОССЮР Ф. ДЕ, 1977. Труды по языкоznанию. М.
- GARDINER A., 1951. The theory of speech and language. Oxford.
- HALLIDAY M. A. K., 1976. System and function in language. London: Oxford.

E. С. Кубрякова

О КОНЦЕПТАХ, СХВАЧЕННЫХ ЗНАКОМ

О значении слова как концепте, я узнала из ранних работ М. В. Никитина. Позднее из его книги присланной мне на рецензию, я узнала многое из семантики, и уже с тех пор считала его едва ли не лучшим семасиологом нашей страны. Но тогда я и думать не думала, что в последующие годы нас свяжет самая глубокая привязанность друг к другу, уж не говоря об общности наших лингвистических интересов. Сегодня, задумывая статью, посвященную моему старому другу, я бы хотела предпослать ей еще несколько личных строчек.

С Ленинградом меня связывали особые отношения. Я там родилась, и уже будучи москвичкой, продолжала стремиться в мой родной город. Начиная с 60-х гг. прошлого века я принимала участие в конференциях, устраиваемых в тогдашнем Институте языкоznания как филиалом нашего, являлась автором нескольких глав «Сравнительной грамматики испанских языков» и, главное, редактируя все ее тома, неоднократно встречалась с крупнейшими германистами того времени. Но знакомство с Михаилом Никитиным пришлось где-то на начало 70-х гг. и состоялось во время одного из моих приездов в качестве оппонента на защите какой-то из докторских диссертаций. Кажется, что меня представили М. В. Никитину мои любимые друзья Архиповы (так в моей семье называлась пара А. Г. Гурочкина и И. К. Архипов), и с тех пор ни одно посещение Ленинграда не проходило без встреч с Михаилом. Особенно яркие впечатления тех лет связаны с тем, как мудро, спокойно и в тоже время иронично вел он заседания Ученого Совета, им бессменно возглавляемого, и как умestны и ярки были его комментарии ко всем выступлениям. Излишне говорить о том, как многому я у него училась и как все его работы продолжают занимать заметное место у меня на специальной полке...

Прошло столько лет, а об определении концепта (как, впрочем, и о значении языкового знака) продолжаются споры. К дефиниции концепта, данной мной в «Кратком словаре когнитивных терминов» (1996), сегодня я могла бы добавить следующие

соображения. Я по-прежнему считаю, что концепт является единицей концептуальной системы человека как главной составляющей инфраструктуры человеческого мозга, характеризующей его как *homo sapiens*'а. Именно в качестве ментальной единицы он отличается так же свойством быть единицей гештальтного типа, то есть целостную и нечленимую далее оперативную сущность нашего сознания, выступающую во всех мыслительных (ментальных) действиях и процессах.

Об отдельности бытия концептов чаще всего свидетельствует тот факт, что у большинства подобных единиц в языке имеются имена, да и подавляющее число ментальных действий и процессов происходит с вербализованными концептами: вся ментальная деятельность человека (за исключением навыком, умений и т.п.) имеет преимущественно языковой характер. Это, собственно, и объясняет, почему классики марксизма-ленинизма и говорили о неразрывном единстве мышления и речи: мы осознаем лишь то, что вербализовано, овеществлено или объективировано языком. Вместе с тем, утверждая, что концептуальная система человека обычно объемнее и богаче, нежели данная ему естественная языковая система, мы хотим подчеркнуть то, что наряду с концептами, уже обретшими свои обозначения, в ней постоянно зарождаются — притом непременно в актах взаимодействия с окружающим нас и онтологически существующим в виде объективной данности миром — новые СМЫСЛЫ. Первоначально, возможно, и смутные, и неопределенные, и аморфные, они все же возникают, так сказать, не на пустом месте, а в связи с обработкой и переработкой информации в определенной области человеческого бытия — в конкретном домене (*domain*). Более того, поскольку в любом из таких доменов существуют уже предсуществующие образование новым смыслов и вербализованные концепты, сам процесс объективации новых смыслов протекает, во-первых, как порождение не просто отдельных концептов, а как порождение определенных концептуальных структур, а, во-вторых, как связанный с поиском соответствующей языковой формы, мы можем строить предположения об исходных смыслах описанного процесса ТОЛЬКО ПО ЕГО ЯЗЫКОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ. Это значит, что реконструируя процесс, мы проходим путь от замышляемой концептуальной структуры в определенном до-

мене мысли к появлению нового концепта в новом языковом знании: появление нового языкового знака (в виде отдельного слова или аналитической дескрипции) знаменует собой **ФИКСАЦИЮ НОВОГО КОНЦЕПТА**, ТО ЕСТЬ «СХВАТЫВАЕТ» КОНЦЕПТ.

Повторю еще раз для ясности: в концептуальной системе языка могут присутствовать как уже языковленные концепты (их очень и очень много!), так и некие пред-концепты, или смыслы. Чтобы появился в языке новый концепт, нужно сгруппировать в ментальном пространстве (пространстве концептуальной системы) некие концептуальные структуры. Лишь обретя свою языковую форму, они обретают статус (вербализованного) концепта. Как каждая языковая единица она теперь может члениться — в ней можно выделять ядро и периферию, можно — разные слои, можно, наконец, представить ее в виде определенной когнитивной или концептуальной структуры, то есть как бы возвратиться к тем смыслам (или концептам), которые — судя по языковой форме — и стоят за (новым) концептом. Но, конечно, все такие членения, вся структурация языковой формы — это дело лингвистического анализа, результаты которого, кстати говоря, постоянно соотносятся со знаниями о мире.

В этом анализе стоит различать также концептуальные и когнитивные структуры: они могут быть противопоставлены по уровню абстрактности, по способу их репрезентации в метаязыке описания, и, наконец, по близости или, напротив, удаленности от обычных дефиниций, даваемых им в лексикографических изданиях. При этом дефиниция слова в словаре (а она считается репрезентирующей либо значение, либо функцию/функции слова) есть нечто усредненное и устанавливаемое лексикографом, учитывающим собранный им и по мере сил достаточно объемный материал. Когнитивная же структура — это структура знания, имеющая в голове каждого говорящего свое более конкретное и более подробное, но зато и более субъективное значение (она, собственно говоря, конкретна как раз потому, что включает все, что знает говорящий о поименованном предмете). Наконец, именно концептуальная структура предстает перед нами как описанная в терминах, более абстрактных по сравнению с тем, что обозначено ее собственным именем (как именем соответствующей категории). Все названные нами сущности являются отра-

жением семантики знака, хотя, несомненно, характеризуют саму ее с разных сторон и в разных аспектах. Значением при этом оказывается именно та сторона (аспект) знака, которая относится к высшей ступени в иерархии его содержательных характеристик: к совокупности концептов, «схваченных» этим знаком, то есть проще говоря, к его концептуальной структуре. Соответственно и можно, пожалуй, разграничивать лексическое значение знака, передаваемое его дефиницией, всю информацию, стоящую за ней и именуемую обычно структурой знания, мнения или оценки и, наконец, собственно значение знака, репрезентирующее схваченные им концепты, с одной стороны, или же сам целостный и неделимый концепт, выступающий в нашем сознании в виде его оперативной единицы (в таких, например, ментальных процессах и образованиях как память, решение проблем, аргументация, фантазия и пр.)

Из сказанного следует, что одна и та же единица — например, слово — может рассматриваться в разных ипостасях своего бытия и функционирования и по сути дела являть собой и единицу номинации с собственным лексическим значением, и особую структуру знания (мнения или оценки) и — что крайне важно и интересно, — и как отдельный концепт (выступая в роли имени категории), и как определенное объединение концептов. Все зависит от точки зрения на указанный объект и на выбранный исследователем ракурс его рассмотрения.

Для иллюстрации сказанного обратимся к отдельному примеру — а именно анализу слова память. Начнем с дефиниции слова, используя для этого «Словарь русского языка» С. И. Ожегова [Ожегов, 449], в котором указывается, что память — это «способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений», а далее приводится и в качестве второго значения «воспоминания о ком- и чем-нибудь». Интересно, что уже в этой дефиниции (хотя иногда и косвенно) содержаться несколько абстрактных имен (концептов) более высокого уровня, с помощью которых описывается лексическое значение — способность, сознание, опыт, хранение, запас и т. п., из чего, правда, ясно вытекает, во-первых, что лексическое значение НЕ сводится целиком к объединению неких концептов, что, во-вторых, самим словом

«схвачен» тот уникальный объект мысли, который соотнесен в сознании с ЕДИНЫМ концептом, им обозначенным, и что, наконец, в словаре, помимо значений, приводятся случаи употребления слова, составляющие ЧАСТЬ обычно используемой говорящим когнитивной структуры (структуры не только знания, но и оценок описываемого объекта). Это позволяет сделать некоторые заключения — притом, действительно, наиболее важные для обыденного сознания — о семантике слова. Однако, естественно, что объем словаря не позволяет описать семантику слова в ПОЛНОТЕ всех имплицируемых им когнитивных и концептуальных деталей. Можно ли строго дифференцировать их (то есть соответственно, противопоставить результаты того и другого анализа)? — Конечно, нет. Ниже мы и хотим показать — хотя и очень кратко, — как саму условность указанного различия, а в то же время — и принципиальную необходимость его проведения. Линия водораздела между ними обусловливается, прежде всего, границей между обыденным знанием (тоже, кстати говоря, плохо усредняемой величиной для разных социальных, возрастных, гендерных и прочих группировок говорящих) и знанием научным. Сообразно разным картинам мира у разных представителей социума у всех представителей отдельных групп складываются собственные мнения об объектах мысли, связанных с тем или иным словом, и лишь описания их концептуальных структур приобретают достаточно общую и обобщенную форму.

В этом смысле можно утверждать, что, исследуя концепт, реализуемый определенными языковыми средствами и собирая сведения о встречающихся примерах их использования в разных типах дискурсивной и/или текстовой деятельности, лингвисты собирают, по сути дела, материал о когнитивных (индивидуальных и поэтому конкретных) структурах и лишь на более высоких ступенях анализа, обобщая все такие сведения, получают возможность судить о концептуальных структурах, стоящих ЗА собранными данными. Когнитивный анализ плавно и без «зазоров» переходит (перетекает!) в анализ концептуальный, и по своим конечным результатам не исключено большее или меньшее их СОВПАДЕНИЕ. Хочется при этом отметить, что именно концептуальный анализ должен объяснить в конечном счете не только инферентные сведения об объекте (их М. В. Никитин именует

импликациональными), но и наблюдаемые в разных контекстах расхождения в правилах сочетаемости исследуемого слова с другими (в его непосредственном окружении). Вне таких правил нельзя оставить и сочетаемость слова в составе связанных с ним производных и сложных словах.

Опытный и тонкий исследователь не может пройти, например, в построении концептуальной структуры для слова память мимо его встречаемости с предлогом в (из чего следует, что память имеет значение КОНТЕЙНЕРА), или его вхождения в образование типа беспамятство (это связывает его еще раз с концептом СОЗНАНИЕ) или его участия в составе оборота память о... (что корелирует с метонимическим переносом к значению ЕДИНИЦА, и т.п. и т.д.).

Поскольку образец концептуального анализа подобного рода уже был дан нами ранее [Кубрякова 1991; 2004], в данной статье мы упоминаем из него лишь то, что в какой-то мере дополняет или уточняет содержащиеся там соображения. Так, возвращаясь к лексикографической дефиниции, можно было бы внести в нее более современное указание не столько на способность, сколько на важнейшую часть инфраструктуры мозга, или же указание на то, что в качестве единиц памяти могут выступать не только воспоминания или впечатления, но и события, а, наконец, и то, что память реализует такие функции, как распознавание образов и извлечение из нее необходимой для человека информации (в том числе и разного рода информации не только словной, но и перспективной) и т. д. Возможно, однако, что подобные сведения перегружали словарь излишними подробностями и были бы более уместными в расширенном толковом словаре русского языка.

Завершая эту статью, я хочу еще раз отдать дань прорицательности и тонкости семантического анализа как неотъемлемой черты работ М. В. Никитина и специально обратить внимание читателей сборника на одну из его статей последнего времени. Я имею в виду его статью «Российский уклон в когнитивной лингвистике» [Никитин, 2006], воспринятую некоторой частью лингвистического сообщества как направленную против когнитивизма. Но, как мне кажется, речь идет об оправданной и вполне справедливой критике того варианта концептуального анализа, который и у меня вызвал резкое осуждение [Кубрякова, 2007;

2008] и который в принципе не может быть назван «когнитивным».

В названной статье М. В. Никитин абсолютно правильно говорит «о спекулятивных выводах о специфике национального мышления и виденья мира» и о неправомерности «чрезмерно прямолинейных заключений о языковом материале» и т.п. Остается, конечно, пожалеть, что в связи с «российским уклоном» упоминается и один из номеров «Вопросов когнитивной лингвистики», не имеющий к «уклону» ровно никакого отношения.

В заключении хочу еще раз приветствовать своего старого друга, достойно представляющего в отечественном языкознании не просто семантику, а семантику НОВУЮ, с несомненной очевидностью связанную с когнитивизмом и потому для меня особенно ценную.

КУБРЯКОВА Е. С., 1991. Об одном фрагменте концептуального анализа слова память.// Логический анализ языка. Культурные концепты. М.

КУБРЯКОВА Е. С., 2004. О концептуальном анализе слова// Язык и знание. М.

КУБРЯКОВА Е. С., 2007. Концептуальный анализ языка. Современные направления исследования (предисловие к сборнику научных трудов). М.

КУБРЯКОВА Е. С., 2008. О соотношении языка и действительности и связи этой проблемы с трактовкой понятия знания // Когнитивные исследования языка. Вып. III. Типы знаний и проблема их классификации. М., Тамбов.

НИКИТИН М. В., 2006. Российский уклон в когнитивной лингвистике // Интерпретация. Понимание. Сб. научных статей. СПб.

З. Я. Тураева

ЯЗЫК И КОГНИТИВНАЯ КАРТИНА МИРА

В центре книги китайской писательницы Xiaolu Quo «A Concise Chinese — English Dictionary for Lovers» [Vintage Books, London, 2008], находится судьба молодой китаянки, родившейся в небольшом поселке на юге Китая и неожиданно оказавшейся в Лондоне. Сюда привела ее воля родителей, которые ждут, что за год она овладеет английским языком с тем, чтобы помочь семье расширить торговые связи принадлежащей им обувной фабрики. Обучение дочери на курсах английского языка в Лондоне они рассматривают как источник будущего благосостояния. Уже сам факт пребывания в Англии героини, от лица которой ведется повествование — Zhuang Xiao Qiao или Z., как она себя называет, отражает изменившуюся экономическую ситуацию в Китае — «open door policy».

С первых страниц книги читатель видит, что разница во времени между пунктом отправления — Beijing — (полночь) и пунктом прибытия — London (5 часов по полудни) — символична. Z. не принадлежит ни тому, ни другому времени, ни тому, ни другому миру. Она всюду чужестранка (*alien*).

Роман выходит за рамки речевого портрета молодой китаянки и рассматривает взаимосвязь языка и культуры, ментальности отдельного человека и ментальности народа, взаимодействие и противоборство Запада и Востока на рубеже тысячелетий, роль языка в этих сложных процессах. В целом, анализируемая книга — это захватывающее путешествие по истории человеческой жизни и по языку. За несовершенством языка Z. скрывается совершенство менталитета, истинная глубина познания окружающего мира. Очарование и горечь слиты воедино. Столкновение культур, известное противостояние Запада и Востока — сущности более значительные, чем история любви мужчины и женщины. Именно они, в совокупности с образом языка, представляют концептуальный центр романа.

Книга блестяще показывает проблемы миграции, охватившей мир в XX столетии. Внутреннее состояние Z., неожиданно оказавшейся на Западе, можно описать цитатой из известной книги

Хоффман «Lost in Translation»: «On about the third night at the Rosenberg‘ House, I have a nightmare in which I‘m drowning in the ocean while my mother and father swim farther and farther away from me. I know, in this dream, what it is to be cast adrift in incomprehensible space; I know what it is to lose one‘ mooring.» [Hoffman, 1989: 104].

Самоидентификация Z. в Лондоне осложнена тем, что на различия в языковой сфере накладываются различия в культурном и в социальном пространстве между Англией и Китаем. Писательница показывает языковую динамику, постепенное овладение чужим языком, на которое накладывается приобщение либо отторжение от чужого образа мыслей и образа жизни. Происходит знакомство Z. с чужой ей, далекой западной культурой.

Через месяц после приезда она знакомится с немолодым англичанином, переезжает к нему и делает попытку построить семью. События, происходящие с Z., располагаются в пространстве романа хронологически, хотя автор, прежде всего, отдает должное скрещению судеб. В книге показано, как мучительно трудно складываются отношения между Z. и ее возлюбленным, как тернист и бесперспективен их путь к общности существования. Их непонимание внутреннего мира другого есть , в конечном счете, непонимание различий в психике мужчины и женщины, к тому же принадлежащим к разным мирам.

Лексика отражает движение чувств, движение мысли. На первых страницах книги наиболее значительной оказывается группа слов, передающих концепты страха, неизвестности, неуверенности в будущем: I worry bending passport [p. 4], I fearing future [p. 5], I not having life in West. I not having home in West. I scared [p. 5].

Постепенно появляется группа слов, передающих одобрение/неодобрение и лишь после появления «его» в ее жизни, базовым концептом становится концепт «love» и связанные с ним понятия: Your face quite pale in the dim light but quite beautiful [p. 49]; I think you beautiful ignoring the age. I think you too beautiful for me, and I don't deserve of you [p. 60].

Цитируя книгу, необходимо отметить, что уже на её первой странице написано: Sorry of my English.

Писательница имитирует плохой английский язык героини и показывает постепенное овладение им Z. к концу повествования.

Языку принадлежит особое место в ряду главных героев романа. Автор знает цену его участия в жизни, познал, как дорого дается свобода владения языком, врастание в многоликий мир языка. Итак, перед Z. открываются два ландшафта: ландшафт языка и еще более сложный ландшафт взаимоотношений с человеком, которого она полюбила и мир которого ей чужд и непонятен.

Ее родители считают, что их существование не что иное, как собачья жизнь и мечтают, что западное образование поможет дочери лучше устроить свою судьбу. Автор высмеивает ограниченность их мышления, приводя заветы матери Z. перед ее отъездом: *No talking strangers. No talking where you live. No talking how much money you have. And most important thing: no trusting anybody* [р. 18]. Последнее напутствие венчает все.

Авторская сатира направлена и на убожество китайской промышленности, производящей товары широкого потребления. У дорожного чемоданчика Z. одно за другим отваливаются все колесики во время первого же путешествия, однако то, с чем она сталкивается в Лондоне, в общежитии, где проводит свою первую ночь, не лучше: *By window, there hanging old red curtain with holes. Under feet, old blood-red carpet has suspicious dirty spots* [р. 13]. Ее окружает враждебный мир. Она видит бродягу, спящего в спальном мешке: «*No safety in this country. I scared in a big danger*» [р. 13]. Где социальное обеспечение? Где медицинское страхование? Где соответствие западных ценностей жизненной реальности? Это тот ракурс, в котором видится Z. новый враждебный мир.

Конфронтация с западным миром осложняется невозможностью выразить себя и понять других из-за незнания языка Заповеди матери как бы передают отношение Z. к современному миру: «*The world scary and strange like deep dark dream*» [р. 41]. Повтор слова «scary» позволяет считать его ключевым при описании Запада. Наряду с этим, нередко встречаются описания, где соположение несоставимых единиц создает иронический эффект, как это имеет место в следующем примере: «*England is hopeless country, but people having everything here: Queen, Buckingham Palace, Loyal Family, oldest and slowest tube, BBC, Channel 4, W.H. Smith, Marx and Spenser, Tesco, Soho, millenium bridge, Tate Modern, Oxford Circus, London Tower, Cider and ale, even Chinatown*» [р. 41].

Обращает на себя внимание повтор эпитета «concrete», используемого автором при описании сада, принадлежащего чете китайских иммигрантов, у которых Z. снимает комнату по приезде в Лондон «This house is like factory place in China just for cheap labours earning money, no life, no green and no love» [p. 42]. Это жестокий приговор современному жизненному укладу как в Китае, так и на Западе, когда все подчинено служению Мамоне — добыванию денег, вплоть до удушения всех жизненных потребностей, всех проявлений человечности. Символом этой жизни является одетый в бетон сад, где уничтожается каждая зеленая веточка, одетая в бетон жизнь, где нет любви и тепла, подобно пустыне Гоби [p. 54] «The garden is concrete, no any green things. Very often little wild grass growing and come out between the concretes, but housewife pull and kill grass immediately. She is grass killer. The lush next door trees come through rusty iron fence, but nothing getting in this concrete family».¹

Цитата, приведенная ниже, иллюстрирует сказанное о современной жизни: «I feel out of place in China . Wherever I go, in tea houses, in hotpot restaurants, / / or even on top of the Great Wall everybody talks about buying cars and houses, investing in new products, grabbing the opportunity of the 2008 Olympics to make money, or to steal money from the foreigner's pockets. I can't join in their conversations. My world seems too unpractical and unproductive» [p. 352].

Жизнь в Китае — символ раздвоения личности: коммунистическая идеология и практика капитализма. Жизнь на Западе также обманчива: No safety in this country [p. 13]. Тщетно пытается Z. унять душевную боль. Душевная константа нарушена.

Представляет интерес специфическое мотивное поле, включающее сравнение западного мира с миром коммунистического Китая, ностальгия Z. по родине и ее постепенная, частичная адаптация к Западу. Амбивалентность ментальности Z. проходит через всю книгу.

Язык — концептуален. В системе английского языка доминирующий субъект — человек. Этому противостоит китайский

¹ Проблемы миграции не будет разрабатываться в статье. Мы отсылаем читателей к одному из первых глубоких исследований широкого спектра проблем, связанных с иммиграцией: Еленевская, Фиалкова: Москва, 2005.

язык. По наблюдениям Z. в ее родном языке доминирующий субъект — коллективное начало: коммунистическая партия, история и пр. «... history tell us it's time to get rich» Z. ставит вопрос, который остается без ответа: отражает ли язык уровень национального сознания, характеризует ли западную цивилизацию большее уважение к личности?

Значительный интерес представляет структура книги. Первая ее часть называется «Before» и открывается прологом «Prologue», в котором читатель знакомится с Z., находящейся на борту самолета по пути из Китая в Лондон, полной тяжелых предчувствий, неуверенной в себе, с тревогой воспринимающей незнакомый чуждый мир. Книга завершается главой «Afterwards» с одной лишь частью «Epilogue». Прошел год: вновь самолет, вновь Z. в небе, но теперь она летит на Восток. Это уже другая Z. Нелегко ей далось знакомство с Англией, но возвращение назад еще труднее. Она никогда уже не будет воспринимать мир, как прежде. «Coming to England was not easy, but going back is much harder. Her heart is wounded, wounded, wounded like the nightingale bleeding on the red rose». Обращает на себя внимание повтор и аллюзия — отсылка к знаменитому соловью О. Уайлда. Она, быть может, никогда не вернется в Англию, страну, где она познала смятение и покой, любовь и страдание, «призрачное счастье, медленное горе» [В. Брюсов].

Говоря о структуре книги, необходимо упомянуть словарные статьи, открывающие каждую главку, например: alien adj foreign, repugnant (to), from another world n foreigner; from another world. Их роль значительна. Они подчеркивают, что перед нами вымысел. Здесь повествование изобличает свой литературный характер. Эти слова не принадлежат рассказчику. Они несут некую ценностную шкалу, закрепленную в данном человеческом сообществе, объединенном единым языком, единым процессом семиозиса. Так, глава «Pronoun» указывает на связь менталитета Z. с национальной картиной мира, глава «Slogan» говорит об обезличивании народной массы в эпоху Мао.

В главе «Pronoun» находим любопытные высказывания о характере английского языка: «Engllish a sexist language. In Chinese no gender definition in sentence. For example, Mrs Margaret says these in class: Everyone must do his best. If a pupil can't

attend the class, he should let his teacher know. We need to vote for a chairman for the student union. Always talking about mans, no womans» [p. 26].

Проблемы сегодняшнего мира поданы тонко, ненавязчиво. Под давлением глобализации национальная картина мира нередко разрушается. Приоритеты как духовные, так и материальные и на Западе, и на Востоке нередко совпадают. Этничность в современном мире порой утрачивается. Если несовместимость Z. с Западом можно объяснить ее маргинальностью, то для Востока это объяснение нерелевантно. Мысль о власти денег в жизни современного человека проходит красной нитью через всю книгу. Как уже говорилось, Z. нет места в сегодняшнем мире, так как это мир наживы и потребления. В нем трудно найти место всякому, у кого есть индивидуальность, кто смотрит на мир по-своему.

Боль и горечь от несправедливости господствующего мироустройства нередко приглушается примирением и ироническим взглядом на окружающее. Вот как описывает Z. ночную жизнь небогатых районов Лондона, где живет ее возлюбленный: «...the robbers robbing the people even poorer than them. In China we believe «rob the rich to feed the poor». But robbers here have no poetry» [p. 41].

Принадлежать двум мирам мучительно. Еще тяжелее оказаться выброшенной за борт. Но как трудно выразить себя с помощью чужого, сопротивляющегося языка, как неразрывно связанны язык и культура, как болезненно чувство дислокации. Z. и ее английский друг по-разному относятся к фундаментальным факторам человеческих отношений. Z. стремится к большей стабильности и определенности. Нередко ее охватывает чувство одиночества. Для ее английского друга любовь к искусству, к ваянию больше любви. Он счастлив и свободен, работая над новой скульптурой. Любовь, по его мнению, тюрьма свободы.

Текст выявляет ценностные координаты Z. Ее мужчина становится ей близким и родным и это еще больше увеличивает пропасть между ними. Растет осознание того, что близкое оказывается далеким, знакомое — чужим.

Реакция Z. на ассимиляцию иной культурой свободна от гнева. Комплекс неполноценности подавляется гордостью за много-

вековую цивилизацию, к которой она принадлежит. «You never really pay attention to my culture. You English once took over Hong Kong, so you probably heard of that we Chinese have 5.000 years of the greatest human civilisation ever existed in the world...Our Chinese invented paper so your Shakespeare can write two thousand years later. Our Chinese invented gunpowder for you English and Americans to bomb Iraq. And our Chinese invented compass for you English to sail and colonise the Asian and Africa» [p. 289].

Очевидно, что роман выдвигает на первый план анализ социального взаимодействия, структуру личности. Последняя, в известной мере, познается через структуру языковой личности. Онтология воспринимаемого мира в значительной степени определяется языком, рисующим этот мир, строящим в сознании реципиента, в его когнитивной системе модель мира. Теория значения предстает здесь в ее двух основных блоках — как теория референции (ее роль здесь особенно велика) и как теория употребления. Если упомянуть об антиномии системность/индивидуальность, обычно реализуемой в тексте, то здесь бесспорно доминирует индивидуальность.

Находясь в стране чужого языка, Z. постоянно обращается к лексике, к обогащению вокабуларя, непрерывно терзает своего друга вопросами о значении слов, чем нередко вызывает его раздражение: «It's so hard for me. I don't have my own space to think... I don't have time to be on my own...» Z. вынуждена согласиться: «Yes, maybe you are right. Words maybe not really the first thing in life. Words are void» [p. 178]. Сравним это с тем, что пишет Е. Хоффман в упомянутой выше книге о проблеме чужого языка в чужой стране: «I've become obsessed with words. I gather them, put them away like a squirrel saving nuts for winter, swallow them and hunger for more» [p. 216]. Смысловая перекличка двух авторов высвечивает близкие проблемы.

Чтобы лучше понять анализируемую книгу, ее необходимо рассматривать в широком контексте современной культуры — в свете эволюции постмодернизма. Дефиниция постмодернизма сложна и многообразна. Существуют противоречивые, отрицающие друг друга теории и концепции [Hassan, 2001]. В работе Хассана делается попытка, несмотря на тиранию времени, вписать постмодернизм в культурологию, в модель рубежа тысячелетий.

Нередко постмодернизм клеймят как крайнюю степень релятивизма в верованиях и ценностях, как предельную иронию и скептицизм, которые также легко прослеживаются в анализируемом романе, как и фрагментарность, соположение несовместимого, пародия, пастиш, китч. Эта семья слов характеризует если не постмодернизм как явление культуры, то контекст, в котором он существует. Хассан определяет постмодернизм как постоянную попытку самоидентификации, как неясную, смутную автобиографию эпохи. Так, в книге, которой посвящена статья, сквозь порою пародийное представление западной и восточной культур, ощущается и понимание их многовековой истории.

Автор призывает к признанию множественности личности, ее динамичности, выступает против ксенофобии, против предрасудков в отношении любой нации, любой культуры. Так, книга отдает должное многовековой истории и цивилизации Китая, одновременно высмеивая подражательные стороны китайской культуры сегодняшнего дня в описаниях, граничащих с китчем: I am sitting in a Starbucks cafe in a brand new shopping centre, a large twenty-two-storey mall with a neon sign in English on a roof: Oriental Globe. Everything inside is shining, as if they stole all the lights and jewels from Tiffany's and Harrod's. In the West there's «Nike» and our Chinese factories make «La Ning» after an Olympic champion. In the West there is «Puma» and we have «Poma». The style and design are exactly the same. The West created «Chanel no. 5» for Marilyn Monroe. For our citizens we make «Chanel no. 6» jasmine perfume. We have everything here and more» [p. 352]. Подражательный характер наступательной китайской экономики становится особенно очевидным благодаря включенными реалиям — широко известным ювелирным магазинам Tiffany на 5 авеню в Нью-Йорке и роскошному супермаркету Harrods в Лондоне.

Ненавязчиво автор книги проводит неизменную линию — эксклюзивности нет. Западная цивилизация в чем-то, вероятно, ушла вперед, однако, и утратила что-то из-за неприятия иной культуры.

В романе можно проследить и такие черты, характерные для литературы постмодернизма, как разрушение иллюзии прочности, множественность истины. Герой расстается со своей подругой, покидает ее и находит себя в одиночестве, в общении с мо-

рем, с природой [Щирова, Тураева, 2005: 136]. Для Z. истина в другом — в семье, в служении близким. Это «рассеянный мир», и герои предстают как существа смятенные, разорванные, так как живут они в вероятностном, сложном мире. Вместе с тем, в чем-то, они цельные. Читатель наблюдает многовероятность истины: у него и у нее разные представления о мире, об истинном и ложном.

В романе потерян интерес к профессиональной жизни героев, что также характерно для анализируемой культурной формации — неясно, чем занимается ее любимый — скульптурой, перевозками или еще чем-то.

Рассказчица носит разные маски: влюбленной женщины, слушательницы курсов английского языка для иностранцев, аналитика современной культуры и т. д. Используя термин Виктора Ерофеева, можно сказать, что возникает эффект «мерцающей эстетики» [Ерофеев 1997: 13–14]. Разрушение существовавших табу на телесную жизнь, раскрепощение личности, отрицание пуританизма создает эстетику эпатажа (там же). Примеры этого находим в анализируемой книге. Во время пятинедельного путешествия по Европе Z. вступает в случайные связи с почти незнакомыми мужчинами, о чем позднее вспоминает с отвращением.

Завершая анализ романа, отметим, что его последние строки метафоричны. Грустит Z., потерявшая любимого, не нашедшую себя на Западе, чужая всем и всему на родине. Плачет природа обо всех, не нашедших себе место в современном жестоком мире.

«I think I have received your last letter. It arrived a month and a half ago and there has been nothing since then./..../

Dear Z.,

I am writing to you from Wales. I've finally moved out of London. The mountain behind my stone cottage is called Carningli.
/-----/

Every day I walk through the valley to the sea. It is a long walk. When I look at the sea, I wonder if you have learned to swim...

I kiss this letter. I bury my face in the paper./.../ It is such a great picture you describe. It is the best gift you ever gave me.

The address on the envelope is familiar. It must be in west Wales. Yes, we went there together. I remember how it rained. The

rain was ceaseless, covering the whole forest, the whole mountain, and the whole land» [p. 354]

GILDNER A., 2003. Человек и мир в русском постмодернизме. Z polskich studi slawistycznych, seria X, Literaturoznawstwo. Kulturalogia. Folkloristika, Warszawa.

ЕЛЕНЕВСКАЯ М., ФИАЛКОВА Л., 2005. Русская улица в еврейской стране. Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле. М.

ЕРОФЕЕВ В., 1997. Русские цветы зла. М.

ЩИРОВА И. А., ТУРАЕВА З. Я., 2005. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы. СПб.

HASSAN I., 2003. Beyond postmodernism. Toward an aesthetic of trust. Angelaki. Journal of the theoretical humanities, volume 8, number 1.

HOFFMAN E., 1989. Lost in Translation. Penguin Books USA Inc.

XIAOLU Guo., 2008. A Concise Chinese- English Dictionary for Lovers. London.

ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ

T. I. Воронцова

КАРТИНА МИРА. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Понятие «картина мира» приобрело большую популярность в конце 20 и начале нынешнего века. Как отмечает М. В. Никитин, его популярность обусловлена радикальным сдвигом в научной парадигме — осознанием принципиальной значимости субъективно-эпистемического фактора в познавательных и деятельностных отношениях человека с миром, обществом и самим собой [Никитин, 2007: 778]. В российской и зарубежной науке проблематика картины мира, ее типологии подробно изучаются в работах таких учёных как Ю. Д. Апресян, Ю. Н. Карапулов, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, В. С. Жидков, Н. И. Курганова, А. Вежбицка, В. Лейбниц, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Т. Кун и др.

Картина мира — это фундаментальное понятие, выражающее специфику человека и его бытия, его взаимоотношения с окружающей действительностью, важнейшие условия его существования. Это целостный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека и представляющий сущностные свойства мира в понимании её носителей, который является результатом всей духовной активности человека [Постовалова, 1988: 11–16]. С гносеологической, общенаучной точки зрения картина мира определяется как упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном сознании [Попова, Стернин, 2002: 10]. Следовательно, содержание картины мира многограново, так как оно включает систему образов, то есть наглядных представлений о мире; систему связей между ними, то есть сведения о взаимоотношениях людей с действительностью, а также их ценностные ориентации, знания.

Картина мира несёт в себе черты специфически человеческого способа миропостижения, так как это результат всестороннего познания действительности, закреплённый в различного рода текстах, отражающих научные знания, религиозные представления, эстетические, художественные ценности социума, проживающего на определённой территории в конкретную историческую

эпоху [Анисимова, 1989]. Образ мира, модель мира являются близкими по значению понятиями. Они представляют собой схематизированный вариант картины мира, где мир понимается как человек и среда в их взаимодействии. В этом смысле мир есть результат переработки информации о среде и о самом человеке [Топоров, 1992: 161].

Картина мира является интерпретацией реальной действительности, так как это всегда определённое видение мира, его смысловое конструирование в соответствии с определённой логикой миропонимания и миропредставления. Она обладает исторической, национальной, социальной, жанровой детерминированностью. Исторический характер картины мира определяется её непрерывным, динамичным развитием под влиянием исторических событий, изменений социальных условий жизни. Существует столько картин мира, сколько имеется способов мировидения, так как каждый человек воспринимает мир и строит его образ с учётом своего индивидуального и общественного опыта, социальных условий жизни. Рассмотрение картины мира возможно с помощью системы координат, посредством которых человек воспринимает действительность и строит образ мира, существующий в сознании.

Картина мира представляет собой диалектическое единство статики и динамики, стабильности и изменчивости. Стабильность является одним из наиболее существенных свойств картины мира. Однако если рассматривать ее во всей полноте как образ мира, который постоянно меняется в процессе развития человеческого общества, необходимо признать, что картина мира не статична, не вечна даже в пределах жизни одного поколения людей, так как она постоянно дополняется и уточняется. Вместе с тем, картина мира — это органическое единство творческого и репродуктивного начал, ее формирование зависит от мировосприятия индивида или народа, а также человечества в целом. При этом субъективность общей картины мира связана с участием отдельных личностей в формировании ее отдельных фрагментов или составляющих. Любое открытие должно быть воспринято социумом, который включает его результаты в общую картину мира, — иначе оно останется жить только в сфере элитарной культуры. В этом проявляется двуприродность картины мира

как явления индивидуального и социального одновременно [Архипов, 2003: 19, 50].

В каждой конкретной культуре модель мира состоит из набора взаимосвязанных, универсальных понятий: время, пространство, причина, отношение части и целого, число, судьба и т.д. [Постовалова, 1988: 49-60]. Следовательно, картина мира — это синтез субъективного и объективного в мировидении человека, синтез духовно-индивидуальной и культурно-исторической субстанций. Она является результатом деятельности социума, мировидением, который всегда имеет системный характер. Для её формирования необходима активность социума, то есть картина мира отражает мировоззренческий эффект практики. Наряду с социальными значениями она включает и специфику национальной культуры, звучание родного языка, в котором закреплены эти значения.

Национальная картина мира — это нечто общее, устойчивое, повторяющееся в картинах мира отдельных представителей народа. Она исторически обусловлена, возникает в национальном сознании, и представлена в виде совокупности упорядоченных знаний — концептосферы нации. В настоящее время появились работы, посвящённые исследованию некоторых национальных картин мира и их отражения в языке [Серебренников, 1988; Никитина, 1993; Гронская, 1998; Воронцова, 2003; Иванищева, 2007].

Картина мира изучалась в рамках семиотики при исследовании первичных моделирующих систем (языка) и вторичных моделирующих систем (мифа, религии, фольклора, поэзии, прозы живописи и т. д.). Семиотические воплощения картины мира неоднородны. Так, например, тексты, носители концептуальных систем, различаются по субстанции образующих их знаков (устная или письменная речь, жесты и т. д.). С семиологической точки зрения во всяком образе можно выделить его формальные и содержательные свойства [Постовалова, 1988: 44].

Процесс воспроизведения картины мира в человеческом сознании обычно представляется в виде чувственной и национальной (логической) модели действительности, но столь же правомерно, как отмечает Г. А. Брутян, представление картины мира в виде концептуальной (логической) и языковой моделей, так как такой подход даёт возможность раскрыть взаимоотношение языка

и мышления в процессе познания, а также показать роль языка в формировании картины мира в сознании людей и более полно представить проекцию окружающей действительности. При этом под концептуальной картиной мира (ККМ) понимается не только знание, которое выступает как результат мыслительного отражения действительности, но итог чувственного познания, в снятом виде содержащийся в логическом отображении [Брутян, 1973: 108–111]. ККМ — это духовная (идеальная, ментальная) структура, которая существует не в языке, а в сознании. Человеческие творения возникают первоначально в мысли, в духе, и лишь затем объективируются в знаки [Гуревич, 1998: 16]. Основные структуры знания, связанные с человеческой деятельностью, реализуются с помощью организующих их моделей, и таким образом устанавливается связь между когнитивными и языковыми структурами знаний [Позднякова, 2001: 18–20]. Следовательно, ККМ является отражением структуры представления знания, «языка» мысли.

Грань между ККМ и языковой картиной мира (ЯКМ) чрезвычайно тонка, так как язык «означивает» основные элементы ККМ и репрезентирует ККМ в своих речевых построениях, при этом структура этих построений отражает структуру мысли. ЯКМ — это продукт когнитивной деятельности сознания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации, в актах художественного представления действительности. [Телия, 1988: 179]. Таким образом, ЯКМ — это вся информация о внешнем и внутреннем мире, закреплённая средствами живых, национальных разговорных языков. Посредством языка речь творит множество иных миров, кроме действительного. Сознание создаёт, а речь передаёт в многообразных комбинациях картины миров реальных и ирреальных, действительных и мнимых, возможных и невозможных, которые идентифицируются и оцениваются относительно мира действительного [Нikitin, 1999: 6–12].

Язык национально специфичен, так как в нём отражаются особенности культуры, национального характера его носителей. Кроме того, существуют понятия, фундаментальные для модели одного языка и отсутствующие в другом. Определённые мысли

и чувства могут быть продуманы и испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого [Вежбицка, 2001]. Таким образом, языковая картина мира представляет собой национально-культурное наследие, а язык является одной из форм фиксации и хранения этого наследия. Язык оказывает решающее влияние на формирование коллективной ментальности, на национально-культурное самосознание. Это объясняется тем, что в языке закрепляется опыт нации, её историческая память, основой которой являются эмпирические знания о мире. Законы природы и отношения между предметами и явлениями материального мира существуют независимо от сознания человека и объективно отражаются в языке, вне зависимости от того, как человек хочет их себе представить. Следовательно, именно они являются определяющими и через язык влияют на сознание человека.

Язык художественного текста в своей сущности является определённой художественной картиной мира и в этом смысле всей своей структурой несёт определённую информацию, при этом модель мира, созданная языком, более всеобща, чем глубоко индивидуальная в момент создания концептуальная модель общения. Сложность и многомерность художественной картины мира предполагает использование принципов комплексного исследования, системного анализа объекта путём привлечения разнообразных методик на единой теоретической основе. Изучение художественного языка произведений искусства не только даёт некую норму эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в самых общих очертаниях. Язык искусства моделирует наиболее общие аспекты картины мира — её структурные принципы [Лотман, 2000а: 30–31].

Язык объективирует концептуальную (логическую) картину мира в своих речевых построениях, при этом структура этих построений отражает структуру мысли. Языковая картина мира — это неизбежный для мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации. Она выполняет две основные задачи: означивание основных элементов концептуальной картины мира и экспликация её средствами языка [Телия, 1988: 179]. Как отмечает Ю. Д. Апресян, каждый естественный язык

отражает определённый способ восприятия и концептуализации мира. Выражаемые в нём значения складываются в своего рода коллективную философию, которая обязательна для всех носителей языка [Апресян, 1995]. Следовательно, язык играет важную роль не только в передаче сообщений, но и во внутренней организации того, что подлежит сообщению.

Как известно, существует два вида языковой художественной коммуникации: фольклорный (устное поэтическое народное творчество) и литературный. Им соответствуют фольклорная и литературная картины мира, которые возникли на разных исторических этапах существования человеческого общества, отражают разные периоды его развития и для них характерна специфическая языковая реализация. В современном мире они существуют параллельно, оказывая влияние друг на друга и дополняя возможности творческой личности в языковом самовыражении [Лихачев, 1999]. Предметом изображения фольклорных произведений являются, как правило, исторические события или типичные явления повседневной жизни, занимающие важное место в народном сознании. Авторы литературных произведений обычно изображают в своих произведениях жизненные ситуации, события, которые наиболее полно представляют жизнь той или иной эпохи, её специфику. При этом авторы сознательно подбирают художественные выразительные средства, которые позволяют глубоко и полно отразить представление о мире.

Можно предположить, что художественная картина мира субъективна и ограничена, что она отражает действительность лишь в определённых аспектах, так как не в состоянии представить её во всём бесконечном многообразии. Однако, как справедливо указывает Б. С. Мейлах, художественная картина мира является собой воссоздаваемое всеми видами искусства панорамное представление о конкретной действительности, тех или иных пространственно-временных диапазонов. Художественная картина мира каждой эпохи находит воплощение в разнообразных произведениях искусства, это картина чувственная, видимая, эмоционально окрашенная. Образное воспроизведение в ней каких-либо конкретных эпизодов, событий, как правило, даёт довольно полное представление об этой эпохе, раскрывает смысл важных социальных событий, потрясений. Таким образом, каждая эпоха

искусства отражает в целом определённый общий уровень художественного мышления [Мейлах, 1985: 299–309].

Жанры как специфические художественные пути и способы осмыслиения и преобразования действительности являются своеобразными матрицами, моделирующими образ по определённым стилистическим канонам [Степанов, 1976: 146]. Это несомненно относится и к образу, картине мира. Для каждого жанра характерен определённый ракурс видения действительности и способ её представления, то есть определённая картина мира, которая представляет собой совокупность знаний о мире. Она формируется в сознании, а затем получает языковое воплощение. Как отмечает Ю. М. Лотман, любое художественное произведение, являющееся определённой моделью мира, некоторым сообщением на языке искусства, просто не существует вне этого языка, равно как и вне всех других языков общественных коммуникаций [Лотман, 2000б: 60].

Жанровые каноны литературных произведений определяют черты художественной картины мира, создаваемой в сознании автора данной жанровой формы. Принимая во внимание различия между довольно многочисленными жанровыми модификациями, а также субъективные характеристики картины мира, можно предположить наличие большой вариативности художественной картины мира.

Рассмотрение языковой картины мира художественного произведения является непременным условием разностороннего изучения его концептуальной картины, так как языковая картина мира — это её формальная основа. Языковая картина мира не является точным отражением соответствующей концептуальной картины мира. Общее в языковой картине мира основано на единых законах языкового мышления, на единых законах развития языка как социального явления. Языковая картина мира хранит модели строя данного языка, его лексикон, отражающий коллективную ментальность, культурно-национальное самосознание, так как между языком и культурой существует неразрывная связь. Этим обеспечивается существование различных вариантов картин мира, наличие национальных, художественных картин мира.

- АНИСИМОВА Р. В., 1989. Отражение категории времени как одного из элементов картины мира // Текст как отражение картины мира: Сб. научн. трудов. М.
- АПРЕСЯН Ю. Д., 1995. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкоznания. № 1.
- АРХИОПВ И. К., 2003. Человеческий фактор в языке: Учебно-методическое пособие. СПб.
- БРУТЯН Г. А., 1973. Язык и картина мира // Философские науки. № 1.
- ВЕЖБИЦКА А., 2001. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М.
- ВОРОНЦОВА Т. И., 2003. Текст баллады. Концептуальная картина мира. СПб.
- ГРОНСКАЯ О. Н., 1998. Немецкая народная сказка: язык и картина мира. СПб.
- ГУРЕВИЧ П. С., 1998. Культурология. М.
- ИВАНИЩЕВА О. Н., 2007. Язык и культура: Учебное пособие. Мурманск.
- КУРГАНОВА Н. И., 2007. Межкультурный диалог как способ освоения культуры. Мурманск.
- ЛИХАЧЕВ Д. С., 1999. Очерки по философии художественного творчества. СПб.
- ЛОТМАН Ю. М., 2000а. Память культуры// Семиосфера: Статьи по типологии культуры. СПб.
- ЛОТМАН Ю. М., 2000б. Структура художественного текста// Об искусстве. СПб.
- МЕЙЛАХ Б. С., 1985. Процесс творчества и художественное восприятие. М.
- НИКИТИН М. В., 2007. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. СПб.
- НИКИТИН М. В., 1999. Об отражении картины мира в языке // Studia Linguistica 8. Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. СПб.
- НИКИТИНА С. Е., 1993. Лингвистическая модель фольклорного мира // Устная народная культура и языковое сознание. М.
- ПОСТОВАЛОВА В. И., 1998. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Под ред. Б. А. Себренникова. М.
- ПОПОВА З.Д., Стернин И. А., 2002. Язык и сознание: теоретические различия и понятийный аппарат // Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологию Воронеж.
- СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А., Кубрякова Е. С., Постовалова В. И., 1988. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.
- СТЕПАНОВ Г. В., 1976. Несколько замечаний о специфике художественного текста // Лингвистика текста: Сб. научных трудов. М. Вып. 103.
- ТЕЛИЯ В. Н., 1988. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.
- ТОПОРОВ В. Н., 1992. Модель мира // Миры народов мира. Энциклопедия. Т.2. М.

O. B. Емельянова

ЯЗЫКОВАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Проблематика когнитивных стилей (КС) занимает особое место в системе психологического знания, находясь на стыке психологии познания и психологии личности. Как не раз подчеркивали исследователи, феномен когнитивных стилей следует видеть не только в факте существования индивидуального своеобразия познавательной активности; это тонкие инструменты, с помощью которых строится индивидуальная картина мира. [Холодная, 1990, 2002, 2004; Шкуратова, 1994 и мн.др.]

Формирование одного из вариантов такой индивидуальной картины мира детально воссоздано в тексте романа современной английской писательницы Рут Рэнделл “The Crocodile Bird” [London, 1994]. Необычность, нетипичность жизненного опыта героини романа Лайзы — практически полная изоляция от внешнего мира, крайне узкий круг общения, влияние матери, которая так и не смогла оправиться от тяжелейшей психической травмы (группового изнасилования) и сделала целью всей своей жизни оградить дочь от тлетворного влияния извне — определили специфику ее когнитивного стиля — индивидуально своеобразных приемов получения и переработки информации об окружающем мире. В психологических исследованиях, посвященных когнитивным стилям, практически ничего не говорится о связи стилевых параметров с вербальными навыками. Тем не менее, отдельные замечания, содержащиеся в работах такого рода [Тихомирова, 1988; Шкуратова, 1983], дают основания поставить вопрос об особенностях языковой актуализации того или иного стиля.

С одной стороны, понятие КС используется с тем, чтобы обозначить межиндивидуальные различия в восприятии, анализе, структурировании, категоризации и оценивания происходящего. С другой стороны, они, характеризуя специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения, являются основанием для выделения типов

людей в зависимости от их когнитивной организации [Холодная, 2002: 13].

Среди когнитивных стилей, составляющих основу феноменологии стилевого подхода (например, ригидный/гибкий познавательный контроль, сглаживание/заострение, импульсивность/рефлексивность, когнитивная простота/сложность и т. д.), на первое место традиционно выносится полезависимость/ поленезависимость, впервые описанная американским психологом Генри Уиткином [Witkin, 1950].

Наиболее ярко, по мнению психологов, когнитивные стили проявляются в сфере общения при осуществлении так называемой социальной перцепции (при этом термин «социальная перцепция» употребляется в широком смысле, т. е. для обозначения не только и не столько собственно перцептивного отражения, но и других когнитивных процессов, таких как память, мышление и др.). В этой связи чрезвычайно важными представляются наблюдения Г. Уиткина и его последователей за отражением полезависимости / поленезависимости в межличностных отношениях. Полезависимые люди, которые в целом в большей мере полагаются на внешние референты (в частности, на других людей), оказываются вследствие этого более социально ориентированными. Зависимые от поля люди получают больше информации в процессе общения, легче ладят с другими людьми, легче разрешают конфликтные ситуации, реже выражают негативное отношение к другим. Эти люди склонны изменять свои взгляды в направлении установок авторитетов. Поскольку полезависимые индивиды обнаруживают такие социальные установки и социальные качества, которые более полезны в межличностных отношениях, то, как полагает Г. Уиткин, можно говорить об их большей социальной эффективности в условиях совместной жизни с другими. С другой стороны, поленезависимым субъектам присуща критичность, компетентность и некоторая отчужденность [Witkin, Goodenough, 1982].

Психологи признают важность как генетических, так и связанных со средой влияний на формирование определенного когнитивного стиля. Неординарность жизненного опыта, полученного Лайзой в детстве и отрочестве, проведенных в условиях искусственной изоляции, без нормального общения с взрослыми

и сверстниками, ссылки на которую так часты в тексте романа: She knew little about life but the experiences she had had were of a peculiar nature. Few could look back on a similar history [p. 245]; «I don't think there've been many lives like mine» [p. 28], незнание норм «коллективной жизни» и, как следствие, неумение им подчиняться (не говоря уже о влиянии психически неуравновешенной матери, совершившей три убийства) — все это приводит к формированию особого типа личности со своей весьма специфической картиной мира. Есть все основания утверждать, что к моменту вступления в свою новую жизнь Лайза сложилась, скорее, как полнезависимая личность с развитым чувством индивидуальной обособленности (автономии). Оно проявляется в том, что полнезависимые субъекты склонны к интраперсональной ориентации, предпочитают держать значительную дистанцию с другими людьми, менее склонны к идентификации с другими и критически оценивают партнеров по общению. Эти черты вряд ли могут способствовать быстрому и успешному приспособлению к совершенно новым условиям существования. С другой стороны, полнезависимые субъекты обнаруживают высокие показатели верbalного и неверbalного (исполнительского) интеллекта, гибкость интеллектуальных процессов, более высокую обучаемость и успешность решения задач на сообразительность, а также большие возможности в регуляции аффективной разрядки в психотравмирующих ситуациях [Холодная, 1990: 63]. Именно эти характеристики когнитивной организации проявляет Лайза в процессе получения и переработки информации об окружающем мире в детстве и отрочестве. Эти же качества помогают ей «встроиться» в совершенно новую среду после драматического крушения всей ее прежней жизни.

Далее сосредоточим внимание на особенностях языковой актуализации интересующих нас когнитивных стилей в сфере межличностной коммуникации. Наблюдения над речевым поведением Лайзы, которая к своим шестнадцати годам — уже вполне сформировавшаяся на всех трех традиционно выделяемых уровнях — семантическом, когнитивном и прагматическом [Караулов, 2007: 5, Карасик, 2002: 48] — языковая личность, дает основания утверждать наличие определенной специфики в реализации указанных стилевых параметров.

В ходе общения со своим возлюбленным Шоном, оказавшимся в силу сложившихся обстоятельств ее практически единственным собеседником, Лайза ведет себя как типичная поленезависимая личность. Это проявляется в безусловно высоком уровне развития вербального интеллекта и значительной степени сформированности словесно-речевого способа кодирования информации. Не обремененный особой образованностью Шон остро чувствует непохожесть Лайзы, ведь она говорит совсем не так, как он и люди, с которыми он привык общаться: «*You only got to listen to the way we talk ... I'm not like you, I can't express myself like you*» [p. 350].

Ее речевое поведение полностью подтверждает правильность сделанных психологами наблюдений о большей критичности и меньшей снисходительности поленезависимых индивидов при оценке партнеров по коммуникации, их компетентности и некоторой отчужденности. На первых порах девушка относится к своему главному партнеру по коммуникации с присущей поленезависимой личности нетерпимостью; она постоянно поучает его: «*You shouldn't use words if you don't know what they mean*» [p. 74], указывает ему на его ошибки и исправляет их, заслужив тем самым прозвище Teacher.

Вместе с тем, оправдывая свою принадлежность скорее к «гибким, или мобильным», нежели чем к «риgidным, или фиксированным» поленезависимым личностям, девушка постепенно переходит на полезависимый способ поведения, в том числе, речевого, под влиянием требований ситуации и своего внутреннего состояния. Высокий уровень интеллектуальных способностей, острые наблюдательность, врожденное чутье подсказывают ей, как себя вести, чтобы добиться того, что психологи называют социальной эффективностью в условиях жизни с другими людьми. Поначалу она изъясняется на несколько книжном и часто непонятном собеседнику языке; однако очень быстро желание стать «своей среди чужих» заставляет Лайзу перестроиться и изменить привычный способ выражения своих мыслей. Так, несколько раз услышав от Шона, часто с трудом подыскивающего подходящие слова, выражение *what-d'you-call-it*, Лайза «присваивает» его, скорее всего, бессознательно. Вместе с тем она учится сдерживать «педагогические» порывы, проявляя чуткость и деликат-

ность:...when she saw the winebox and read the name she somehow managed to stop herself telling them it was pronounced Reesling, she thought their feelings might be hurt [p. 103]. «Haven't you never been to the doctor's?» He would be hurt if she said 'Haven't you ever been', so she didn't say it [p. 49].

Героиня романа постепенно перестает видеть в общении прежде всего познавательную ценность (что свойственно поленезависимым личностям), у нее формируется тенденция к поиску помощи при решении проблем со стороны других людей, в первую очередь Шона, стремление получить эмоциональную поддержку и одобрение своего основного партнера по коммуникации. Психологи уже давно заметили за двумя видами направленности полезависимых и поленезависимых индивидов — на других людей и на дело, соответственно — мотивационный фактор: стиль формируется в соответствии с жизненными потребностями. Основной мотив поведения Лайзы — достижение большей социальной компетентности, в конечном счете — социальной успешности. Она на собственном опыте убеждается, что именно зависимые от поля люди, будучи межличностно ориентированными, получают больше информации в процессе общения, легче ладят с другими людьми и решают конфликтные ситуации. Делая сначала рабочие, а потом все более решительные шаги, девушка приближается к четко осознаваемой цели — достижению максимальной социальной эффективности в совместной жизни с другими людьми. Этот процесс полностью укладывается в представления Г. Уиткина о феномене «расщепления» когнитивных стилей: эффект мобильного сдвига стилевого поведения обнаруживают только поленезависимые индивиды, с достаточной легкостью переходя при необходимости на полезависимый способ функционирования [Witkin et al, 1971].

Помимо полезависимости/поленезависимости в сфере общения ярко проявляется такой стилевой параметр как когнитивная простота/сложность, также отражающий степень дифференцированности при восприятии окружающей действительности [Холодная, 2002, 2004].

Результаты исследований взаимосвязи когнитивной сложности индивида с особенностями их темперамента свидетельствуют о том, что когнитивно сложные индивиды обладают большей

социальной пластичностью. Их восприятие своего жизненного пути характеризуется высокой насыщенностью жизни важными событиями, совпадением хронологического и психологического возрастов, что говорит, по мнению психологов, об их богатой внутренней жизни и реалистическом мировосприятии [Шкуратова, 1994: 87]. Рассказ Лайзы о своем «жизненном пути», составляющий большую часть содержания романа, — это прекрасный образец развернутой литературно оформленной речи, а сама героиня предстает как личность поленезависимая, причем «гибкая и мобильная», и когнитивно сложная. Виртуозно владея особым речевым жанром повествования, она производит ориентацию (определение времени, места, действующих лиц), живо описывает развитие событий, использует квалификации, приводит иллюстрации и дает оценки. Умение артикулировать идеи, детализировать и обобщать их отражает присущую поленезависимым индивидом высокую степень артикулированности восприятия окружающего мира и самого себя. Характер и уровень языковой компетенции однозначно свидетельствует о принадлежности Лайзы к типу людей, обладающих способностями к усвоению развернутого кода [Bernstein, 1979], базирующегося на артикулированных символах (в отличие от сжатых, конденсированных символов ограниченного кода) и — что исключительно важно — предопределяющего достижение социального успеха.

А вот когнитивная сложность, определенным образом связанная с овладением развернутым кодом, открывает в этом направлении не столь радужные перспективы. Наблюдения психологов над когнитивной сложностью как фактором, влияющим на поведение в сфере общения, показывают, что когнитивно сложные люди не всегда добиваются большего успеха в установлении контактов с другими людьми и, соответственно, большей социальной эффективности. Успех зависит от многих обстоятельств, к которым относятся характеристики партнеров (возраст, пол, отношение к субъекту общения, цели общения, ситуация и др.). В результате в конкретных условиях оказываются более компетентными либо когнитивно сложные, либо когнитивно простые индивиды.

Представляется, что проведенное исследование дает все основания ставить вопрос о специфике языковой актуализации таких

основных когнитивных стилей как полезависимость/ поленезависимость и когнитивная простота/сложность, ярче всего проявляющихся в сфере межличностного взаимодействия и речевого поведения.

- КАРАСИК В. И., 2002. Язык социального статуса. М.
- КАРАУЛОВ Е. Н., 2007. Русский язык и языковая личность. М.
- ТИХОМИРОВА И. В., 1988. Стилевые и продуктивные характеристики способностей: типологический подход. //Вопросы психологии №3.
- ХОЛОДНАЯ М. А., 1990. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. Киев.
- ХОЛОДНАЯ М. А., 2002. Психология интеллекта. М., СПб.
- ХОЛОДНАЯ М. А., 2004. Когнитивные стили о природе индивидуального ума. М., СПб.
- ШКУРАТОВА И. П., 1994. Когнитивный стиль и общение. Ростов-на-Дону.
- BERNSTEIN B. A., 1979. Class, Language and Socialization//Language and Social Context: Selected Readings/ Ed. P.P.Giglioli. Harmondsworth.
- WITKIN H. A., 1950. Individual differences in ease of perception and embedded figures / Journal of Personality/ Vol.19.
- WITKIN et al., 1971. A Manual for the Embedded Figure Tests. Consulting Psychology Press Inc.
- WITKIN H. A., GOODENOUGH D. R., 1982. Cognitive Styles: Essence and Origins. Field Dependence and Independence. New York.

C. B. Киселёва

ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ЯДРА ПОЛИСЕМАНТИЧНОГО СЛОВА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ОТНОШЕНИЯ «ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ»)

В последнее время бытует мнение, в соответствии с которым словарная статья (дефиниция) слова должна включать все элементы плана содержания языковой единицы. Наряду с этим проводятся исследования в сфере «семантической компактности», являющиеся результатом возникновения гипотез в области выявления содержательного ядра, как на уровне одного значения, так и на уровне многозначного слова.

С точки зрения первого направления, в дефиниции слова содержатся не только референциональные сведения о лексической единице, но и коннотативные, коммуникативные и прагматические семы. Действительно, план содержания слов включает больше значений, чем это представлено в словарных статьях. Например, достаточно полное описание денотативных значений некоторых слов для их дифференциации даётся в труде А. Вежбицкой [Wierzbicka, 1985: 33–37]. И. К. Архипов считает, что подобные гигантские дефиниции составлялись в ходе выявления реальных единиц хранения информации о словах в памяти, но они явно не подходят на роль содержательного ядра. При всей очевидной избыточности таких определений словарных статей убедительным противопоставлением может послужить «любое указание на какой-нибудь упущеный признак» [Архипов, 1998: 15–19].

Для настоящей статьи важным представляется область сужения семантических элементов значения глаголов отношения, в частности, со значением «части и целого» до минимально необходимых для выявления партитивных сем. Поскольку язык постоянно стремится к экономии, то это может навести на мысль о том, что единицы на уровне языка хранятся в ментальном пространстве словарного состава человека не в виде развёрнутых словарных дефиниций, а в более компактном виде. Содержательное ядро на уровне отдельного значения глагола партитивной семантики должно предполагать сужение семантических компо-

нентов до минимально необходимых (устойчивых, центральных). При этом значение «части и целого» должно быть максимально узнаваемым.

Среди известных лингвистов, ведущих исследования в данном направлении, необходимо отметить ряд ученых (С. Д. Кацнельсон, В. А. Серебренников), развивающих концепцию А. А. Потебни о ближайшем и дальнейшем значениях. А. А. Потебня считает, что значение слова включает «две различные вещи», одну из которых он называет «ближайшим значением», принадлежащим области языкоznания, другую — «дальнейшим значением», составляющим предмет других наук. Но только одно ближайшее значение имеет реальное содержание мысли во время её произнесения [Потебня, 1959: 19–20]. При произнесении слова сознание человека не сфокусировано на совокупности всех признаков слова, т.к. для этого требуется время и совершение определённой мыслительной операции. По мнению автора, вне контекста слово выражает не всё содержание, а только один существенно необходимый признак. Его он называет ближайшим значением, которое вместе с игрой воображения делает доступным для говорящего и слушающего понимание друг друга [Потебня, 1999: 120–124]. Таким образом, ближайшее значение представляет собой форму, в которой нашему обыденному сознанию представляется его содержание. При этом под внутренней формой слова подразумевается отношение содержания мысли к сознанию. Она даёт возможность увидеть, как «собственная мысль представляется человеку».

Ядро значения слова как семанtemу, семантическую категорию, семантический компонент или признак (сему) (как отражение различительной черты) выделяет В. Г. Гак. В плане выражения семанteme соответствует лексема. В семантической структуре значения слова он различает архисемы, дифференциальные семы и виртуэмы (потенциальные семы). Например, архисема «транспортное средство» называет признаки, свойственные целому классу объектов: автобус, поезд, самолёт и т. д. Архисема может стать дифференциальной семой по отношению к семам более высокого уровня (например, «ехать» и «говорить» обладают архисемой «действовать». Ядру значения слова соответствуют дифференциальные семы, существенно отличающие семанtemу одного

(данного) слова от другого. Потенциальные семы отражают второстепенные, зачастую нерелевантные признаки предмета, различного рода ассоциации, с которыми данный предмет реально ассоциируется в сознании коммуникантов. В обычном употреблении слова они уходят на задний план, их функционирование связано с появлением переносных значений у слова [Гак, 1977: 13–14].

М. В. Никитин выделяет понятие интенсионала, приближенного к минимально необходимому содержательному ядру. Под интенсионалом понимается содержательное ядро лексического значения, «структурированная совокупность семантических признаков, конституирующих данный класс денотатов. Их наличие считается обязательным для существований данного класса, точнее — с учётом вероятностной природы мира и его существований, — их прежде всех других признаков связывают с данным классом. Интенсионал — то же, что содержание понятия о классе в логике. Именно интенсионал лежит в основе мыслительных и речевых операций по классификации и именованию денотатов» [Никитин, 1996: 109].

М. В. Никитин представляет лексические значения как сложные образования, непосредственно вплетённые в когнитивные системы сознания. Структура лексического значения образуется прежде всего предметно-логическими связями, расширенными его интенсиональным ядром и захватывающими в периферию его содержания импликационные признаки. Структура интенсионала образуется логическими зависимостями составляющих его семантических признаков и, прежде всего, родо-видовыми (гипер-гипонимическими) связями. Признаки импликационала также структурно упорядочены своими вероятностными характеристиками и предметно-логическими зависимостями [Никитин, 1996: 115]. Под интенсионалом М. В. Никитин подразумевает в приближённом виде (или равнозначно) содержательное ядро значения.

По мнению А. Вежбицкой, чтобы составить словарные дефиниции, нужно использовать метод «редуктивного анализа», который предполагает тот факт, что все концепты должны быть определены через набор далее неопределённых семантических признаков [Вежбицкая, 1996]. С точки зрения автора, основной

момент заключается в постулировании ограниченного набора семантических примитивов, внешние очертания которых задаются толкованиями всех лексических и грамматических значений естественного языка.

С нашей точки зрения, использование А. Вежбицкой семантических примитивов, несомненно, приближает исследователей к минимальным содержательным смыслам, объясняющим сущность функционирования лексических единиц. Опыт А. Вежбицкой в толкованиях первых (номинативно-непроизводных) значений полисемантического слова заслуживает особого внимания в данном исследовании. Разъяснение первых значений слова в словарях не всегда доступны сознанию простого человека, поэтому А. Вежбицкая предложила учёт предлагаемых дефиниций без использования особого метаязыка.

В работах Ю. Д. Апресяна некоторые понятия как метаязык и семантические примитивы определяются таким образом, что словарь метаязыка сокращается в несколько раз до двух типов слов: 1) семантические примитивы (неопределяемые слова, не допускающие дальнейшей семантической редукции), и 2) семантически более сложные слова, которые сводятся к примитивам в один или несколько шагов [Апресян, 1995: 486–481].

Таким образом, существуют несколько определений содержательного ядра значения слова: «интенсионал» (М. В. Никитин), «дифференциальная сема» (В. Г. Гак), «семантический примитив» (А. Вежбицкая, Ю. Д. Апресян) и др. Всех этих авторов объединяет подход к значению слова как к единству, сложный характер которого выражает специфику мыслительного отражения действительности. Такова общая картина, отражающая базовые мнения лингвистов по поводу смысловой общности внутри значения, т.е. его содержательного ядра.

С нашей точки зрения, представленный обзор позволяет сделать вывод, что содержательное ядро значения слова обладает следующими признаками: сужение семантических элементов до минимально необходимых, устойчивых компонентов, где значение должно быть максимально узнаваемым; допустима субъективность суждения, с точки зрения когнитивной лингвистики.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно определить основные когнитивные механизмы, лежащие в основе об-

разования значений глагола «*compose*», и определить инвариант как содержательное ядро, связывающее лексико-семантические варианты данного глагола. В задачу также входит доказать функционирование представителя всей лексемы глагола, выражающего отношение «части и целого» на уровне языковой системы и актуализации переносных значений на уровне речи. Поскольку на основе номинативно-непроизводного значения осуществляется осознание всех переносных значений, оно формируется первым. Первичное значение выводится из definicij словарей с использованием компонентного анализа на основе принципа частотности. Так, номинативно-непроизводное значение «*compose*», на основе выведенных данных 28 толковых словарей (которые не могут быть приведены в рамках статьи) имеет следующий вид: «*compose*» (1) *«to form things or people together as a whole»*. Данное определение, по нашему мнению, включает необходимые и достаточные компоненты для того, чтобы это слово можно было сразу распознать на уровне обыденного сознания.

С нашей точки зрения, первичное представление глагола *compose* ассоциировалось с образом дощечек/брёвен, складываемых/сколачиваемых вместе для создания какого-то строения, похожего на плот, стену, дом и т. д. Но со временем, когда жизнь людей осложнилась и вышла в мир артефактов, появились более сложные предметы и понятия, отношения между ними, которые тоже образуют, формируют, создают более сложные вещи и отношения.

В качестве ЛСВ исследуемого глагола, мотивированного номинативно-непроизводным значением, целесообразно привести любое не первое значение данного глагола. Его анализ осуществляется на основе сравнения, как традиционного приёма толкования. Представляется актуальным выявить, какие единицы выступают в качестве исходной базы при формировании и декодировании метафорических высказываний. При этом анализ основывается на принципах когнитивного подхода, исходящего из опоры когниции и номинации на соответствующие образы восприятия. Предстоит доказать, сохраняются ли когнитивные образы (отношение становления или образования целого из частей), лежащие в основе номинативно-непроизводного значения при осмыслиении метафорического высказывания. Когнитивный

подход предполагает опору на образ, а также на третий смысл, то есть смысл речевого высказывания, выводимый говорящим в определённой коммуникативной ситуации или в пределах соответствующего контекста на основе номинативно-непроизводных значений, входящих в выражение слова.

Так, в основе метафоры *She composed satirical poems for the New Statesman; It can't be too difficult to compose a nice negative reply* (if you compose a short piece of writing such as a poem or a speech, you write it; used especially when this requires skill or effort) [CCELD, 285] лежит ассоциативное сходство по формированию частей в целое. В этом метафорическом значении отражается сравнение с партитивным отношением между конкретными предметами. Подобно дощечкам, являющимися частями какой-то постройки/какого-то строения, данный ЛСВ на основе первичного значения можно интерпретировать как сочинение сатирического рассказа либо негативного ответа, подразумевающих также складывание частей в целое. Эта лексема основана на семантических элементах «*to write*», «*to create*», «*piece of writing*», «*ability*», «*to form words*». Следовательно, семантика «compose» предполагает наличие и этих сем. Очевидно, что номинативно-непроизводное присутствует в этом значении в качестве семы *to form words*, где компонент *words* представляет сему «часть», остальные семы элиминированы. Поэтому можно сказать, что в данном конкретном значении часть партитивности глагола *to compose* потеряна, поскольку глагол приобрёл черты креативности: *She composed satirical poems for the New Statesman; It can't be too difficult to compose a nice negative reply as if/so as compose (1) (to form things or people together as a whole) or to acquire integrity.*

Следующая метафора *Look at the way Hoyland composes his picture* [CCELD, 285] предположительно мотивирована сравнением, связанным с определённым стилем написания картин, с созданием шедевров, с формированием некого целого из частей, с образованием целостности. Этот образ ассоциируется с отклонением от общепринятого употребления глагола *to compose*. Когда этот глагол используется в ситуациях, не предполагающих конкретное семантическое окружение, детерминированное отношением к чему-либо, а касается общей оценки ситуации, то наложение такого контекста на буквальное значение даёт третий смысл —

«нарушение общепринятых норм». В данной метафоре значение *“to compose”* переосмыслено не полностью, его семантика включает не только дополнительные, но и ядерные компоненты номинативно-непроизводного значения: *if you compose a painting, a garden, or a piece of architecture, you arrange its different parts in a deliberate and usually attractive or artistic way*, не приведённые в дефиниции первичного значения.

Необходимо заметить, что лексема *compose* сохраняет значение становления партитивных отношений между «целым» и его «частями»: «целое» и «части» представлены эксплицитно. Таким образом, первичное значение просвечивается через содержательное ядро этого глагола (это даже указывается в дефиниции данной лексемы в лексикографии). В данной метафоре происходит уподобление значению глагола *compose*, вытекающему из прямого значения, но сохраняющему общую идею «соединить части в целое». В дефиниции остаются какие-то части, а какие-то элиминируются. На этом абстрактном уровне происходит концептуальная интеграция.

Содержание данной метафоры носит также абстрактный характер: *In the second case, I will give you some tea to compose your spirits, and do all a woman can to hold my tongue* [Collins, 60]. Как уже было сказано, исходя из номинативно-непроизводного значения, слово *compose* репрезентирует образ соединения кусков дерева в целое (постройку), и исследуемый глагол только это и обозначает. Когда подобный образ (фрейм) накладывается на другой образ именно в этом контексте с определённым лексическим наполнением (на какое-то абстрактное понятие — дух, характер), то он не сохраняет своё системное значение. Человек понимает, что *to compose one's spirits* — это ничто иное, как *собраться духом, привести чувства в порядок, успокоиться*. В этом случае включается механизм подыскивания наиболее подходящего смысла. Компоненты, лежащие в основе данного значения (*to make an effort not being angry, to be calm, to pull yourself together, to be concentrated*), покрывают все абстрактные понятия образования целого из частей. Существование значения общего характера свидетельствует о том, что семиозис происходит в направлении актуализации абстрактных понятий и в последующих представлениях данной лексемы. Здесь компоненты номинатив-

но-непроизводного значения элиминируются и глагол compose претерпевает перекатегоризацию из класса партитивных в иной со значением «собраться духом».

Следует отметить, что данное значение явно возникло вследствие того, что в памяти человека естественно остаются воспоминания о случаях реализации актуальных переносных смыслов в смысловых структурах высказываний. Надо полагать, что эти данные подтверждают сделанное выше предположение о существующем представлении у реальных носителей языка о наличии широкой возможности понимания любых отношений как между конкретными предметами/людьми, так и между абстрактными сущностями, как основы метафорического осмысления с использованием лексемы «как» (*like*) или конструкции «как если бы» (*as if*). Поэтому представляется необходимым включить данную структуру, подсказанную словарями, в формулировку содержательного ядра, который принимает следующий вид: *номинативно-непроизводное значение compose 1 (to form things or people together as a whole) or as if/like compose 1 (to acquire integrity)*.

Итак, результаты анализа позволяют сформулировать следующее содержательное ядро лексемы *compose* как *to acquire integrity*. Данный инвариант как содержательное ядро является единицей лексической системы языка, и все значения актуализируются на его основе в зависимости от коммуникативной установки участников общения.

Таким образом, можно отметить, что абстрактное значение *to acquire integrity* выступает сильным аргументом в пользу реального существования содержательного ядра, связывающего все глаголы одного класса, но не демонстрирующего различительные особенности отдельно взятого глагола. Для каждого глагола есть своё содержательное ядро, содержащее какие-то особые специфические компоненты. Содержательное ядро есть осмысление того общего, что характеризует все ЛСВ многозначного слова. Природа подобных значений настолько широка, что выходит за рамки отношений между реальными предметами.

АПРЕСЯН Ю. Д., 1995. Избранные труды. Т.1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.

- АРХИПОВ И. К., 1998. Проблема языка и речи в свете прототипической семантики // *Studia Linguistica N6*. Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. СПб.
- ВЕЖБИЦКАЯ А., 1996. Язык. Культура. Познание. М.
- ГАК В. Г., 1977. О семантическом инварианте и синонимии предложения // Сб. научн. тр. МГПИИ им. М. Тореза. Вып. 112. М.
- КАЦНЕЛЬСОН С. Д., 1986. Общее и типологическое языкознание. Л.
- НИКИТИН М. В., 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.
- ПОТЕБНЯ А. А. 1959. Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. М.
- ПОТЕБНЯ А. А., 1999. Полное собрание трудов: Мысль и язык. Подготовка текста Ю. С. Рассказова и О. А. Сычева. Комментарии Ю. С. Рассказова. М.
- WIERzbicka A., 1985. Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor: Karoma.
- CCELD — Collins Cobuild English Language Dictionary, 1990. Collins London and Glasgow.
- COLLINS — W. Collins., 1985. The Woman in White. — England: Penguin Books.

B. B. Меняйло

ДИНАМИЧНОСТЬ АВТОРСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Понятие **картины мира** относится к числу фундаментальных понятий, выражающих специфику человека и его бытия. Как целостный глобальный образ мира картина мира является результатом духовной активности человека и возникает у него в ходе контактов с миром. Исследование картины мира актуально не только в рамках господствующей сегодня научной парадигмы, уделяющей особое внимание тому, как в языке отражаются ментальные процессы и индивидуальность человека, в целом, но и для лингвистики как науки, поскольку с картиной мира связаны два процесса, в которых непосредственно участвует язык. «Во-первых, в недрах языка формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры» [Постовалова, 1988: 11].

Картина мира представляет собой диалектическое единство статики и динамики, стабильности и изменчивости. Если рассматривать её во всей полноте как образ мира, который конкретизируется в процессе человеческой жизнедеятельности, можно сделать вывод о том, что картина мира не вечна даже в пределах жизни одного человека, поскольку она постоянно корректируется, дополняется и уточняется [Постовалова, 1988: 48].

Исходя из позиции разграничения языка и мышления, различают **концептуальную картину мира** как понятийный уровень сознания и **языковую картину мира** как уровень значений [Постовалова, 1988; Кубрякова, 1988, 2003; Уфимцева, 1988; Колшанский, 1900; Карапулов, 1987; Никитин, 1999; Телия, 1988; Иванова, 2002; Воронцова, 2003; Гронская, 1998, 2003; Попова, 2004].

Основным содержательным элементом **языковой модели мира** — так называет картину мира Ю. Н. Карапулов [цит. по Уфимцева, 1988: 114], является семантическое поле, а единицами концептуальной картины мира — константы сознания. Концеп-

туальная модель мира содержит информацию, представленную в понятиях, в то время как в основе языковой модели лежат знания, закрепленные в семантических категориях и семантических полях, составленных из слов и словосочетаний [Уфимцева, 1988: 139]. Языковая картина мира — это вся информация о внешнем и внутреннем мире, закрепленная средствами живых национальных разговорных языков [Никитин, 1999]. Концептуальная картина мира — отражение структуры представления знания, «языка» мысли. При этом концептуальная и языковая картины мира диалектически связаны между собой, как мышление и язык, а их разграничение во многом является условным.

Языковой аспект играет решающую роль при репрезентации концептуальной картины мира в разных типах текстов и в разных национальных культурах [Воронцова, 2003: 41]. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь схожие концептуальные картины мира, и наоборот, — представители одной лингвокультуры — разные. В концептуальной картине мира, таким образом, закономерно, взаимодействуют три составляющие: общечеловеческое, национальное и личное. Индивидуальные картины мира значительно различаются у носителей даже одного языка. Особенно большим количеством индивидуальных черт, не разделяемых всеми представителями отдельной лингвокультуры, обладают индивидуальные картины писателей (**авторские картины мира**). «Авторская картина мира фиксирует, в первую очередь, уникальность творческого субъекта: ее индивидуально-личностная составляющая определяет сущность текста как произведения словесного искусства и эстетического события». Вместе с тем, как и картина мира любого индивида, она включает в себя универсальное и национальное» [Щирова, Гончарова, 2006: 92]. Картина мира конкретного автора существенно отличается от объективного описания свойств, предметов, явлений, от научных представлений о них, ибо она есть «субъективный образ объективного мира». Это образ мира, сконструированный сквозь призму сознания и языка писателя, результат его духовной активности [Маслова, 2004: 42–43].

Авторская картина мира является элементом глобальной **художественной картины мира**, которая возникает в сознании читателя при восприятии художественного произведения и представ-

ляет собой воссоздаваемое всеми видами искусств синтетическое панорамное представление о конкретной действительности в тех или иных пространственно-временных диапазонах. Чувственная, видимая и эмоционально окрашенная художественная картина мира каждой эпохи находит воплощение в разнообразных произведениях искусства. Каждая эпоха искусства отражает в целом определенный общий уровень художественного мышления [Воронцова, 2003: 40]. Картина мира автора литературного произведения как носителя художественного мышления является формой конкретизации художественной картины мира. Она объективируется текстом или совокупностью текстов, маркируется индивидуальностью творческого субъекта и является результатом использования им уникальных способностей разума: восприятия, мышления, памяти, внимания и вымысла [Щирова, Гончарова, 2006: 92].

Динамичность — существенное свойство картины мира как фундаментального элемента мироосмыслиения человека — во многом определяет особенности авторской картины мира, поскольку несет в себе черты своего создателя и закономерно запечатлевает динамичность его мировидения. При сохранении целостности картины мира — заданности ее рамок и принципа изображения — в ней могут меняться отдельные фрагменты или общая колористика, запечатлевая миоощущение субъекта этой картины [Постовалова, 1988: 48].

Репрезентантами авторской картины мира в тексте выступают «повторяющиеся и лейтмотивные слова, текстовые символы, тематические, синонимические, антонимические и ассоциативно-образные ряды, формирующие внутритекстовые и межтекстовые ассоциативные поля» [Щирова, Гончарова, 2006: 85]. С изменением каких-либо фрагментов картины мира автора как языковой личности, как правило, изменяются и средства ее репрезентации в созданных им текстах.

В качестве примера динамики авторской картины мира сошлемся на изменения ядерной характеристики культурного концепта FREEDOM в романах Дж. Фаулза «Коллекционер» (“The Collector”) (1960-1962) и «Женщина французского лейтенанта» (“The French Lieutenant’s Woman”) (1969). Ядерные характеристики (ядро концепта) являются обязательными и общепринятыми

для всех представителей определенной лингвокультуры. Вслед за А. Вежбицкой [Вежбицкая, 1999] и А. С. Солохиной [Солохина, 2005], под ядерной характеристикой концепта FREEDOM будем понимать «физическое состояние пребывания на свободе в противоположность заточению, неволе» [Солохина, 2005: 224].

В романе «Коллекционер» обозначенная ядерная характеристика конкретизируется и сужается до состояния пребывания за пределами дома заглавного персонажа, банковского клерка Фредерика Клегга. Дом и подвал, в котором Клегг содержит похищенную им студентку художественного колледжа Миранду Грей, являются физическими вместилищами. Они ограничивают свободу героини, в то время как пространство за пределами дома, напротив, с этой свободой ассоциируется. В тексте романа лексемы-номинанты дома-тюрьмы (т. е. несвободы) обладают повышенной частотностью: глагол “to imprison” используется 6 раз, существительное “prison(er)” — 31, “cellar” — 43, “house” — 49.

Большинство индивидуально-авторских концептов, как правило, возникают в результате трансформации одноименного культурного концепта под влиянием особенностей мироощущения писателя. Индивидуально-авторский концепт может репрезентироваться в произведении эксплицитно и имплицитно. Под эксплицитной репрезентацией индивидуально-авторского концепта понимается присутствие в тексте лексической единицы, наиболее часто используемой представителями национального лингвокультурного сообщества для репрезентации одноименного культурного концепта. При этом понятийная составляющая индивидуально-авторского концепта изначально совпадает с традиционными представлениями этого сообщества. Языковыми маркерами имплицитной репрезентации индивидуально-авторского концепта выступают не традиционные репрезентанты культурного концепта, а те лексические, грамматические и стилистические средства, которые маркируют уникальность языковой личности писателя. Обычно эти языковые средства актуализируют те характеристики концепта, которые формируют его ассоциативно-образный и оценочный слои.

“I like being upstairs. It’s nearer freedom. Everything’s locked. All the windows in the front of the house have indoor shutters. The others are padlocked” [Fowles: 62].

Лексема “*freedom*” — основной языковой репрезентант анализируемого концепта, с одной стороны, коррелирует с имплицитно репрезентирующим концепт словосочетанием “*being upstairs*”, — оно присутствует в речевом сегменте заключенной в подвал (*downstairs*) героини и именует сад, ассоциирующийся в ее сознании со свободой, а с другой, — противопоставляется языковым единицам “*house*”, “*locked*”, “*padlocked*” и “*shutters*”. Семантическая структура трёх последних языковых единиц содержит семы “*close*”, “*fasten*”, “*fix*” [ODE, 2004], эксплицирующие наличие физических преград и состояние ограничения, в том числе ограничения или невозможности движения. Это позволяет назвать их, как и вышеупомянутую ЯЕ *house*, лексемами-номинантами несвободы.

Миренда неслучайно упоминает точные размеры места своего заключения: точность описания подразумевает невыносимость пребывания в замкнутом и лишенном солнечного света пространстве:

“Minny, going upstairs with him yesterday. First, the outside air, being in a space bigger than ten by ten by twenty (I’ve measured it out), being under the stars, and breathing in wonderful, wonderful, even though it was damp and misty, wonderful air” [Fowles: 53].

Выражение “*ten by ten by twenty*” конкретизирует абстрактное представление о несвободе и посредством сравнения *bigger than* противопоставляет его свободе как неограниченному пространству за пределами дома-тюрьмы. Это неограниченное пространство номинируется языковыми единицами “*space*” и “*air*”, семантическая структура которых содержит семы “*external*”, “*not closed*”, “*spread up*” [ODE, 2004]. Существительное “*air*” — имплицитный репрезентант концепта **FREEDOM**, сочетаясь с повторяющимся положительно окрашенным прилагательным “*wonderful*”, актуализирует положительную индивидуально-авторскую оценку концепта.

Роман «Женщина французского лейтенанта» повествует об экзистенциальных поисках представителя викторианской Англии Чарльза Смитсона. Ядерная характеристика культурного концепта **FREEDOM** как физического состояния пребывания на свободе представлена в романе через противопоставление города Лайма, ограничивающего свободу его жителей, и «свободного пространс-

тва» за границами Лайма: Вэрской пустоши (Ware Commons), Лондона и Америки. Жизнь людей в Лайме подчинена строгим взглядам, стереотипам и нормам поведения местного высшего общества. В этом небольшом городке невозможно укрыться от любопытных взглядов соседей. Жители не свободны в своих действиях и вынуждены руководствоваться не желаниями, а соображениями приличий и приемлемости поведения для окружающих.

“Lyme was a town of sharp eyes; and this [London] was a city of the blind. No one turned and looked at him. He was almost invisible, he did not exist, and this gave him a sense of freedom...” [Fowles, 1996: 282].

Ощущение постоянной слежки в городе-тюрьме Лайме имплицируется метафорой “a town of sharp eyes”, где прилагательное “sharp” в значении “quick at noticing things” [ODE, 2004] акцентирует внимание читателя на зоркости и «неусыпной бдительности» жителей. Несвободе Лайма противопоставляется свобода Лондона, «города слепых», в котором отсутствуют всевидящие взгляды. Метафору “a city of the blind”, все элементы которой Дж. Фаулз эксплицитно связывает с ощущением свободы (a sense of freedom), усиливает прием градации: “no one looked” — “almost invisible” — “did not exist”.

В тексте романа содержатся и другие указания на то, что Лайм ограничивает свободу героев произведения. Так, Эрнестина Фриман, невеста Чарльза Смитсона, воспринимает свои ежегодные поездки к тете в Лайм как ссылку в Сибирь:

“...she always descended in the carriage to Lyme with the gloom of a prisoner arriving in Siberia” [Fowles, 1996: 12].

В романе «Женщина французского лейтенанта», как и в первом романе Фаулза, присутствует образ «дома-тюрьмы», который препрезентирует несвободу и представляет собой её частный пример по отношению к тотальной несвободе Лайма (Lyme Regis). Дом-тюрьма принадлежит despoticной и авторитарной представительнице высшего общества Лайма миссис Поултни.

“But Marlborough House and Mary had suited each other as well as a tomb would a goldfinch”; “...the goldfinch was given an instant liberty” [Fowles, 1996: 32].

Сравнение дома с могилой актуализирует окказиональную сему “death” в названии дома и таким образом имплицирует не-

изменность установленных в нём порядков. Ощущение гнетущей неподвижности усиливается и за счет противопоставления могилы полету птицы: в составе лексемы “goldfinch” присутствует сема “flight” [ODE, 2004]. Метафора “the goldfinch was given an instant liberty”, описывающая увольнение служанки из дома миссис Поултни, позволяет читателю сравнить дом с клеткой и прямо называет пространство за его пределами свободой (“liberty”).

Итак, анализ особенностей репрезентации ядерной характеристики культурного концепта FREEDOM в двух романах Дж. Фаулза позволяет сделать следующие выводы о динамичности авторской картины мира. В романе «Коллекционер» происходит конкретизация ядерной характеристики, которая ассоциируется в восприятии читателя с «состоянием пребывания за пределами дома Фредерика Клегга». В романе «Женщина французского лейтенанта» выделенная характеристика, напротив, развивается в абстрактную и означает «пребывание вне сферы вмешательства в твою жизнь посторонних людей». Образ дома, который репрезентирует состояние несвободы, противоположное по своему эмоционально-смысловому наполнению ощущению свободы, является стабильным компонентом авторской картины мира в обоих романах, однако, в романе «Коллекционер» ему отводится центральное место, а в «Женщине французского лейтенанта» — второстепенное. Это объясняется тем, что в первом романе автор сосредоточен на описании состояния человека, физически лишенного свободы, в то время как в фокусе авторского внимания во втором романе оказываются общественные механизмы ограничения свободы человека. В романе «Женщина французского лейтенанта» несвободу репрезентирует «город-тюрьма» Лайм, которому противопоставляются несколько вариантов «свободного пространства» за его границами. Изменение содержания рассмотренной индивидуально-авторской характеристики концепта FREEDOM влечет за собой изменение средств его репрезентации. В романе «Коллекционер» преобладает эксплицитный способ репрезентации концепта: автор насыщает текст лексическими единицами, имеющими в своем составе семы физической несвободы, заточения, неволи. В романе «Женщина французского лейтенанта» концепт репрезентируется, в основном, имплицитно, при помощи метафоры и сравнения, эффект которых усилив-

вается множественными эпитетами. О динамичности авторской картины мира, таким образом, свидетельствует её усложнение.

- ВЕЖБИЦКАЯ А., 1999. Понимание культур через посредство ключевых слов // Семантические универсалии и описание языков. М.
- ВОРОНЦОВА Т. И., 2003. Текст баллады. Концептуальная картина мира (на материале английских и шотландских баллад). СПб.
- МАСЛОВА В. А., 2004. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. М.
- НИКИТИН М. В., 1999. Об отражении картины мира в языке // *Studia Linguistica* 8. СПб.
- ПОСТОВАЛОВА В. И., 1988. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М.
- СОЛОХИНА А. С., 2005. Межкультурное сопоставление концепта «свобода» в русской, британской и американской лингвокультуре по данным ассоциативных экспериментов // Антология концептов. Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Том 1. Волгоград.
- УФИМЦЕВА А. А., 1988. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М.
- ЩИРОВА И. А., ГОНЧАРОВА Е. А., 2006. Текст в парадигмах современного гуманитарного знания. СПб.
- FOWLES J. The Collector. <http://artefact.lib.ru>
- FOWLES J., 1996. The French Lieutenant's Woman. London.
- THE OXFORD DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, 2004. Oxford.

Ю. С. Олейник

К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ КАРТИНЫ МИРА В ЯЗЫКЕ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА

Словосочетание «картина мира» (КМ) обозначает совокупность представлений человека об окружающей его объективной действительности [Колшанский, 2005: 21; Соколовская, 1993: 3]. Вследствие различия научных подходов к определению КМ, а также по причине внутренне присущей ему образности, высказываются сомнения по поводу однозначности этого термина [Никитин, 1999: 6–13, 2003: 141–148; Бринев, 2006: 186–189]. Как отмечает М. В. Никигин, при исследовании КМ необходимо уточнять, идет ли речь о картинах, «сообразующихся с действительным миром как его отражения или замыслы, или же речь идет о полетах фантазии и ментальных играх» [Никигин, 2003: 143].

В данной статье под КМ понимается концептуальное образование, исходный глобальный образ мира, выражающий существенные свойства мира в понимании человека в результате его комплексной деятельности, его духовного и чувственного опыта [Постовалова, 1988: 21]. Это образ мира как отраженного, так и сотворенного сознанием, продукт как рационально-логического, так и фидейного, и фантазийно-игрового мышления [Никигин, 2003: 143]. Базисные представления, формирующие КМ, — это пространство и время, категоризация объектов действительности, субъектно-субъектные отношения, а также другие параметры вселенной: количественные, причинные, этические. КМ включает наиболее общие и потенциально универсальные для всех культур понятия, представления об окружающей действительности. Она существует в сознании человека и в глубинных слоях его психики, скрытых от самонаблюдения, то есть в области подсознательного, бессознательного. Таким образом, можно сделать вывод о том, что КМ — многокомпонентное образование, диалектическое единство, целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека и возникает в ходе всех его контактов с миром и представлений о нем. КМ, отраженная в голове человека, вариативна, непосто-

янна, изменчива, но в ней есть элементы общности, обеспечивающие взаимопонимание людей [Роль человеческого фактора в языке, 1988: 6]. При этом КМ выступает как мировидение этноса в рамках определенной культуры. По мнению Б. Н. Путилова, «культура — это искусственная или вторичная реальность, абсолютно необходимая для человеческого выживания, каждая человеческая культура дает ее членам определенное видение мира» [Путилов, 1994: 62]. Необходимо признать обязательное существование общей КМ у представителей той или иной культуры, что предполагает наличие у них общих представлений, понятий, культурных смыслов [Аншакова, 2005: 9]. КМ индивида складывается из специфики представлений и взглядов на природу и общество, на мир в целом и на свое место в нем, а также из совокупности доступных индивиду знаний, накопленных другими индивидами и обществом. Таким образом, КМ конструируется: а) по линии индивидуального и б) по линии общественного опыта [Комлев, 1981: 25]. Тем не менее, любая КМ для человека, постигающего мир, несоразмерна и в то же время соизмерима с его личностным способом восприятия. Объективно существующая, она унифицирует плюралистические образы реальности, формируемые субъективно. Универсальность КМ позволяет ей выступать в качестве посредника между различными сферами человеческой культуры.

Общая КМ, представленная с помощью языка, является вербальной, языковой КМ (ЯКМ). Язык выступает средством познания мира. Само же приобретение знаний является формированием некоторых когнитивных структур — продуктов когнитивной деятельности по переработке информации, осуществляющей человеком. Возникает проблема соотношения языка и когнитивных структур, частным проявлением которой является вопрос о соотношении языка и мышления. Многочисленные языки, существующие в мире, — это различные пути, способы духовного освоения действительности и кодирования информации, в основе которых лежат одинаковые принципы человеческого мышления. Как справедливо отмечает Г. В. Колшанский, логика человеческого мышления, объективно отражающего внешний мир, едина для всех людей, на каком бы языке они не говорили [Роль человеческого фактора, 1988: 6; Колшанский, 2005: 12]. Таким

образом, в языке, и прежде всего в лексике, представлена КМ данного этноса, которая становится фундаментом всех культурных стереотипов.

В настоящее время термин ЯКМ широко используется в лингвистической литературе. ЯКМ — это неизбежный для мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации [Телия, 1988: 179; Воронцова, 2003: 68]. Понятие ЯКМ актуально для осмыслиения ментальных представлений о фрагменте действительности, созданных с помощью языка и воплощенных в тексте. Взаимоотношение между ментальными и языковыми структурами предполагает взаимовлияние сторон. Язык не копирует реальность, а лишь определенным способом отражает процесс ее познания человеком. В процессе своей деятельности, при накоплении сенсорного опыта человек выбирает и выделяет основные компоненты. Они аккумулируются в языке, но меняются под влиянием перемен в условиях существования этноса.

Язык, по замечанию В. фон Гумбольдта, — это объединенная духовная энергия народа. Он отражает дух народа, субъективный взгляд человека на предметы окружающего мира, заключает в себе коллективное сознание, закодированную информацию о мире [Гумбольдт, 1985: 349]. Язык не столько преобразует действительность, сколько отражает ее в своих формах. Внешние условия жизни, материальная действительность определяют сознание людей и их поведение, что находит отражение в грамматических формах и в лексике языка. Обращение к художественной КМ текста посредством его ЯКМ выводит исследователя в целостный мир образов, который воплощают существенные закономерности бытования национальной культуры на определенном этапе исторического развития. Художественный материал при этом органично сочетает в себе национальное и универсальное в мировой культуре, что позволяет провести многоуровневый анализ художественно-языковой ткани, последовательно проходя: 1) уровень языковых средств (с рассмотрением отдельных лексем, фразеологизмов, высказываний); 2) идеино-тематический уровень (с анализом системы мотивов и ключевых метафор);

3) уровень художественно-языковой КМ. Разработка понятия ЯКМ позволяет расширить представления о сложных взаимосвязях между языком и культурой [Сапожникова, 2003: 3–4].

Художественный язык обладает только ему свойственными чертами: пластичностью, смысловой емкостью, иносказательной возможностью; он реализует художественно-мыслительные возможности сознания, конкретизирует художественный мир, насыщая его авторской содержательностью [Скурту, 1990: 75; Закс, 1990: 38]. Языковые единицы существуют в тексте как в системе, организованной для моделирования, выражения и передачи вполне конкретного художественного замысла. Мировидение художника соединяет общее (родовые черты присущего культурно-историческому типу искусства способа отражения) и единичное (уникальные, авторские черты воссоздания мира, присущие художественной индивидуальности) в творческом акте. Как пишут В. С. Жидков и К. Б. Соколов, творческий акт заключается в том, что художник выбирает для своего художественного осмысливания какой-либо фрагмент действительности, дает ему определенную оценку (интерпретацию) и кодирует ее с помощью выразительных средств языка [Жидков, Соколов, 2003: 17]. Последовательность языковых творческих актов создает художественную коммуникацию, которая существует в двух ипостасях: фольклорной (народной) и литературной (авторской). Они существуют параллельно, оказывая влияние друг на друга. Исторически фольклорная коммуникация предшествует литературной. В ней отражается представление о действительности, своеобразное всему этносу, создающему фольклор. При этом фольклор как интернациональное явление [Пропп, 1998: 129] возникает закономерно в определенный период развития любого общества, которому свойственны те или иные представления о мире, в котором он существует. Дальнейшее осмысливание этих представлений, параллельно общественному, происходит по линии индивидуального опыта, воплощаясь в авторских художественных произведениях. С помощью анализа языкового материала устанавливаются особенности представлений о мире,ственные автору (авторам) произведения и воплощенные в мировидении героя. Такого рода исследование выводит на первый план проблему взаимодействия языка и культуры, поскольку проводится на художественном ма-

териале. Обращение к художественному тексту показывает, как произведение возникает из лона национальной культуры, и что его появление обусловлено состоянием культуры на данном историческом этапе. Художественный материал ярко демонстрирует концепцию взаимовлияния языка и культуры, поскольку в художественном произведении трудно отделить культурное от языкового.

Фольклор — совокупность художественно переосмысленных структур народного знания, пользующаяся языком данного этноса как материалом, способом отображения указанных структур в фольклорных текстах различных жанров. Жанры моделируют КМ по определенным стилистическим канонам, функционируя как художественные пути и способы эстетического осмысления и преобразования действительности [Степанов, 1976: 146; Воронцова, 2003: 49]. Фольклор реализуется в совокупности текстов народной культуры, передаваемых устным путем и никому специально не принадлежащих — ни определенному автору, нициальному исполнителю. Способы создания, функционирования, хранения и передачи фольклорных текстов обусловлены культурными особенностями, консерватизмом традиций и социальных структур тех этносов, в которых они бытуют. Главное свойство фольклорного творчества — его мнемонический характер — обеспечивается способом существования фольклора. Мнемонические возможности фольклорной традиции очень велики: на протяжении длительного времени она в относительной неизменности удерживает тексты значительного объема. Передача и хранение текстов возможны здесь только при непосредственном контакте людей. Невозможно передавать и хранить устный текст, как и другие элементы традиционной культуры (народный танец, элементы обряда, приемы кустарного ремесла и т. д.), без его периодического воспроизведения. Лишь изобретение письменности порождает принципиально иной тип культурной коммуникации: становится возможным хранение и передача текстов без их воспроизведения [Неклюдов, 2002: 3–7]. Анализ эстетически обусловленной специфики фольклорно-языкового строя является одним из актуальных аспектов изучения языкового народного творчества, поскольку способствует более полному выявлению художественных способностей народа-языкотворца [Артеменко,

1991, 69]. Язык фольклорного текста воплощает фольклорную художественную КМ.

Язык фольклора — это система языковых единиц различного уровня, сложившаяся в процессе народного художественного творчества в тексте устно функционирующего произведения. По выражению А. Т. Хроленко, для этих единиц характерны «потенции», т. е. предопределенные структурно-семантические свойства, реализация которых приводит к появлению поэтических приемов, определяет композицию текста, обуславливает жанровую специфику фольклорного произведения и т. д. [Хроленко, 1991: 61]. На основе исследования фольклорного текста, особенностей его семантической и синтаксической структуры, могут быть выделены закономерности организации текстов того или иного жанра, механизмы построения и бытования художественной фольклорной КМ, уловить в фольклорных текстах дух народа в его целостности и самобытности.

Фольклор как эстетическая система обладает рядом специфических черт. Ему свойственна особая поэтика, заключающаяся в типизации явлений действительности и вербального способа их выражения [Лотман, 1992: 89; Путилов, 1994: 154]. Среди свойств народно-поэтического слова выделяются символика, метафоризм, родовая обобщенность, оценка и иерархичность [Аншакова, 2005: 17]. Во-первых, у языка фольклора особая коннотативность, которая включает в себя так называемый ассоциативный тезаурус, обусловленный всей системой фольклорного мира и его языка, черты национального мировоззрения, строй образного народного мышления, символику традиционной культуры, функционирующую в определенном круге жанров, тем, сюжетов [Хроленко, 1992: 107; Аншакова, 2005: 17]. Например, в текстах английских баллад упоминание зеленого цвета предвещает несчастье. Источник такой ассоциации связан с одной из свадебных примет: хотя бы одна вещь зеленого цвета в убранстве невесты — к беде. Во-вторых, фольклорное слово может обозначать одновременно и видовое, и родовое понятие. Обобщенность слова в таких случаях распространяется не только на класс однотипных реалий, но и на совокупность однотипных классов, что позволяет словам вступать в ассоциативно-сионимические отношения, типа *море-река, волны-реки, гуси-лебеди, злато-серебро*,

хлеб-соль и др., где семантический объем пары больше суммы значений каждого компонента [Хроленко, 1979: 148–149; Аншакова, 2005: 17]. В-третьих, многие языковые единицы в фольклорном тексте выступают, с одной стороны, как обозначение элемента вещного мира, а с другой, как символы, знаки напряженного поля традиционных смыслов, актуализирующие часть неосознанных архетипических представлений, воплотившихся в эстетические идеалы народа (например, упоминание о *живой* и *мертвой* воде в русских сказках). Поэтому фольклорное слово кажется изменчивым, неопределенным, диффузным. Диффузность символических значений приводит к их неопределенности. Тем не менее, идеально-художественная структура фольклорных произведений обуславливает необходимость поддержания символического значения [Хроленко, 1979: 150–151; Никитина, 1999: 17; Аншакова, 2005: 17–18]. В-четвертых, в результате длительного совместного употребления фольклорного слова с другими словами рождаются иерархические ценностные отношения, закрепляющиеся в семантике слов и определяющие их выбор в том или ином контексте с включением в общую систему связей фольклорного произведения (например, в русском фольклоре утвердились атрибутивные «пространственные» номинации *белый свет, дремучий лес, чисто поле* и т. д.) [Аншакова, 2005: 18]. В-пятых, народно-поэтическое слово не только конструирует, но и оценивает фольклорный мир, что обуславливает наличие в его семантической структуре особого оценочного компонента, который довольно часто преобладает и даже нейтрализует номинативный. Обязательное наличие оценочного компонента в лексическом значении слова является требованием жанра фольклора и его нравственной оценкой всего существующего в фольклорном художественном мире [Никитина, 1999: 9; Аншакова, 2005: 18]. *Горючие слезы, крутой берег, добрый молодец* — во всех этих словосочетаниях прилагательные имеют значение «правильный, истинный, настоящий».

Итак, функционирование фольклорного слова отражает дух народа, заключает в себе коллективное сознание, содержит в себе закодированную информацию о мире. «Расшифровать» эту информацию можно с помощью анализа плана выражения и плана содержания текста, что соответствует особенностям построения

текстов определенного жанра на уровне синтаксиса, морфологии, словообразования и фонетики, с одной стороны, и использованию определенных лексических средств, с другой. Семантические, структурные, стилистические данные языка фольклорного текста позволяют реконструировать фольклорную художественную КМ, бытование которой связано с культурной КМ определенного этноса. Фольклорное произведение существует неотъемлемо от народа, который воплотил в нем результат своего художественного познания мира.

- АНШАКОВА С. Ю., 2005. Языковая модель фольклорного мира (аспекты исследования) / Языковая картина мира в русских былинных текстах. Борисоглебск.
- АРТЕМЕНКО Е. Б., 1991. Народопесенное текстообразование: принципы и приемы // Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования. М.
- БРИНЕВ К. И., 2006. Гносеологические свойства концепта «картина мира» // Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты. Бийск.
- ВОРОНЦОВА Т. И., 2003. Текст баллады. Языковая картина мира. СПб.
- ГУММОЛЬДТ В. фон, 1985. Язык и философия культуры. М.
- ЖИДКОВ В. С., СОКОЛОВ К. Б., 2003. Искусство и картина мира. СПб.
- ЗАКС Л.А., 1990. Художественное сознание. Свердловск.
- КОЛШАНСКИЙ Г. В., 2005. Объективная картина мира в познании и языке. М.
- КОМЛЕВ Н. Г., 1981. Слово, денотация и картина мира // Вопросы философии. № 11. М.
- ЛОТМАН Ю. М., 1992. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Избранные статьи в трех томах. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн.
- НЕКЛЮДОВ С. Ю., 2002. Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты // Традиционная культура. № 3. М.
- НИКИТИН М. В., 1999. Об отражении картины мира в языке // Studia Linguistica 8. СПб.
- НИКИТИН М. В., 2003. Что рисуют нам «картины мира»? // Известия РГПУ им А.И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. № 3(5). СПб.
- НИКИТИНА С. Е., 1999. Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании (на материале фольклорных и научных текстов). М.
- ПОСТОВАЛОВА В. И., 1988. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.
- ПРОПП В. Я., 1998. Морфология / Исторические корни волшебной сказки. М.
- ПУТИЛОВ Б.Н., 1994. Фольклор и народная культура. СПб.
- РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЯЗЫКЕ, 1988. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. / Б. А. Серебрянников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.
- САПОЖНИКОВА Ю.Л., 2003. Художественно-языковая картина мира американской провинции. Автореф. дис. ...канд. фил. наук. М.

- СКУРТУ Н. П., 1990. Искусство и картина мира. Кишинев.
- СОКОЛОВСКАЯ Ж. П., 1993. «Картина мира» в значениях слов. «Семантические фантазии» или «катехизис семантики»? Симферополь.
- СТЕПАНОВ Ю. С., 1976. Несколько замечаний о специфике художественного текста // Лингвистика текста. Вып. 103. М.
- ТЕЛИЯ В. Н., 1988. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.
- ХРОЛЕНКО А. Т., 1979. Семантическая структура фольклорного слова // Русский фольклор. Т. 19. Л.
- ХРОЛЕНКО А. Т., 1991. Наддиалектен ли язык русского фольклора? // Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования. М.
- ХРОЛЕНКО А. Т., 1992. Семантика фольклорного слова. Воронеж.

И. Г. Серова

ЯЗЫКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНЫХ КОНЦЕПТОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Сегодня гендерные исследования являются одним из интенсивно развивающихся направлений в социально-гуманитарном знании.

Гендер в языке конституируется фрагментом гендерно маркированного знания, репрезентируемого через так называемые гендерные стереотипы. Последние представляют собой модели знания о гендерных ролях, гендерных нормах, гендерно обусловленном поведении и пределах его вариативности, гендерных психологических чертах (пороках и добродетелях), гендерной идентичности как нормальной/проблемной ситуации, гендерно обусловленных эмоциях, отношениях, интересах и умениях, гендерном символизме и гендерно обусловленных когнитивных стилях [Anderson, 2004].

В настоящее время общепринятым в лингвистике является мнение о необходимости изучения речемыслительной деятельности через изучение концептов как основных ментальных единиц, обеспечивающих взаимодействие лингвистического и энциклопедического знания. Формирование концептов как «дискретных многофакторных ментальных единиц со стохастической структурой» [Никитин, 2004: 53], их типология, которая в настоящее время является недостаточно разработанной, представляют определенные трудности, а «существующие классификации приблизительны, не охватывают всех типов концептов и смешивают разные принципы выделения классов» [там же: 60].

Гетерогенность и многомерность концептов объясняется отчасти различными способами приобретения знания, а именно: на основе чувственного опыта; на основе предметно-практической деятельности человека; на основе экспериментально-познавательной и теоретико-познавательной (научной) деятельности; на основе мыслительной деятельности; на основе верbalного и неверbalного общения [Болдырев, 2000: 24–25]. Кроме того, как считают сегодня многие лингвисты, необходимо различать знания, кодируемые при помощи языка, и знания о самом язы-

ке, так как язык, как объект реальности, сам подвергается категоризации, в результате чего языковые знания репрезентируются теми или иными языковыми средствами категориального характера.

Гендерное знание объективируется в английском языке не в виде чисто лингвистической категории, ибо, как известно, в нем отсутствует грамматическая категория рода, но гендер как социокультурная категория находит языковое воплощение в виде разноплановых знаний о нем, репрезентируемых на разных языковых уровнях.

Лингвисты, изучающие языковую репрезентацию гендера, называют гендерными концептами ментальные единицы, вербализованные словами и словосочетаниями, отмеченные признаком *гендерной ориентации* (маркированности) (см., напр., [Палаева, 2005]). Под гендерной маркированностью, вслед за А. В. Кирилиной, понимается указание на признак биологического пола в значении лексической единицы, то есть на признак «лицо женского пола» или «лицо мужского пола», а не на «лицо вообще» [Кирилина, 1999].

Для актуализации гендерного знания в английском языке существует многоуровневый арсенал языковых средств, например:

лексически репрезентируемые гендерные концепты, которые формируются через процессы соотнесения с лексико-тематическими группами, фразео- и паремиологическими единицами, антропонимами, единицами стилистически маркированной номинации,

морфологически и синтаксически репрезентируемые гендерные концепты, в которых трансляция гендерного знания происходит с помощью суффиксальных морфем (*-ess, -ette, -ine*) и полуаффиксов (*-man*), а также через соотнесение с личными местоимениями третьего лица.

Центральными репрезентантами гендерного знания следует признать лексемы *man/woman*, местоимения *he/she*, а также концепты *femininity/masculinity* (основополагающий характер этого знания рассматривается в [Серова, 2006].

В настоящей статье мы сосредоточим свое внимание на морфологически передаваемых гендерных концептах.

Под морфологически передаваемым концептом понимается «выраженная морфологической формой единица знаний о пред-

ставлении мира в языке, т.е. единица языкового знания, передающая способ языковой репрезентации знания энциклопедического» [Беседина, 2006: 108].

Грамматическая категория рода, которая существовала когда-то в английском языке, ушла в прошлое уже в начале двенадцатого века. Тот факт, что в английском языке формальная система рода существовала, заставляет предположить, что она, возможно, не утрачена полностью, а ее отдельные «модифицированные» формы функционируют и в современном языке. Это обстоятельство обуславливает необходимость обращения к вопросу о том, какой была эта система в английском языке, и каким образом она была утрачена.

Г. Платцер придерживается мнения, что древнеанглийский язык никогда не имел последовательной грамматической системы рода, а переход к естественной системе произошел постепенно, и она уже существовала внутри грамматической системы [Platzer, 2001: 42]. Его предположения созвучны аргументам К. Райса и Д. Стайнметца [Rice & Steinmetz, 2000], которые не считают переходы в системе рода в английском языке уникальным явлением. «Великий сдвиг рода» (*the great gender shift*) уже имел место раньше в германских языках. Данные из древнеанглийских текстов позволяют судить о том, что женский или средний род приписывался существительным на основе их особых морфологических и фонетических характеристик, или исходя из значения слова. Присутствие двух принципов в одной системе вызывало конфликтные тенденции, однако Г. Платцер утверждает, что система базировалась не столько на концептуальном признаке пола, сколько на противопоставлении одушевленных референтов неодушевленным. Естественный род приписывался только в ряде лиц, однако неживые референты далеко не всегда попадали в отведенный им разряд *neuter*. Например, сочетание *se stan* (*the stone*) показывало признаки мужского рода, а *seo duru* (*the door*) относилось к женскому роду.

Согласно традиционной точке зрения, процесс утраты грамматического рода происходил так: в древнеанглийском языке с течением времени стало трудно различать род из-за сведения указательных местоимений к одной форме и общей потери окончаний [Crystal, 1995]. Но главной причиной, без сомнения, стали

социально-исторические условия: во времена норманнского завоевания английский стал языком необразованных людей. потеря окончаний была предопределена выравниванием письменных моделей с упрощенными моделями устной разговорной речи на основе последних.

Надо отметить, что те немногочисленные морфологические маркеры женского рода, которые существуют в современном английском языке, не являются реликтами древнеанглийской системы рода — они были заимствованы в норманнский период из французского языка, который на определенное время стал в Англии языком, определяющим письменные практики.

Таким образом, суффиксы, а именно *-ess*, *-ette*, *-ine*, *-ix (ice)*, которые, согласно традиционной точке зрения, репрезентируют женский признак в ряде английских слов, являются заимствованными. Например, суффикс *-ess* пришел через латинский и старофранцузский, где этот суффикс существовал как регулярный индикатор производных имён женского рода. После норманнского в английском языке появились существительные *countess*, *hostess*, *lioness*, *mistress*, а, начиная с четырнадцатого века, этот суффикс присоединяется к основам исконных существительных, образуя ряд: *danceress*, *dwelleress*, *teacheress* etc. В XVIII в. суффиксу *-ess* предсказывается скорое отмирание, а в учебных пособиях XIX в. содержатся прямые рекомендации избегать оформления существительных при помощи данного форманта. Однако вопреки предсказаниям и рекомендациям суффикс *-ess* оказался весьма жизнеспособным, что можно проиллюстрировать примерами как стандартного, так и сленгового употребления существительных, например: *adulteress*, *cateress*, *governess*, *murderess*, *playeress*, *writeress* etc.

В американском слэнге обнаруживаются аналогичные тенденции: *crimestress*, *actoress*, *bankeress*, *spyess* etc., а необходимость уточнения родовой принадлежности в контексте художественных произведений или в устном общении расширяет гендерный диапазон за счет параллельного сосуществования форм '*woman doctor*', '*she-doctor*', '*doctress*', '*doctorine*'. Относительно суффикса *-ine*, с помощью которого оформлено последнее существительное, следует заметить, что, несмотря на его высокую продуктивность в сфере имён самой разнообразной семантики (*actorine*, *knitterine*,

mottorine, sailorine, soldierine), получивших довольно широкое распространение в американском сленге, данный маркер лишь эпизодически возникает в устной разговорной речи.

Таким образом, в истории развития литературного английского языка прослеживаются циклы появления, исчезновения и “воскрешения” гендерных маркеров [Харьковская, 1999].

Представляется, тем не менее, что ситуация не так проста. Специалисты по гендерной лингвистике предполагают, что указанные морфологические концепты не являются чистыми маркерами женского рода. Таких производных существительных рекомендуется избегать, так как уже в силу их производности от существительных с мужским признаком, с одной стороны, и отнесенности к стилистически сниженным стратам словаря, с другой, они «содержат в себе определенную синходительность» [Потапов, 2001: 299]. Вместо них в профессиональной сфере рекомендуется употреблять номинации, не содержащие гендерного признака: *flight attendant, poet, writer*.

Согласно информации толкового словаря, суффикс *-ess*, восходящий к латинскому форманту *-issa* со значением *female*, часто употребляется в пренебрежительном смысле (*often derog.*), и даже в слове *poetess* [LNUD].

Суффикс французского происхождения *-ette* по своей этимологии является диминутивным [*from MF fem. dim. suffix*] и имеет следующий круг значений: 1 *small or lesser kind* (*kitchenette*), 2 *female* (*farmerette*), 3 *imitation* (*leatherette*) [LNUD]. В существительных, обозначающих профессии и занятия, этот концепт передает характеристики уменьшительности и имитации.

То же характерно и для суффикса *-ine*: [*ME from MF from L.-inus*] 1 *of or resembling <feminine>* 2 *made of; like <crystalline>* [LNUD].

В юридических контекстах современного английского языка встречается, хотя и крайне редко, определяемый как архаический суффикс *-trix*, в словах типа *administratrix, aviatrix* — единственный из всех четырех морфологических концептов, передающий нейтральную информацию о женском агенте (*female of -tor, suffix denoting an agent*) [LNUD].

Таким образом, можно заключить, что указанные выше морфологические концепты не предназначены исключительно для

маркирования женского агента профессиональной деятельности, а одновременно маркируют женскую деятельность как псевдодеятельность, а также с позиций уменьшительности и имитации, что обнаруживает мужскую точку отсчета.

Параллельно существует имплицитное маркирование женского родового признака в существительных, обозначающих профессии обслуживающего типа, которые, как подсказывает нам социальный опыт, обычно выполняют женщины: *teachers, receptionists, editors, secretaries, librarians*. Социальный опыт варьируется во временном континууме и кросс-культурно: например, в 19 веке профессия секретаря была преимущественно мужской, в то время как сейчас почти сложившейся традицией можно считать назначение женщины даже на пост государственного секретаря (*state secretary*) США (Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс, Хилари Клинтон). Одновременно в Дании профессия библиотекаря и сегодня является мужской в соответствии с национально обусловленной традицией.

Проблема концептов, объективированных словами с полуаффиксом *-man*, которые обозначают профессии, остро всталась во второй половине XX века, когда женщины пришли на рынок труда. Хотя традиционно профессиональная деятельность являлась мужской сферой, постепенно женщины освоили многие профессии, так как процессы становились все более автоматизированными и не требовали применения значительной физической силы. С другой стороны, это стало неизбежным, поскольку в течение XX века в двух беспрецедентно разрушительных войнах погибла большая часть мужского населения Европы, а женщины заняли их рабочие места и освоили большинство профессий.

Возникшая ситуация обусловила потребность в создании большого количества новых наименований, которая реализовалась, в основном, за счет образования имен женского рода от соответствующих наименований в форме мужского рода при помощи компонента *-woman*, например: *cameraman, camerawoman; chairman, chairwoman; congressman, congresswoman*. И все же статистическая обработка данных показывает, что генерализованный суффикс *-woman* встречается в пятнадцать раз реже, чем *-man*. По свидетельству А. П. Нильсен [Nilsen, 1977], в словарях насчитывается 517 названий профессий с признаками двух родов, 385

с признаками только одного мужского рода, и 132 с признаками только женского рода. Таких существительных, как *chairwoman*, *congresswoman*, по данным исследователей, зафиксировано в английском языке в 30 раз меньше на миллион единиц, чем соответствующих существительных с *-man*. Наличие в морфемном составе слова компонента *-man* вызывает стойкие гендерные ассоциации, так как, несмотря на гендерно нейтральную дефиницию, лексемы типа *cabman* — *a driver of a cab, esp. a horse-cab*, воспринимаются как гендерно маркированные, в том числе в тех контекстах, где они были использованы авторами как метагендерные, например:

Freedom of speech is said to be an *Englishman's birthright*;

Employers should compensate their *workmen* for injuries [BNC].

Для устранения гендерного признака сторонники феминистской критики языка предлагают заменить компоненты *man* и *woman* на компонент *person*, что предположительно создаст желаемую конфигурацию концепта. Однако узульное употребление показывает, что эти новообразования нейтрализуют наименования женского рода, а наименования мужского рода с компонентом *-man* остаются в своем первоначальном виде [Steinem, 1986: 179].

Таким образом, исследование содержания морфологически препрезентируемых гендерных концептов, которые в сознании наивного носителя языка воспринимаются как маркеры категории рода, указывающие лишь на биологический пол агента действия, на самом деле представляют собой ментальное пространство, конституируемое, помимо гендерного признака, оценочными социокультурными коннотациями, включающими отношение коллективного субъекта к женской и мужской социальной деятельности.

БОЛДЫРЕВ Н. Н., 2000. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов.

БЕСЕДИНА Н. А., 2006. Морфологически передаваемые концепты. Белгород.

КИРИЛИНА А. В., 1999. Гендер: лингвистические аспекты. М.

НИКИТИН М. В. 2004. Развёрнутые тезисы о концептах. Вопросы когнитивной лингвистики. № 1.

- ПАЛАЕВА И.Е., 2005. Реконструкция гендерной концептосферы в картине мира среднеанглийского периода. Автореферат дисс... канд. филол. наук. Владивосток.
- ПОТАПОВ В.В., 2001. К опыту пересмотра гендерного признака в лингвистике (на материале английского языка) // Гендер: язык, культура, коммуникация. М.
- СЕРОВА И.Г., 2006. Гендер как фактор когниции и коммуникации // Вопросы когнитивной лингвистики. № 2.
- ХАРЬКОВСКАЯ А.А., 1999. Когнитивные аспекты эволюции гендерных маркеров в английском языке // Вестник Самарского университета. Серия языкоznание. — №1.<http://www.samara.ru/~vestnik/gum/1999web1/yaz/19991203/html>.
- ANDERSON E., 2004. Feminist Epistemology and Philosophy of Science. E.N.Zalta ed. // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2004/entries/feminism-epistemology>.
- CRYSTAL D., 1995. Gender. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. — Cambridge: Cambridge UP.
- NILSEN A.P., 1977. Linguistic Sexism as a Social Issue // Sexism and Language. — Urbana.
- PLATZER H., 2001 ‘No Sex, Please, We’re Anglo-Saxon?’ On Grammatical Gender in Old English // View[z]: Vienna English Working Papers.
- RICE C., STEINMETZ D., 2000. The Evolution of Gender in English. Workshop on Gender and Inflectional Class. University of Tromsø. http://www.hum.uit.no/a_rice/Current_Projects/EnglishGender.
- STEINEM G., 1986. Outrageous Acts and Everyday Rebellions N.Y.
- Словари:
- LNUD, 1982 — Longman New Universal Dictionary. UK: Longman Group Limited.
- BNC — British National Corpus. <http://www.natcorp.ox.ac.uk>.

С. Г. Филиппова

О СЛОИСТО-ПОЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОРСКОГО КОНЦЕПТА

Описание реализованной в художественном тексте авторской картины мира предполагает выявление и моделирование ее элементов — авторских концептов, под которыми понимаются ментальные единицы индивидуального сознания автора. Авторские концепты тесно связаны с проблемой художественного слова, символа в искусстве. Они размыты и психологически сложны; это комплексы понятий, представлений, чувств, эмоций и волевых проявлений, возникающих на основе художественной ассоциативности. В авторских концептах выявляется индивидуальная составляющая авторской картины мира: реконструируемые на основе текста, они формируют у читателя представление о личностных особенностях авторского мировосприятия.

Структура авторского концепта описывается лингвистами в виде полевого образования или слоистого образования. Эти способы представления структуры концепта не противоречат, а скорее дополняют друг друга, таким образом, структура концепта представляется слоисто-полевой с размытыми границами между слоями и зонами.

Как полевое образование авторский концепт включает ядерную, приядерную и периферийную зоны. Поле можно представить в виде круга, в центре которого сосредоточены основные признаки (ядро), а в области, удаленной от центра — дополнительные признаки, привнесенные культурой, традициями, народным и личным опытом (периферия).

Ядро концепта, как правило, выявляет себя в прямом значении имен, словарном значении соответствующей лексемы-репрезентанта (имени концепта), в то время как другие зоны — в процессах тропеизации, словообразования, фразеологии, в сочетаемостных комбинаторно-семантических процессах, во взаимодействии эксплицитных и имплицитных смыслов, в превращении и модификации суммарного значения высказываний и текстов за счет этого взаимодействия, различных прагматических составляющих лексемы, коннотациях и ассоциациях [Ни-

китин, 2003: 174]. Четкие границы между ядром и периферией концепта отсутствуют. Возможно выделение приядерной зоны. Например, В.А. Маслова выделяет три составляющих структуры концепта: ядро (когнитивно-пропозициональная структура), приядерную зону (иные лексические репрезентации концепта, его синонимы) и периферию (ассоциативно-образные репрезентации) [Маслова, 2004: 30].

Как *слоистое* образование концепт содержит 1) понятийный (фактуальный), 2) оценочный (ценностно-оценочный) и 3) ассоциативный (образно-ассоциативный) слои [Карасик, 2004].

Понятийный слой — это необходимый компонент в глобальной структуре концепта, абстрактный операционный конструкт, «прописывающий» объект среди других объектов мироустройства по общности-различию свойственных им признаков. Это фактуальная информация об объекте, служащая основой для образования концепта. Понятийный слой концепта вербализуется ЛЕ в её основном словарном значении и в силу своей универсальности составляет *ядро* концепта.

Оценочный слой — не менее важный компонент в сложной структуре концепта. Объективный мир членится человеком с точки зрения его ценностного характера. Все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве «предметных ценностей» как объектов ценностного отношения, т. е. оцениваться в плане добра и зла, истины и неистины и т. д. [Вольф, 1985: 6].

Оценка определяется как мыслительное действие на интуитивной основе с целью ориентировочно (в диапазоне от догадки до убеждения) установить наличие тех или иных признаков у вещей и событий, включая наличие самих вещей и событий. Результатом оценки становится мнение о наличии, количестве и качестве признаков у вещей и событий и о наличии каких-то вещей или событий в какой-то ситуации [Никитин, 2000: 12].

Оценочность во многом зависит от говорящего субъекта. Ее связь с автором речи многогранна: оценка выражает личные мнения, ощущения, желания, потребности, долг, целенаправленную волю и вкусы говорящего. Социальная обусловленность оценки зависит от норм, принятых в том или ином обществе. Мировоз-

зрение и мироощущение, социальные интересы и мода, престижность и некотируемость формируют и деформируют оценки [Арутюнова, 1988: 6].

Оценочность тесно переплетается с эмоциональностью, так как процесс познания действительности языковой личностью всегда сопровождается эмоциями, которые образуют подсистему сознания. Эмоции — субъективная форма оценки предметов и явлений действительности. Они тесно связаны с потребностями человека, лежащими в основе мотивов его деятельности. Индивидуальный характер картины мира определяется тем, что интерпретация мира предполагает вовлечение эмоций языковой личности и осуществляется через них. Концепт «не только мыслится, но и переживается. Он — предмет эмоций, симпатий, антипатий, а иногда и столкновений» [Степанов, 1997: 76].

Оценочность находит многообразные формы выражения, к которым можно отнести наличие эмоционально-оценочной составляющей в денотате языковой единицы, являющейся именем концепта, свойственные этой единице эмоционально-оценочные коннотации, сочетаемость этой единицы с эмоционально-оценочными эпитетами. Наличие оценочного аспекта проверяется методами компонентного и контекстуального анализа. Оценочный слой концепта вписывает его в систему ценностей языковой личности и может быть представлен в *ядре* концепта (оценка включена в словарное значение соответствующей ЛЕ), его *приядерной* зоне (оценочные коннотации) или *периферийной* зоне (личностные окказиональные оценки и эмоции).

Ассоциативный слой концепта — совокупность ассоциаций, возникающих в сознании при репрезентации концепта. Языковые элементы, объективирующие ассоциации, называют ассоциатами.

Слово, обладающее ассоциативными связями (ассоциативным полем), способно нести информацию, выходящую за рамки соответствующей словарной дефиниции. Ассоциаты, присутствующие в сложном и многоаспектном мире слова, обладают большими информативными возможностями, отражающими референтные связи соответствующей реалии: ориентацию на определенные ситуации, действия, деятелей, орудия труда. Ассоциативная структура слова дает возможность продуцировать возможную сферу

деятельности, в которую может быть вовлечен соответствующий денотат, и сферу коммуникации, в которой может участвовать соответствующее слово-стимул [Болотнова, 1992: 14].

В художественных текстах ассоциаты обнаруживают синтагматические связи с репрезентантами авторского концепта, вербализованные ассоциативные смыслы формируют его ассоциативный слой. Совокупность многократно пересекающихся ассоциативных слоев концептов составляет многомерность авторской картины мира как концептуальной системы.

Наиболее частотные, типичные ассоциаты репрезентируют *ядерную* и *приядерную* (центральную) зону концепта, а единичные (универсальные) ассоциаты — его *периферийную* зону.

Образующие центральную зону концепта, ядерная и приядерная зоны включают в себя его понятийный слой и те фрагменты ассоциативного и оценочного слоев, которые состоят из устоявшихся в национальном сообществе и связанных с этим концептом ассоциаций и оценок. Центральные зоны концептов формируют общенациональную составляющую картины мира. Периферийные зоны концептов включают фрагменты ассоциативного и оценочного слоев, состоят из личностных оценок, эмоций, образов и ассоциаций и формируют индивидуальную составляющую картины мира.

Характерное для художественного текста перераспределение смысловых акцентов с ядерной зоны концептов на периферийную проявляется в выдвижении на первый план индивидуально-авторских личностных смыслов, которые составляют суть художественного творчества. Поскольку ассоциативные связи и оценки являются в большей степени представлениями и мнениями, чем знаниями, ассоциативный и оценочный слои концепта особо интересны исследователю при описании индивидуально-личностного в авторской картине мира.

В качестве иллюстрации слоисто-полевой организации авторского концепта можно сослаться на реализацию концепта «бездуховное» в романе Дж. Фаулза «Коллекционер».

Основным лексическим репрезентантом бездуховного является вынесенная автором в сильную позицию заглавия ЛЕ *The Collector*. В контексте романа ЛЕ *The Collector* обретает имплицитный смысл «вещизм, накопительство». Олицетворяющий бездуховное

главный персонаж романа Фредерик Клэгг (*Frederic Clegg*) коллекционирует бабочек, но не в научных целях, а ради обладания красотой, чтобы, наколов их на булавки, закрыть в коробку и наблюдать за ними. «Бабочками», т. е. предметами коллекции являются для него и люди. В основе сюжета романа лежит исполненное трагизма событие — похищение Клэггом студентки художественного училища Миранды Грей (*Miranda Grey*): Миранда не выносит заточения в подвале загородного дома, купленного похитителем, заболевает и умирает.

Ассоциативный слой концепта «бездуховное» формируется признаками «смерть» и «неволя», а его оценочный слой — характеризуется выраженной отрицательной направленностью.

Формами реализации ассоциативных смыслов смерти и неволи в нижеследующих микроконтекстах являются: градация окквионализмов *anti-life*, *anti-art*, *anti-everything* (их эмоционально-оценочная направленность усиливается повторением отрицательного префикса *anti-*), повтор ЛЕ *dead*, ЛЕ *imprison*, метафоры *thick round wall of glass*, *fluttering against the glass*; ЛЕ *victims*, *killing-bottle*, метафорический смысл ЛЕ *animal* (его отрицательная оценочность усиливается эпитетом *the most*); частнооценочная ЛЕ *miser*:

(1) I remember (the very first time I met him) G.P. saying that collectors were the most animals of all. He is right. They're anti-life, anti-art, anti-everything [p. 123];

(2) Poor dead butterflies, my fellow-victims [p. 127];

(3) He is a collector. That's a great dead thing in him [p. 160];

(4) I'm meant to be dead, pinned, always the same. It's the dead me he wants [p. 203];

(5) He showed me one day what he called his killing-bottle. I'm imprisoned in it. Fluttering against the glass. A thick round wall of glass [p. 204].

В авторском понимании «смерть» может быть не только физической, но и духовной. Так, именно идея «духовной смерти» имплицируется сочетаемостью глаголов *hoard up* и *kill* с существительным *beauty*:

(1) “You are like a miser, you hoard up all the beauty in these drawers” [p. 55];

(2) “Why do you kill all the beauty?” [p. 76].

Смысловое обогащение ассоциативного и оценочного слоев концепта «бездуховное» происходит за счет актуализации значений слов и выражений, выражающих отвращение Миранды к Клеггу, его образу жизни, манере говорить и вести себя:

(1) “That’s a horrid expression. It’s like those wild ducks. It’s suburban, it’s stale, it’s dead, it’s... Oh, everything square that ever was” [p. 56];

(2) “You disgusting filthy mean-minded bastard” [p. 107];

(3) “He is so slow, so unimaginative, so lifeless. Like zink white” [p. 127];

(4) “He is ugliness” [p. 130];

(5) “like rain, endless dreary rain. Colour-killing” [p. 162].

Отрицательно-оценочные смыслы обыденности, консерватизма, медлительности реализуются в значениях эпитетов — узульных синонимов *suburban*, *stale*, *square*, *dreary*, *endless*. Формирующая эпитет ЛЕ *slow* актуализирует узульное значение «unable to think», которое повторяется в ЛЕ *unimaginative*. ЛЕ *boring*, *conservative*, *unhappy*, *annoying*, *unpleasant*, *not intelligent* сохраняют отрицательные оценочные коннотации, закрепленные за ними в узусе. В качестве окказиональных синонимов перечисленных ЛЕ в тексте выступают ЛЕ *horrid*, *unimaginative*, *dead*, *disgusting*, *filthy*, *mean-minded*, *ugliness*, также наделённые эмоционально-оценочными коннотациями. Представленный эмоционально-оценочный ряд усиливается сравнениями *Like zink white*, *like rain*, *endless dreary rain* и метафорой *colour-killing*. Сравнение заглавного героя с металлом (*zink*), непрекращающимся дождем (*endless dreary rain*), «отсутствие» в нём цвета (*white*, *colour-killing*) создают образ скучного, медленного, лишенного жизненной энергии и воображения человека.

Все проанализированные в статье ассоциации, — ассоциации с неволей, физической и духовной смертью, а также отвращение в качестве авторской оценочной позиции формируют индивидуально-личностные особенности авторского концепта «бездуховное» в романе Дж. Фаулза «Коллекционер».

АРУТЮНОВА Н. Д., 1988. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.

- БОЛОТНОВА Н.С., 1992. Художественный текст в коммуникативном аспекте: комплексный анализ единиц лексического уровня. Автореф. дисс...док. филол. наук. СПб.
- ВОЛЬФ Е. М., 1985. Функциональная семантика оценки. М.
- КАРАСИК В. И., 2004. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.
- МАСЛОВА В. А., 2004. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. М.
- НИКИТИН М. В., 2000. Заметки об оценке и оценочных значениях // Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. *Studia Linguistica* 9. СПб.
- НИКИТИН М. В., 2003. Основания когнитивной семантики. СПб.
- Степанов Ю. С., 1997. Константы: словарь русской культуры. М.
- FOWLES J., 1980. The Collector. New York.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

А. Г. Ахиярова

РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Цель данной статьи заключается в попытке определения существующих тенденций развития семантики относительных прилагательных в истории английского языка. Изучению относительных прилагательных посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей (М. В. Никитин, Е. А. Земская, В. М. Павлов, З. А. Харитончик, А. Н. Шрам, Дж. Леви, М. Пост и др.). Известно, что относительные прилагательные — производные слова и образуются в английском языке при помощи суффиксов. Ахманова О. С. дает следующее определение относительного прилагательного: «Относительное прилагательное (англ. relative adjective) — прилагательное, обозначающее качество (признак) предмета по отношению к другим и произведенное от именных основ: кирпичная стена (стена из кирпича), пивная бутылка (бутылка для пива)» [Ахманова, 2007: 358]. Наиболее употребительны в английском языке относительные прилагательные с суффиксами: -ен, -у. Рассмотрим развитие семантики относительных прилагательных с данными суффиксами на примере лексем “golden”, “linen”, “icy”.

Древнеанглийские слова “*gylden*”, “*līnen*” с суффиксом -ен имели следующие значения:

1. *gylden*, *gilden* — *golden*, *aureus* (*Ðær is geat gylden* — there is a golden gate, Cd.227: a gate made of gold) [Toller, 1898: 494].

2. *līnen* — *made of flax*, *linen* — произошло от древнеанглийского *līn* “*flax*” [Toller, 1898: 642].

В древнеанглийском языке слово “*īsig*” обозначало: *icy*, *cov-ered with ice* [Toller, 1898: 602].

Итак, исходя из семантики рассматриваемых слов в древнеанглийском языке, можно сделать вывод, что все три имени прилагательного обозначают качество предмета по отношению к другим. Все эти прилагательные на данном временном отрезке характеризуются наличием одной словообразовательной модели: *имеющий отношение к предмету, названному мотивирующей основой*. Например, в упомянутом выше примере «*Ðær is geat*

gylden — there is a *golden gate*, *gylden* в словосочетании *geat gylden* имеет лексическое значение: **a gate made of gold** — ворота, сделанные из золота.

В среднеанглийском языке слово *golden* имеет следующие значения:

1. made of, consisting of gold;
2. containing gold, auriferous of a district, abounding in gold;
3. pertaining to gold 1720;
4. of the colour of gold;
5. most excellent, important, or precious 1498;
6. of rules, precepts, etc. of inestimable utility 1542;
7. of a time or epoch, flourishing, joyous 1530 [Little, 1955: 810].

В среднеанглийском языке слово *linen* обозначает:

adj. — made of flax;

sb. — cloth woven from flax; [Little, 1955: 1147]

В среднеанглийском языке слово *icy* имеет следующие лексические значения:

1. abounding in ice; covered or overlaid with ice;
2. consisting of ice 1600;
3. resembling ice; extremely cold, frosty; slippery 1590. Also fig. [Little, 1955: 950]

В среднеанглийский период семантика относительных прилагательных развивает образные значения (происходит тропеизация значения слов), например, *icy look*, *icy-peared*, *icy current*; слова выражают превосходные качества предметов и понятий, например, *golden rules*, *precepts*, *golden epoch*, *golden gates*, *the gates of heaven*. Слово *linen* имеет изменения немного иного характера: первоначально *linen* было прилагательным, образованным от древнеанглийского существительного *lin*. Прилагательное *linen* часто употреблялось для наименования понятия «одежда, сотканная изо льна». Сегодня, слово *linen* в словосочетании «*linen garment*» используется в качестве существительного в атрибутивной функции, выражающий относительный признак. Прилагательные на данном временном отрезке актуализируют вторую словообразовательную модель: *характеризующий один из признаков существительного, названного мотивирующей основой*.

В современном английском языке лексема *golden* имеет следующие значения:

1. Having a bright yellow colour like gold: golden hair, golden sand;
2. A golden opportunity, a good chance to get something valuable or to be very successful;
3. Golden boy/girl, someone who is popular and successful: Hollywood's golden girl, Julia Roberts;
4. A golden period of time is one of great happiness or success: golden years/ days, etc., the golden years of childhood/ the golden age of radio;
5. Somebody is golden, Am.E., spoken, informal, used to say that someone is in a very situation and is likely to be successful. If the right editor looks at your article, you are golden;
6. Literary made of gold: a golden crown [Longman Exams Coach].

В современном английском языке прилагательное *linen* обозначает:

1. Sheets, table cloth, etc.: bed linen/ table linen;
2. Cloth made from the flax plant, used to make high quality clothes, home decorations: a linen jacket;
3. *Old use* underwear; [Longman Exams Coach]

В современном английском языке слово *icy* имеет следующие значения:

1. extremely cold, *synonym frosty*: an icy wind; the bath water was icy cold;
2. covered in ice: an icy mountain road;
3. an icy remark, look etc shows that you feel annoyed with or unfriendly towards someone: an icy stare [Longman Exams Coach].

В современном английском языке тропеизация семантики прилагательных закрепилась, образное значение слова *golden* стало доминирующим. Например:

He was gently caressing her **golden hair**. She chopped off her **golden**, waist-length **hair**... . He stood there in a cocoon of **golden light**. The light reflected off the stone, creating a **golden glow** he found entrancing. If you remember these three **golden rules** you won't go far wrong. You mustn't allow a **golden opportunity** to slip through your fingers or you will regret it later. Orange and khaki flatter those with **golden skin** tones... . The rising sun casts a **golden glow** over the fields. He says there's a **golden opportunity** for peace

which must be seized. ... an endless **golden beach**. When the movie came out the critics went wild, hailing Tarantino as the **golden boy** of the 1990s. You grew up in the **golden age** of American children's books [Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary].

Важно отметить, что в современном английском языке слово *golden* не употребляется в значении первой словообразовательной модели. Как справедливо подчеркивает О. Есперсен, слово *golden* является устаревшим в значении наименования материала, из которого что-либо сделано [Jespersen, 1954: 347]. На данном временном отрезке в семантике относительного прилагательного закрепляется вторая словообразовательная модель: *golden hair, golden opportunity, golden boy, golden days*. Для обозначения же материала используется существительное *gold* в атрибутивной функции: *gold earrings, gold plate*. Тот же самый лингвистический феномен можно проиллюстрировать следующим примером: *silk* — сделанный из шелка, *silken* — используется образно (редко для обозначения материала): *silk scarf, silken hair*. Тем не менее, в современном английском языке существуют формы: *linen garment, gold ring, golden bay*. Как уже отмечалось выше, слово *lin** исчезло, *linen* в современном английском языке воспринимается на словообразовательном уровне как нечленимая основа существительного, а *linen garment* можно рассматривать как словосочетание или сложное слово. Вопрос, к какой части речи относить слово *linen*, восходит к проблеме “stone wall”. Согласно электронным словарям Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary, HarperCollins Publishers, 2003 и Longman Exams Coach (your key to exam success), Pearson Education Limited, 2006, слово *linen* является существительным, а электронные версии словарей ABBY Lingvo 2008 и Britannica 2008 Ready Reference Encyclopedia рассматривают данное слово в качестве существительного и прилагательного.

Отто Есперсен [Jespersen, 1954 : 346] и Генри Суит [Sweet, 1940: 464] также отмечают, что сходство значений между существительными и прилагательными, привело в некоторых случаях к конверсии прилагательных на -ен в современном английском языке. Прилагательные древнеанглийского языка стали восприниматься в современном английском языке как существительные.

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно отметить существующую тенденцию развития образного значения от предметного у относительных прилагательных. Относительные прилагательные, имевшие в древнеанглийский период предметную отнесенность, характеризуемые наличием одной словообразовательной модели: *имеющий отношение к предмету, названному мотивирующей основой*, начинают актуализировать вторую словообразовательную модель: *характеризующий один из признаков существительного, названного мотивирующей основой*, тем самым происходит окачествление относительных прилагательных.

- JESPERSEN O., 1954. A Modern English Grammar on Historical Principles, part VI. Morphology. London George Allen and Unwin LTD Museum Street.
SWEET H., 1940. A New English Grammar. Logical and historical, part I (Introduction, Phonology, and accidence), Oxford.

Словари:

- АХМАНОВА О. С., 2007. Словарь лингвистических терминов. М.
BOSWORTH J., Toller T. Northcote, 1898. An Anglo-Saxon dictionary.
COLLINS COBUILD, 2003. Advanced Learner's English Dictionary — электронная версия словаря.
LONGMAN EXAMS COACH (your key to exam success), 2006 — электронная версия словаря.
LITTLE W., Onions C. T., 1955. The Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles. Oxford.

В. Н. Карловская

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АМБИВАЛЕНТНОСТИ ЭМОЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Эмоциональная сфера человека чрезвычайно сложна и неоднозначна, что находит свое выражение в художественном тексте. В этой связи особую важность приобретает исследование репрезентации полярных эмоций. Известный психолог и философ С. Л. Рубинштейн отмечает, что эмоции «обычно отличаются полярностью, т.е. обладают положительным или отрицательным знаком: удовольствие — неудовольствие, веселость — грусть, радость — печаль и т. п.» [Рубинштейн, 1993: 161]. В лингвистических исследованиях, посвященных эмотивности, под полярностью понимается «наличие противопоставления эмоций по типу оценочного знака» [Шаховский, 1987: 37]. При этом и в психологии, и в лингвистике признается невозможность жесткого разграничения полюсов. С. Л. Рубинштейн считает, что «полюса не являются обязательно внеположными. В сложных человеческих чувствах они часто образуют сложное противоречивое единство: в ревности страстная любовь уживается со жгучей ненавистью» [Рубинштейн, 1993: 161]. В лингвистической литературе отмечается, что «эмоции тесно связаны друг с другом, и проблема их совместности остается по прежнему актуальной», поэтому двойственность (амбивалентность) эмоций является их специфичной характеристикой [Шаховский, 1987: 37]. Совмещение эмоций можно рассмотреть на примере полярных микротекстов, где «параллельно представлены противоположные чувства» [Филимонова, 2007: 107].

Предметом нашего рассмотрения является проблема репрезентации совместной встречаемости полярных эмоций *pain* и *pleasure* в художественном тексте, при этом *pain* понимается как физические и нравственные страдания, испытываемые субъектом эмоции. В англоязычном художественном тексте полярные эмоции *pain* и *pleasure* наиболее реккурентно представлены их лексемами-номинантами, чему способствует, как свидетельствуют лексикографические источники, существование языковой (систем-

ной) лексической оппозиции *pain—pleasure*. В художественном тексте антонимы *pain*, *pleasure*, номинирующие эмоциональные состояния, часто расположены контактно и воспринимаются в неразрывном единстве: при упоминании одного члена оппозиции возникает ассоциация с другим, что подтверждает устойчивость данной пары антонимов в языке.

В художественном тексте превалируют эмотивные ситуации, в которых проявляется амбивалентность эмоций *pain—pleasure*. Под амбивалентностью в данном случае понимается совмещение полярных эмоций, которое «выражается в том, что человек может одновременно переживать и положительное, и отрицательное эмоциональное состояние» [Ильин, 2007: 83]. Субъект эмоции испытывает одновременно и страдание, и радость или удовольствие. Семантические индикаторы *mixed*, *mingled*, *mixture*, присутствующие в контексте, сигнализируют об одновременности протекания эмоций. Антонимы *pain* и *pleasure*, номинирующие эмоциональные состояния, часто употребляются в структурах, моделирующих антонимичный контекст: *X or Y*, *X and Y*, *both X and Y*, *X rather than Y*, что способствует восприятию полярности называемых ими эмоций. Иллюстрацией может служить следующий микротекст:

Such a breathless week when something within her drove Scarlett with mingled pain and pleasure to pack and cram every minute with incidents to remember after he was gone, happenings which she could examine at leisure in the long months ahead, extracting every morsel of comfort from them — dance, sing, laugh, fetch and carry for Ashley, anticipate his wants, smile when he smiles, be silent when he talks, follow him with your eyes so that each line of his erect body, each liftoff his eyebrows, each quirk of his mouth, will be printed on your mind — for a week goes so fast and the war goes on forever (M. Mitchell).

В данной эмотивной ситуации представлена амбивалентность эмоций *pain* и *pleasure*. Одновременность испытания полярных чувств выражена посредством семантического индикатора *mingled*. Пара языковых антонимов *pain* и *pleasure* употреблена в структуре *X and Y* и номинирует эмоциональное состояние субъекта эмоции. Пытаясь насладиться каждым моментом общения с любимым человеком перед разлукой, субъект эмоции испытывает как радость, удовольствие, так и душевное страдание.

Одним из средств репрезентации совмещения полярных эмоций *pain-pleasure* в художественном тексте является оксюморон:

She shook herself a little and again she felt that sweet pain in her heart which she always felt when she thought of Charlie [W. S. Maugham].

В данном случае совмещаются негимпликациональные признаки лексем *sweet* и *pain*. По определению М. В. Никитина, под негимпликационалом понимается «совокупность признаков отрицательной импликации, т. е. семантических признаков, несовместимых с интенсионалом экспликандума» [Никитин, 1996: 572].

Амбивалентность эмоций *pain-pleasure* может быть также репрезентирована лексически с помощью контекстуальных антонимических оппозиций.

At sixteen he developed a taste for long moody ramblers. It helped clear his mind to be out of the house[...]. The term “teenager” had not long been invented, and it never occurred to him that the separateness he felt, which was both painful and delicious, could be shared by anyone else [I. McEwan].

Эмоциональное состояние подростка, о котором идет речь, имеет амбивалентный характер, ибо отчуждение причиняет ему одновременно и радость, и боль. Одновременность полярных эмоциональных переживаний маркирована местоимением *both*. Полярные эмоции номинированы лексемами *painful* и *delicious*, употребленными в структуре *both X and Y*, способствующей актуализации противопоставления. Лексемы *painful* и *delicious* не являются антонимами с точки зрения системы языка, о чем свидетельствует тот факт, что они не зафиксированы в словарях как таковые. Можно определить оппозицию *painful* vs. *delicious* как контекстуальную антонимичную оппозицию. В толковом словаре английского языка *painful* имеет дефиницию: “*upsetting and unpleasant*” [Collins Cobuild English Language Dictionary, 1990: 1034], в то время как *delicious* определяется как “*nice, attractive, or pleasant*” [там же: 372]. В результате анализа словарных дефиниций можно выделить основание для противопоставления, которым является признак “*pleasant emotion*”. Противопоставление актуализируется наличием/ отсутствием признака: *pleasant/ unpleasant (emotion)*.

Амбивалентность эмоций pain-pleasure может быть репрезентирована в художественном тексте с помощью лексики, описывающей проявления эмоций.

Her face began to shine, transfigured with pain and joy (D. H. Lawrence).

Проявление эмоции репрезентировано кинемой *face began to shine, transfigured with pain and joy*, описывающей отражение противоречивых эмоций на лице носителя эмоционального состояния. Семантика слов *shine, transfigure* предопределяет изменение выражения лица под влиянием приятных эмоций. Однако присутствие в этом контексте лексемы *pain* свидетельствует об амбивалентном характере эмоций, поскольку радость смешивается со страданием.

Как видим, амбивалентность эмоций pain-pleasure может быть репрезентирована в художественном тексте различными средствами, в первую очередь, антонимическими оппозициями, среди которых можно выделить языковые и контекстуальные пары антонимов. Кроме того, невербальное проявление полярных эмоций может быть выражено лексикой, описывающей эмоции, т.е., например, кинемами. Среди стилистических средств, репрезентирующих амбивалентность эмоций pain-pleasure, важную роль играет оксюморон.

- ИЛЬИН Е. П., 2007. Эмоции и чувства. СПб.
НИКИТИН М. В., 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.
РУБИНШТЕЙН С. Л., 1993. Эмоции// Психология эмоций. Тексты. М.
ФИЛИМОНОВА О. Е., 2007. Эмоциология текста: анализ репрезентации эмоций в английском тексте. СПб.
ШАХОВСКИЙ В. И., 1987. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж.
COLLINS COBUILD ENGLISH LANGUAGE DICTIONARY, 1990. London.

O. A. Постникова

КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОНИМОВ-СИМВОЛОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

В данной статье исследуется проблема семантической классификации антропонимов-символов. Антропонимы-символы — это имена известных личностей, библейских, мифологических и литературных персонажей, наделенных яркими характерологическими чертами, а также типичные для носителей языка личные имена. Такие имена со временем становятся национально признаваемыми, их содержание наполняется определенным набором признаков (характер, поведение, внешность, национальный, социальный, профессиональный статус), ассоциации становятся устойчивыми и социально значимыми для языкового коллектива. Оставаясь по форме именами собственными, такие имена утрачивают в значительной мере признаки своей категории и становятся символами тех или иных качеств, признаков, характеристик людей. Устойчивость ассоциаций, связанных с денотатом, позволяет использовать его имя для обозначения людей, обладающих чертами, сходными с первоначальным носителем данного имени. Например, Solomon — мудрый, Apollo — красивый, Mick — ирландец, Hick — провинциал. Таким образом, антропонимы-символы — это переходная группа имен между именами собственными и именами нарицательными.

Подробной, структурированной, научно обоснованной классификации антропонимов в современной лингвистике не существует. Ономатологи стихийно рассматривают в своих работах разные типы антропонимов, проводят исследования по различным аспектам антропонимики (см., напр. [Суперанская, 2007], но современная ономастика оставляет данную проблему нерешенной. В словаре «Языкоzнание» под редакцией В. Н. Ярцевой к антропонимам относятся «имена личные, патронимы (отчества или иные именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы (индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена). Изучаются также антропонимы литературных произведений, имена героев в фольклоре, в мифах и сказках. Антропонимика разграничивает народные и каноничные

личные имена, а также различные формы одного имени: литературные и диалектные, официальные и неофициальные» [БЭС, 1998]. Н. В. Подольская в словарной статье, посвященной антропонимам, выделяет поэтические, оттопонимные, групповые и индивидуальные, диалектные и литературные антропонимы [Подольская, 1988]. В данной статье антропонимы рассматриваются с точки зрения наличия у них символического содержания, таким образом, делается попытка внести вклад в классификацию антропонимов по семантическому признаку.

Вслед за Чернобровом А. А. [1995], мы рассматриваем структуру значения антропонимов на основе теории лексического значения Никитина М. В., согласно которой в структуре значения выделяются две части — «интенсионал (содержательное ядро лексического значения) и импликационал (периферия семантических признаков, окружающих ядро)» [Никитин, 2007: 105]. Интенсионал составляют непременные постоянные семантические признаки, которые наличествуют во всех употреблениях имени. Импликационал образует совокупность ассоциативных и оценочных сем, обусловленных и варьирующихся в контекстах. При этом выделяется сильный импликационал и слабый импликационал. Признаки сильного импликационала близки к интенсиональному ядру, составляя почти непременную часть лексического значения. К слабому импликационалу относятся менее вероятностные признаки. К антропонимам-символам мы относим антропонимы, в структуре значения которых символическая сема находится в области сильного импликационала.

Источниками материала для исследования послужили толковые англоязычные словари Oxford Dictionary of English [2005], Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary [2008] и др., а также специализированные словари The Longman Dictionary of English Language and Culture [2006], The Oxford Dictionary of Allusions [2001], Англо-русский словарь персонажей [2000], Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики [2003] и др. Отбор антропонимов-символов проводился методом сплошной выборки.

В разработанной классификации антропонимы-символы предлагаются разделить на **репрезентативные символы и символы-характеристики**. К репрезентативным символам относят-

ся национальные, социальные и профессиональные символы. К символам-характеристикам относятся антропонимы, символизирующие физические качества, моральные качества, определенный социальный статус, а также сложные антропонимы-символы, символизирующие совокупность качеств личности.

Репрезентативные символы — имена, которые символизируют принадлежность к определенной национальной, социальной или профессиональной группе. Термин «репрезентативные» по отношению к антропонимам довольно часто используется в лингвистике. Л. М. Щетинин использует репрезентативные (представительствующие) имена для обозначения типичного представителя определенной группы лиц, объединенной единством политической, профессиональной, должностной, национальной, расовой принадлежности или общими моральными или физическими качествами [Щетинин, 1962]. Г. Д. Томахин к числу репрезентативных (обобщающих) имен относит: имена-символы национальностей; имена, обозначающие простых людей; имена-заместители подлинных имен в юридических документах; имена, символизирующие профессии; имена-прозвища [Томахин, 1988: 205]. Проведенное исследование показало, что все репрезентативные антропонимы-символы можно разделить на три основные группы: национальные символы, социальные символы и профессиональные символы.

Национальные символы — имена, символизирующие нацию. Например: John Bull — англичанин; Micky (Mick), Paddy (Pat) — ирландец; Jock (Sandy, Sawney) — шотландец; Taffy (Taff) — валлиец; Yankee (Yankee Doodle, Yank), Uncle Sam, *уст. Brother Jonathan* — американец; Jim Crow, Uncle Tom — чернокожий; *уст. Fritz, Jerry* — немец; *уст. Ivan* — русский и пр.

Социальные символы — имена, которые символизируют человека, принадлежащего к определенной социальной группе (по степени знакомства, по принадлежности к социальному классу и пр.). К социальным символам относятся, например, следующие мужские имена: Jack — простой парень, человек из народа; Joe Public, Joe Bloggs, Joe Doakes, *амер. Joe Blow, австрал. Fred Nurks* — среднестатистический гражданин, обычный, заурядный человек; *Johnny, amer. Mac, шотл. Jimmy* — парень, малый (при обращении к незнакомому мужчине); *амер. Hick* — провин-

циал, деревенщина, *австрал*. Billjim — *уст.* житель глубинки, Hodge — *уст.* батрак, работяга и пр. Есть также имена, которые символизируют группу людей: Tom, Dick and Harry — любой, каждый, всякий; Johnanokes and Johnastyles — *уст.* простые люди. Женские имена в качестве социальных символов употребляются реже, среди них можно отметить: Gill, Jill — *уст.* молодая девушка, возлюбленная; Judy — *уст.* женщина, тетка, баба; amer. Jane — *разг.* бабенка, девица, простушка, *амер.* Jane Q. Citizen, Jane Doe — среднестатистическая гражданка и пр.

Профессиональные символы — имена, которые символизируют лучшие качества профессии или какого-либо вида деятельности. Например: частный детектив, следователь — Sherlock Holmes, Philip Marlowe, Miss Marple, Perry Mason, Pinkerton, Sam Spade, Dr. Thorndyke; слуга, помощник — Abigail, Jeeves, man Friday, girl Friday, Sancho Panza; и пр.

Антропонимы-характеристики — имена людей, которые символизируют определенные моральные или физические качества личности. Термин «имена-характеристики» впервые использует Габдуллина И. Ф., определяя данный тип имен как контекстуальные нарицательные имена, образованные в следствии апелляции [Габдуллина, 2003]. В данной работе имена-характеристики относятся к собственным именам, выступающим в качестве символов. В данной группе антропонимов можно выделить антропонимы, символизирующие физические качества, моральные качества, определенный социальный статус, а также совокупность качеств личности, так называемые сложные антропонимы-символы.

Физические качества. Например: красивый мужчина — Adonis, Apollo, (Beau) Brummel, Endymion, Heathcliff; красивая женщина — Aphrodite, Bathsheba, Cleopatra, Dalilah, Helen, Juno, Marilyn Monroe, Nefertiti, Venus; некрасивый человек — Gorgon, Boris Karloff, Quasimodo, Vulcan; сильный человек — Amazon, Artemis, Atlas, Paul Bunyan, Samson, Superman, Tarzan, Titan; и пр.

Моральные качества. Например: скопой — Scrooge, Mammon, Grinch, Harpagon, Shylock, Midas; коварный, хитрый — Borgias, Delilah, Iago, Lady Macbeth, Becky Sharp, Volpone; умный, авторитет — Aristotle, the Admirable Crichton, Einstein, Newton, Socrates; терпеливый — Griselda, Jacob, Job, Penelope; и пр.

Социальный статус. Например: богатый — Croesus, Dives, Mammon, Midas, Rockefeller, Rothschild, Vanderbilt, Monte-Cristo; бедный — Cinderella, Bob Cratchit, St Francis of Assisi, Job, Lazarus, Oliver Twist.

Совокупность качеств личности (сложные антропонимы-символы). Например: гостеприимный хозяин, хлебосол — Amphilixyon; женщина с возвышенным умом — Corinna; строгий придирчивый начальник-формалист — Martinet; придира, критик, брюзга — Momus.

Используя антропонимы-символы в устной или письменной речи, носители языка выделяют личности, которые являются значимыми для своей культуры. Антропонимы-символы несут важную фоновую информацию, которую необходимо знать специалистам, изучающим английский язык, для более глубокого понимания западной культуры.

ГАБДУЛЛИНА И. Ф., 2003. Переход имен собственных в имена нарицательные в английском, немецком и татарском языках. Автореф. канд. дисс., Казань.

НИКИТИН М. В., 2007. Курс лингвистической семантики. СПб.

ПОДОЛЬСКАЯ Н. В., 1988. Словарь русской ономастической терминологии. М.
СУПЕРАНСКАЯ А. В., 2007. Общая теория имени собственного.

ТОМАХИН Г. Д., 1988. Реалии-американизмы. Пособие по страноведению. М.
ЧЕРНОБРОВ А. А., 1995. Лингвострановедческий анализ английских личных имён. Автореф дисс... канд. филол. наук, М.

ЩЕТИНИН Л. М., 1962. Переход СИ в нарицательные как способ расширения словарного состава языка (на материале английских фамильных имён).
Автореф. дисс... канд. филол. наук, М.

Словари:

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «ЯЗЫКОЗНАНИЕ», 1989. М.

А. И. Приходько

ОЦЕНОЧНЫЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА

Человек не является по определению пассивным элементом мировосприятия. Объект познания воссоздается в его сознании обязательно сквозь призму норм и оценок. Проблема анализа нормативно-ценностной базы (как индивидуальной, так и общественной) — это проблема исследования активности человеческого сознания и человеческой деятельности вообще. Оценка выступает как специфическая форма познания, причем даже в таких специфических для познающего субъекта сферах, как мораль, политика, искусство, религия.

Ценное отношение человека, то есть оценочный аспект взаимодействия действительности и человека, находит свое отражение в когнитивных аксиологических стереотипах и закрепляется в языковых структурах в виде словообразовательных формантов, словах, словосочетаниях, предложениях и т. д.

В процессе общения человек никогда полностью не абстрагируется от своего отношения к высказываемому и так или иначе выражает свою нормативно-ценностную позицию. Само функциональное бытие знаков языка возможно лишь в границах деятельности субъекта и определяется именно характером взаимодействия языковой личности с предметами окружающего мира (фактами и артефактами).

Связь языка с жизненным миром и психологией человека, прежде всего, проявляется себя в формировании категории оценки, поскольку функциональное бытие знака и есть определяющим фактором становления его семантики.

Ни один понятийный смысл не находит в языке такой разнообразной гаммы средств своего выражения, такого разнообразия подходов к анализу, такого великого множества трактовок, такой блестящей когорты исследователей в истории лингвистических учений от античных времен до современности, как оценка.

Такой исключительный интерес к проблеме оценки можно объяснить сложностью самого феномена оценки, многогранностью ее структуры и функционированием в языке и речи, ее диалектической связью с эмоциональными проявлениями человеческой

психики. Оценка, эмоция, экспрессивность и модальность — специфические компоненты познания когнитивной деятельности — играют значительную роль, как в создании языковых знаков, так и в процессе коммуникации.

Человеческое сознание, как известно, стремится не только к объективному отражению мира. Для него также характерна и оценочная деятельность, которая связана с pragматическим фактором в самом широком смысле. В оценочных высказываниях соединяются сведения об окружающем мире и отношении к ним субъектов речи, что и служит поводом для квалификативного восприятия объектов речи. Отсюда и назначение оценки — не просто называть, а, называя, характеризовать явление, качество, состояние, выражать отношение говорящего к нему.

Оценка — это один из наиболее важных моментов в структуре отражательной деятельности сознания, которая составляет самостоятельный уровень последней. Способность к оцениванию “встроена в организм и встраивает его в мир органической частью” [Никитин, 2003: 67].

Оценка — сложная категория мировоззрения, привлекавшая внимание исследователей еще со времен античности. Неослабевающий интерес к исследованию квалификативных феноменов связан со становлением в языкоznании когнитивно-коммуникативной парадигмы, переходом к всестороннему изучению языка, смещением фокуса внимания на рассмотрение языка в коммуникации и в тесной связи с ментальными процессами.

В данной статье основное внимание направлено на выяснение вопросов познания и понимания человеком языковой картины мира в ее ценностном аспекте.

Оценка охватывает широкий диапазон разноуровневых языковых единиц, исследование которых представляет несомненный интерес, так как соотношение и взаимодействие семантики и pragматики — одна из центральных проблем лингвистики.

Известно, что сущность категории оценки объясняется теорией ценностной направленности человеческой деятельности и сознания, а круг ее характеристик охватывает все то, что задано физической и психической природой человека, его бытием и ощущением [Арутюнова, 1984: 5]. Тем не менее, оценивание выступает разновидностью познавательной деятельности, так как в гносеоло-

гическом плане любой познавательный акт выражает отношение субъекта к объекту, то есть содержит акт оценки. На это обращает внимание Г. В. Колшанский, утверждая, что оценочный момент “есть ничто иное, как проведенная субъектом умственная операция над предметом высказывания (восприятие, понимание, обобщение, выводы и т. п.), представляющая собой оценку в наиболее широком ее понимании” [Колшанский, 1975: 142].

Оценивание — это процесс, который имеет место в любой науке. Подтверждением этого служит тот факт, что ценностная ориентация во многих случаях оказывала содействие развитию целого ряда направлений не только в лингвистической области, но и в компьютерной технике, генной инженерии и других, что свидетельствует о стойкой интеграции научных знаний в рамках когнитивной парадигмы, которая, согласно предшествующему определению, формировалась как междисциплинарная (когнитивная) наука.

Важно отметить, что оценочная деятельность является не только когнитивной, но и прагматической по своей сущности, то есть ее изучение, в особенности путем прагмалогического анализа, необходимо осуществлять с учетом такого ее аспекта, как модели мира, которые содержатся в сознании коммуникантов. Вполне уместным для исследования оценки является положение о свойствах моделей познания, в частности, о динамическом развитии когнитивных моделей в филогенезе, онтогенезе и социогенезе, поскольку оценка детерминирована социально, экономически, политически, духовно и этнокультурно.

Обращенность современных лингвистических исследований к прагматической стороне языкового знака, отражая осмысление языка как продукта и инструмента человеческой деятельности, не означает, что структурно-семантическая парадигма лингвистики уступает место прагматической.

Прагматика и семантика не могут быть жестко противопоставлены одна другой как два типа взаимоисключающих значений. Наоборот, они представляют собой такое функциональное единство, в котором первая выступает как практическая семантика, а вторая принадлежит той стороне речевой деятельности, которая, создавая знаковые аналоги мира, служит осуществлению речевых актов [Никитин, 1996: 722].

Будучи учением о детерминированных социальным контекстом условиях применения человеческого языка, прагматика не может использовать то, что не предлагается системой языка, в том числе и семантической. И напротив, когнитивно-семантические концепты языка будут лишними, если они не задействованы в речевой практике.

Непротивопоставленность семантики и прагматики полностью согласовывается с взглядом современной лингвистики на распределение сфер их компетенции (семантика изучает значение языковых единиц вне контекста, а прагматика — в контексте). Таким образом, существует закономерность: что не заложено в языковой единице на довербальном уровне, того не может быть в режиме ее коммуникативного применения.

Оценочная деятельность сама по себе (как и речь в целом) имеет прагматическую направленность: влияя на ценностную ориентацию реципиента, она тем самым направляет его деятельность.

В оценке семантический и прагматический аспекты неразделимы. Все стороны ее функционирования отражают слияние семантики (собственного значения языковых единиц) и прагматики (условий реализации процесса коммуникации, оценку языковой компетенции слушателя, отношение говорящего к сказанному, влияние адресанта на адресата и т.п.). В данном случае абсолютно справедливым является высказывание Дж. Лича о том, что “и семантика, и прагматика связаны со значением языкового знака, но различие между ними трактуется с точки зрения разных пониманий глагола “значить” (*to mean*). Семантика отвечает на вопрос “Что означает?” Прагматика отвечает на вопрос “Что вы хотите сказать, употребив слово?” [Leech, 1983: 5–6].

Достижение любых прагматических целей невозможно вне коммуникации, поэтому последняя — важнейшее условие существования и деятельности человека. Вербальная коммуникация осуществляется посредством языка, который является и формой, и средством общения.

В процессе коммуникации происходит актуализация языковой системы, причем не какой-то абстрактной, а реально существующей в сознании коммуникантов, но вне общения не материализующейся.

В связи с этим на первый план выдвигается вопрос комплексного изучения языка, как одной из первооснов человеческих отношений. Решение его возлагается на коммуникативную лингвистику, изучающую язык на всех его уровнях и в разнообразнейших функциональных проявлениях, которые оказывают содействие обеспечению взаимопонимания между людьми.

Возможность вербальной коммуникации всегда реализуется в конкретной ситуации, в определенном контексте, который является внутренней характеристикой коммуникации. Коммуникативный аспект языка означает наличие единой структуры языковых единиц, скрепленных связью содержательных и формальных сторон.

Учитывая тот факт, что оценка приобретает максимально полную актуализацию по меньшей мере на уровне высказывания, то именно оно, по нашему мнению, и должно стать первоочередным объектом исследования в коммуникативной лингвистике. Из-за своей сложности и разнообразия проявлений оно относится к лингвистическим явлениям, познание которых не зависит от количества посвященных им работ, а требует постоянного, более глубокого проникновения в их сущность. Это также касается и исследования оценочных элементов, составляющих определенную систему и характеризующихся, как мы уже отмечали, в семантических и прагматических параметрах.

Значение оценки в языковой категоризации картины мира определяется тем, что из всей совокупности произвольно и непривычно осуществляемых человеком психических актов значительная часть приходится именно на долю оценочных.

Оценочность является неотъемлемой частью самого процесса номинации. Оценка — это сущность языковой презентации внеязыковой действительности. Язык препарирует реальность, переструктурирует ее, а потом присваивает имена ее объектам. В процессе эволюции языковой системы оценка, проявляясь эксплицитно, выкристаллизовалась в языковые единицы, которые были зафиксированы в виде аффиксов, слов, отдельных высказываний.

Необходимо подчеркнуть важность того, что оценка скрыта в самом языке, поскольку свойства единиц содержат потенциальные возможности не только называть какое-то явление, но

и характеризовать его. А одним из средств характеризации и является оценка. Итак, процесс номинации протекает не прямо, а через осмысление номинатором (субъектом) объекта окружающей действительности, то есть процесс номинации имеет опосредованный, во многих случаях латентный характер.

Таким образом, исследование феномена оценки должно проводиться с учетом ее многоаспектности, ее способности дать полную и всестороннюю характеристику объекта, устанавливающуюся на основе таких факторов, как уровень конкретности восприятия, фоновые предположения и ожидания, относительное выделение конкретных единиц и выбор точки зрения (перспективы) на сцену, которая описывается.

АРУТЮНОВА Н. Д., 1984. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. М.

КОЛПАНСКИЙ Г. В., 1975. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М.

НИКИТИН М. В., 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.

НИКИТИН М. В., 2003. Основания когнитивной семантики. СПб.

LEECH G. N., 1983. Principles of Pragmatics. L. and N. Y.

О. Д. Прокопчик

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ В ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ЭМОЦИЙ

Соотношение оценки и эмоций является одной из основных проблем в изучении эмоциональных состояний. Наши чувства по отношению к людям, вещам, событиям, показывают то, как мы их оцениваем: то, что мы любим, чем восхищаемся, оценивается нами “положительно”; то, что мы ненавидим, чего боимся, имеет “отрицательную” оценку.

Вопрос о том, что же такое оценка, всегда интересовал лингвистов, которые по-разному трактовали это явление и изучали частные аспекты данного понятия.

По мнению Е. М. Вольф, оценка как семантическое понятие подразумевает ценностный аспект значения языковых выражений, который может интерпретироваться как А-субъект оценки — считает, что Б-объект оценки — хороший или плохой [Вольф, 1996].

Н. Д. Арутюнова рассматривает оценку как один из типов pragmatischen значения, т.е. это значение, которое слово или высказывание приобретает в ситуации речи [Арутюнова, 1988].

С точки зрения М. В. Никитина, оценка — это мыслительное действие, основанное на интуиции, с целью ориентировано — не точно, не достоверно (от догадки до убеждения) установить наличие ценностных признаков у вещей-денотатов, событий [Никитин, 2000].

В истории изучения эмоций с философских позиций неоднократно затрагивалась проблема их связи с оценкой. Теории эмоций, в основе которых лежит оценка, возникли в XVIII в. в английской моральной философии (Э. Шефтсбери, Ф. Хатчесон, Д. Юм), позднее в XVIII-XIX вв. в Европе (Ф. Брентано, М. Шеллер).

Взаимосвязь оценки и эмоций отражает основные аспекты философских концепций, при этом место самой оценки в данных теориях весьма неоднозначно.

Так, Ф. Хатчесон сравнивал эмоции с сенсорным восприятием — со зрением, слухом, так как эмоции подразумевают воспри-

ятие ценностей, в первую очередь моральных, как зрение воспринимает цвет, а слух — звуки. Согласно его концепции, подобно пяти чувствам, воспринимающим внешний мир, существует два “внутренних чувства” — моральное и эстетическое, на которых основаны ощущения типа морального одобрения и эстетического наслаждения. Эти чувства позволяют воспринимать моральные и эстетические наслаждения [Хатчесон, 1973].

Д. Юм высказывал несколько иной взгляд на оценку, полагая, что оценка входит в состав ощущений, что эмоции можно рассматривать как приятные и неприятные ощущения: если мы восхищаемся кем-то, мы считаем, что этот человек хороший. По мнению Д. Юма, эмоции — это ощущения, а оценка — это способность человека иметь ощущения и на их основе делать заключения о моральных и эстетических ценностях [Юм, 1973].

Концепция Д. Юма получила развитие в теориях философов более позднего времени, таких как Ф. Брентано и М. Шелер.

Согласно идеям Ф. Брентано, эмоции содержат в себе оценочный компонент, отрицательный или положительный. При этом ценностные характеристики, вносимые ощущениями, могут не совпадать с моральными ценностями. Пытаясь решить это противоречие, философ проводит аналогию между эмоциями и суждениями, выделяя “слепые” и “очевидные” суждения. По мнению философа, многие суждения возникают на основе привычки, ложных мнений, для этих суждений нет логических оснований. Суждения другого типа — истинны, например, математические и логические формулы, убеждения о том, что говорящий думает в данный момент. Эмоции, по Ф. Брентано, также можно разделить на два типа. Так, например, любя отрицательные с точки зрения морали объекты (пример по Брентано — любовь скрупуза к деньгам), мы не ощущаем “правильности” нашей любви, в то время как, любя нечто положительное по моральным категориям, мы испытываем “правильную” любовь. Таким образом, философ проводит аналогию между “очевидными” суждениями и “правильными” эмоциями. Согласно концепции Ф. Брентано, “правильность”, т.е. соответствие моральным нормам, является критерием оценки, подтверждением того, что то, к чему мы испытываем положительные эмоции, является действительно хорошим [Брентано, 1907].

В отличие от Ф. Брентано, М. Шелер разделил эмоции на оценочные и не оценочные, которые назвал “чувствами-функциями” и “чувствами-состояниями”. Первые эмоции — это интенсиональные ментальные акты, которые участвуют в познании мира, например, эстетическое восприятие; эмоции второго типа — это эмоциональные реакции на то, что уже было оценено как хорошее или плохое. Философ относил большинство эмоций типа страха, гнева, радость к чувствам-состояниям и считал, что они не содержат оценочного компонента [Шелер, 1916].

Многие современные философы связывают эмоции с идеями когнитивизма, полагая, что между эмоциями и оценочными мнениями существует логическая связь. Так, тот, кто испытывает чувство стыда, вместе с тем считает, что поступил неправильно, иными словами, эмоции логически зависят от оценок [Calhoun, Solomon, 1984].

Другая группа оценочных теорий, также опирающаяся на идеи когнитивизма, предполагает, что эмоции сами по себе и есть оценки.

Так, Ж.Сартр определяет эмоции как невысказанные мнения об оценке. По его мнению, эмоции сами вносят оценки в мир. Несмотря на то, что оценки могут даваться вне зависимости от эмоций, последние позволяют вносить в окружающий мир изменения, переоценивая его. Внешние проявления эмоций, отражают тот факт, что человек начинает жить в этом воображаемом мире [Сартр, 1948].

Таким образом, находясь в том или ином эмоциональном состоянии, субъект сам сознает ценностную реальность и как бы живет в ней. Рациональность эмоций основывается не на истинной ценности вещей, а на субъективном преобразовании жизненных ситуаций.

Как можно заметить, оценочные теории когнитивного направления, при отдельных различиях, дают рационалистическую картину эмоций, подчеркивая их когнитивный аспект и утверждая, что эмоции — это важные ментальные феномены, которые дополняют рациональный взгляд на вещи, ведя к миру моральных, эстетических и религиозных ценностей [Психология эмоций, 1984]. Таким образом, теории оценок и эмоций у многих философов смыкаются.

Проблема оценки во многом связана с общим подходом исследователей к тому, что следует считать эмоциями. Британская школа моральных философов XVIII в. признавала наличие оценки только в составе некоторых чувств и ощущений, таких как, эстетическое удовольствие и моральное одобрение. Эмоции — страх, радость, надежду и др. они считали слепыми — иррациональными эмоциональными реакциями.

Такое разделение эмоциональной сферы на оценочную и иррациональную подчеркивает тот факт, что не всегда оценка в эмоциональной структуре и оценка в картине мира совпадают [Вольф, 1996]. Так, например, любовь и уважение предполагают, что объект уважения и любви оценивается как хороший; между тем, можно полюбить и негодяя и, напротив, не любить достойного человека. В результате, моральные теории не принимают во внимание эмоции, связанные с внутренними переживаниями.

В психологических исследованиях в первую очередь внимание обращено на оценки самого переживания: положительные эмоциональные состояния приятны для субъекта, а отрицательные — неприятны. Но такое толкование мало что объясняет, потому как неясно, что следует считать приятным, а что неприятным.

Оценочный аспект играет важную роль в классификации эмоций. Во многих концепциях, как философских, психологических, так и лингвистических, оценочный компонент положен в основу разделения предикатов эмоциональных состояний на две основные группы — положительные и отрицательные, хотя неспецифические состояния, такие как волнение, спокойствие, многими авторами не учитываются [Изард, 1980].

Согласно Н. Д. Арутюновой, если предикат эмоционального состояния находится в пропозиции модуса в структуре модус-диктум, то он легко приобретает оценочный смысл, что связано с семантической природой в целом, где модус выражает отношение к зависимой пропозиции. При этом оценочный смысл, который имеется в большинстве предикатов эмоциональных состояний, выступает на первый план. Как заметила Н. Д. Арутюнова, модус эмотивного плана выражается словами разной грамматической природы: предикативами (грустно, радостно, противно, приятно), краткими прилагательными и причастиями (рад, огорчен), возвратными и невозвратными глаголами. Подобные моду-

сы имеют оценочный смысл. Например, оценка “хорошо”: Очень рад, что ты приехал! (Толстой); оценка “плохо”: А жаль, что не знал о вашем рождении (Достоевский) [Арутюнова, 1988].

В приведенных отрывках, зависимая пропозиция обозначает событие, однако в следующем примере: *Да, да, обидные слова, брошенные Бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда* (Булгаков), оценочный модус горе не в том, что ...сочетается с оценочной зависимой пропозицией, значение которой, по мнению Н. Д. Арутюновой, обусловлено интерпретацией отношений, связывающих эмоциональное состояние человека с внешними стимулами [Арутюнова, 1988].

Таким образом, проблема соотношения оценки с другими категориями неоднозначна, поскольку сама оценка имеет сложную структуру, где актуализируются разные ее аспекты.

- АРУТЮНОВА Н. Д., 1988. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.
- БРЕНТАНО Ф., 1907. Исследование психологии ощущений. М.
- ВОЛЬФ Е. М., 1996. Функциональная семантика: оценка, экспрессивность, модальность. М.
- ИЗАРД К. Е., 1980. Эмоции человека. М.
- НИКИТИН М. В., 2000. Заметки об оценке и оценочных значениях. // *Studia Linguistica* № 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб.
- ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ, 1984. Тексты. М.
- САРТР Ж.- П., 1948. Очерк теории эмоций. М.
- ХАТЧЕСОН Ф., Юм Д., Смит А., 1973. Эстетика. М.
- ШЕЛЕР М., 1916. Формализм в этике и материально-ценностная этика. М.
- CALHOUN Ch., SOLOMON R., 1984. What is an Emotion? // *Classic reading in philosophical Psychology*.

A. H. Резанова

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ДИСФЕМИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Поскольку в основе всех семантических преобразований, в том числе и изменений наименования (семантических трансформаций) лежат формально-логические связи между понятиями, определить семантические трансформации можно, исходя, прежде всего, из типов этих связей, отражающих ассоциации, способные возникнуть в сознании человека. В. Г. Гак выделяет пять основных типов отношений между понятиями: равнозначность (совпадение объемов двух понятий), внеположенность (исключение), контрадикторность, подчинение (включение) и перекрецивание (пересечение) [Гак, 1963: 12]. Им соответствуют пять основных семантических процессов и типов трансформации наименования.

Универсальность семантических трансформаций, основывающихся на операциях с понятиями, подтверждается психолингвистическими экспериментами и тем, что они обнаруживаются везде, где имеет место изменение наименования. Действительно, там, где идет речь о семантических связях слов или замене названий, выступают одни и те же закономерности преобразования, определяемые логическими отношениями понятий.

Попытаемся выяснить, какие виды семантических отношений характерны для преобразований в рамках дисфемии.

Как известно, с семантической точки зрения дисфемия представляет собой процесс переименования, а если выражаться точнее, негативного именования денотата, при котором денотат сохраняется, а изменения происходят в коннотативном компоненте. При этом можно говорить о двух видах отношений внутри дисфемистических преобразований, когда дисфемизм образуется на основании отрицательного (1) или нейтрального (2) денотата.

Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее.

1. *Образование дисфемизма на основе отрицательного денотата*

В основе явления дисфемии лежит понятие, изначально оцененное социумом как пейоративное (обозначение смерти, болез-

ней, человеческих пороков и пр.), а её использование предполагает усиление негативной составляющей понятия. Так, для обозначения социального статуса «женщина лёгкого поведения» («prostitute») в качестве потенциальных дисфемизмов могут употребляться сленгизмы и вульгаризмы *slut*, *whore*, *hustler*, *judy*, *hackette* (ODMS), а также множество других. Ср. также: *fool* — *half-ass*, *half-cut*, *mug*, *muggings*, *motor mouth*, *poop-stick* и др. (ODMS); *fuck-up a mess*, *muddle*; *fairy* — *male homosexual*; *clobber* — *clothes*.

«The sort of half-assed dottiness they dish out in West End comedies». [Observer, 8.12.2006]

Процитированный пример является выдержкой из статьи, посвященной критике современной кинематографии. Поскольку дисфемия представляет собой явление контекстуальное, т.е. слово сниженного стиля может считаться дисфемизмом только в определенных условиях дискурса, которые определяются неприемлемостью употребления дисфемистических выражений. Соответственно учитывая престижность журнала, вульгаризм *half-assed*, означающий *ineffectual*, *inadequate*, *mediocre*; *stupid*, *inexperienced*, может рассматриваться как основа для образования дисфемии.

Пример, приводимый ниже, прилагательное — вульгаризм *crappy*, несущее значение *rubbishly*, *inferior*, *worthless*, *disgusting*, также является дисфемизмом, так как употреблено в престижном публицистическом издании: «Rents as high as \$52 a month for crappy quarters» [Weekly Guardian, 5.2005]. Следующий пример взят из статьи, посвященной «мужчинам в модельном бизнесе». Вульгаризм *a rent boy*, имеющий значение *a young male homosexual prostitute*, придаёт изложению отрицательный оценочный оттенок «Between the ages of fifteen and twenty he had been a rent boy, a boy prostitute living and working» [Daily Telegraph, 11.10.2005].

Проанализированный вид отношений внутри дисфемистических преобразований можно определить как интенсификацию негативности, априори характерную для денотата.

2. Образование дисфемизма на основе нейтрального денотата

В основе явления дисфемии лежит понятие, изначально оцененное социумом как нейтральное (обозначения национальной принадлежности индивидов, наименования некоторых государств-

твенных учреждений, должностей или профессий, частей тела, предметов повседневного обихода), однако, благодаря перифразу, форму которого обретает дисфемизм, последний начинает нести в себе негативную коннотативность. Уникальность способа образования дисфемизма заключается в том, что денотат остается прежним, как и в предыдущем случае, однако в языковую игру вступает оценка со знаком «минус». Использование такого дисфемизма обычно обусловлено определёнными социопсихологическими установками.

Так, возможным дисфемизмом для понятия church может служить сленгизм a ring — ding God box, в определенном контексте будет нести отрицательную оценку, выражая пренебрежение говорящего к религиозным институтам. Известны случаи употребления сленгизма fuzz в значении the police; funny farm в значении a mental hospital; fungus в значении a beard or other facial hair; faggot в значении woman; clobber в значении clothes.

Сравним еще два примера:

1. «Enforcement agents blame Jamaican posses for some 500 homicides and... gun-running» [Boston, 5.10. 1997].
2. «Did you see the girls, when you were out there? ... The sort of black velvet that sometimes makes me wish I wasn't a policeman» [Chicago Tribune, 3.10.2002].

В настоящее время практически любое упоминание расовых меньшинств ведет к неизбежному возникновению дисфемии, что отчасти связано с набирающим обороты движением за политическую корректность. В первом примере (1) сленгизм posses несет значение black (esp. Jamaican) youths involved in organized or violent crime, often grugrelated. (from earlier sense, body of men summoned by a sheriff, etc. to enforce the law). Во втором примере (2) сленгизм black velvet означает offensive; a black-skinned or coloured woman, esp. as the sexual partner of a white man; such women collectively. В первом случае автор статьи прибегает к дисфемии, рассказывая о возросшем уровне преступности в среде афроамериканцев, во втором — вниманию читателей предлагается интервью со служащим полиции, который в довольно грубой и оскорбительной форме отзываются о темнокожих американках.

Приведём ещё один пример. Он показывает, как нейтральное понятие, обозначающее профессию врача, может обретать нега-

тивную оценку и являть собой дисфемизм, выражаясь в сленгизме a croaker. Cp. a croaker — a doctor, esp. a prison doctor. (from “croak” with ironic reference to the sense “kill”, also obscene slang crocus quack doctor, from the Latinized surname of Dr. Helkiah Crooke, a 17th century surgeon).

«The most he needed was some bicarbonate of soda and a physic, not a croaker» [Punch, 3.06. 2004].

Второй вид отношений, проанализированных выше внутри дисфемистических преобразований убедительно иллюстрирует отличие дисфемии от эвфемии, поскольку с эвфемией связывается замена пейоративного денотата мелиоративным. В дихотомии «эвфемия — дисфемия», таким образом, происходит определенного рода смешение в способе образования.

Довольно большое количество понятий «поддается» дисфемизации. Причем этот процесс обусловливается не культурными особенностями отдельно взятой нации, как в случае эвфемии, а pragматическими интенциями говорящего вне зависимости от национальной принадлежности. В этой связи, можно говорить о том, что дисфемия функционирует как интернациональное и широко распространенное в современной речевой практике явление.

Сам принцип выделения дихотомии «дисфемия-эвфемия» основывается на общности явления переименования или перифраза в силу pragматических интенций говорящего, однако, причины, вызывающие эти процессы, могут различаться. Эвфемия — это переименование негативного денотата, дисфемия — переименование как негативного, так и нейтрального денотата.

Высказанные выше предположения о семантической природе дисфемии позволяют прийти к важному заключению: имеются весомые основания для выделения чистых (устоявшихся) дисфемизмов и контекстуально обусловленных дисфемизмов.

Чистые дисфемизмы — это слова сниженного стиля, которые являются дисфемизмами вне зависимости от условий контекста, например, так называемые «four letter words». Появление подобных слов в дискурсе вносит диссонанс в речевое высказывание и является неприемлемым для определенного статуса говорящих, поэтому в пособиях, посвященных разрешению конфликтных речевых ситуаций, рекомендуется их избегать. С семантической

точки зрения к чистым дисфемизмам относятся вульгаризмы и некоторые сленгизмы. Интересно, что в английском языке таких слов немного, однако спектр значений, которые они передают, поражает разнообразием. К чистым дисфемизмам относятся: вульгаризм *fuck* и его производные *fuck about* (*to fool about, mess about*), *fuck off* (*to go away; also an expression of contemptuous or angry rejection*), *fuck up* (*to make a mess of; to blunder, fail*), *fuck-all* (*absolutely nothing*), *fucker* (*one who copulates; also a general term of abuse*), *fucking* (*used as an intensive to express annoyance*); вульгаризм *ass* и образованные от него *ass-bandit* (*a sodomite; also a male homosexual*), *ass-end* (*the near part or end*), *ass-hole* (*a stupid or obnoxious person*) или *asshole of the universe* (*an unpleasant or godforsaken place*), *ass-licking* (*toadying*) или *ass-licker* (*a sycophant, toady; an obsequious hanger-on*), *to have one's ass in a sling* (*to be in trouble*), *ass-kiss* (*to flatter, truckle to*), вульгаризмы *dick* — *male sexual organ*, *slag* — *an objectional or contemptible person*, *slut* или *whore* — *a promiscuous or unprincipled woman*; *a prostitute* и прочие. В русской лексикологии подобные слова называются «ругательства, инвективы или дерогативы».

К контекстуально обусловленным дисфемизмам относятся любые лексические единицы, хотя, как правило, все же, сниженного стиля: жаргонизмы, сленгизмы, просторечия. Эти единицы функционируют в роли дисфемизмов лишь в определенном контексте.

Возвращаясь к типологии семантических отношений В. Г. Гака (см. начало статьи), можно с уверенностью утверждать, что для появления дисфемизмов характерны четыре вида связей из упомянутых в ней:

1. отношения лексико-семантической равнозначности;
2. отношения смешения;
3. процессы семантического сужения;
4. отношения перекрещивания.

Отношения контрадикторности явлению дисфемии, т. о., не присущи.

Проследим, как выделенные виды лексико-семантических связей функционируют в процессе дисфемизации и каким удивительным способом они нередко переплетаются, образуя сложные комплексные диады и даже триады.

1. Отношения лексико-семантической равнозначности характерны для дисфемии, прежде всего, в силу процесса, априори заложенного в этом явлении — переименования. Как уже отмечалось, денотат, точнее само понятие, заложенное в лексической единице при дисфемистическом перефразе, не меняется, появляется лишь дополнительная отрицательная оценочность. Как следствие понятие, на основании которого возник дисфемизм, и сам дисфемизм, образуют синонимические ряды. Из ряда лексических единиц — дисфемизма или недисфемизма — говорящий делает выбор в пользу первого. Основным отличием дисфемизмов от синонимов является то, что дисфемия, появляясь при определенных обстоятельствах дискурса, представляет собой прагматически обусловленный процесс вторичной номинации. Таким образом, синонимия и дисфемия соотносятся друг с другом как единицы языка и единицы речи, соответственно.

2. Отношения смещения типичны для дисфемии, поскольку наличие фразеологических единиц в её составе не редкость. Примечательно, что говорящие иногда в процессе коммуникативного акта изобретают фразеологические сочетания, проявляя талант словотворчества.

3. Отношения сужения, которые характеризуются добавлением коннотативного (оценочного) компонента лексической единице, присутствуют в каждом дисфемистическом выражении, являясь неотъемлемым компонентом в сложной цепи образования дисфемизмов.

4. Отношения перекрещивания также возможны при образовании дисфемизмов: метафорические и метонимические варьирования в дисфемистическом дискурсе нередки.

Рассмотрев виды семантических отношений внутри дисфемистических высказываний, можно прийти к выводу, что обязательным типом лексико-семантических связей в них является сужение. Именно в этом виде отношений заложен основной механизм функционирования дисфемизмов в речи: замена нейтрального значения денотата эмоционально окрашенным, несущим отрицательную оценку. Что касается трех других видов лексико-семантических отношений, а именно отношений равнозначности, смещения и перекрещивания, то они представляют собой вспомогательные средства для образования собственно дисфемистических выражений.

- ГАК В. Г., 1963. Сопоставительная лексикология: На материале франц. рус.
и з. М.
- AYTO J., SIMPSON J., 1993. The Oxford Dictionary of Modern Slang (ODMS).
New York.
- BOSTON, 5.10.1997.
- CHICAGO TRIBUNE, 3.10.2002.
- DAILY TELEGRAPH, 11.10.2005.
- OBSERVER, 8.12.2006.
- PUNCH, 3.6.2004.
- WEEKLY GUARDIAN, 5.2005, 3.2002.

Ю. В. Сергаева

КОЛЛАБОРАТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ: К ПРОБЛЕМЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВА КАК ДВУСТОРОННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие «творчество» в современной парадигме научного знания трактуется достаточно широко: это и деятельностный и когнитивный процесс, направленный на генерирование новых идей и концептов, применение нестандартного подхода к решению проблемы, принятие новых взглядов. Отсюда следует, что целью и результатом этого процесса может выступать как осозаемый продукт (предмет искусства, художественное произведение, новое слово и т. п.), так и поиск нескольких вариантов решения проблемы вместо одного с последующим выбором оптимального, своя интерпретация какого-либо явления.

Говоря о лингвистическом аспекте творчества, реализующемся в создании новых языковых единиц или переосмыслении уже существующих номинаций, подчеркнем, что за основу данного процесса принимается «лингвокреативное мышление», двоякую направленность которого отмечает Б. А. Серебренников [Серебренников, 1988]. С одной стороны, оно отражает окружающую человека действительность, а с другой — тесно связано с ресурсами конкретного языка. Таким образом, в ходе лингвокреативной деятельности (при создании новой языковой единицы) стремление человека удовлетворить все свои запросы в номинации понятий, оценок, эмоций всегда сопряжено с «преодолением неадекватности номинативной системы потребным задачам выражения» [Никитин, 2007: 203].

Важно также отметить, что понятие лингвокреативности связано с раскрытием сути языковой способности, под которой понимается умение не только производить, но и понимать языковые выражения, создаваемые в непрестанно меняющихся условиях коммуникации [Ирисханова, 2004]. Поэтому, говоря о лингвокреативной деятельности языковой личности, следует иметь в виду не только создателя, творящего новую номинацию, но и личность её воспринимающую, оценивающую и интерпретирующую, что тоже является творческим актом. По справедливому

замечанию И. К. Архипова, «если создание нового значения есть акт творчества говорящего\ пишущего индивида, то в равной степени это относится и к слушающему\ читающему, т. к. понять говорящего означает выполнить *свой* творческий акт, заключающийся в генерировании мысли, конгениальной, совпадающей с мыслью отправителя сообщения. Творчество создателя предполагает творчество потребителя» [Архипов, 2008: 196].

В современной Интернет-коммуникации «двусторонняя» творческая деятельность языковой личности принимает новые формы оперативного, коллаборативного и интерактивного создания информационного продукта, тем самым придавая триаде «автор — продукт — реципиент» черты социального конструктивизма и диалогизма. Автор принимает «условия игры» и производит заданный коммуникативными параметрами продукт, который затем не просто воспринимается интерпретативным сообществом с точки зрения его соответствия-несоответствия выработанным интерсубъективным нормам, а буквально рождается, шлифуясь во взаимодействии автора и реципиента. Заметим, что аналогичного мнения об особенностях творческого процесса в Интернет-среде нового поколения придерживаются М. Варшаэр и Д. Граймс, акцентирующие в этом процессе активную роль воспринимающей стороны: «*An audience is thus not only a set of meaning-making interpreters but also rather socialized members of a discourse community. <...> The audience thus becomes a conversant with the author*» [Warschauer, Grimes, 2008: 3–4].

Творческое взаимодействие такого рода составляет важную черту современной компьютерной лексикографии, а именно неографии и неологий. Появление социальных сервисов Интернет (технологий второго поколения Web 2.0), обеспечивающих коммуникацию в виде сотрудничества, позволило реализовать в виртуальном пространстве такие коллаборативные проекты, как, например, The Unword Dictionary (www.unwords.com), Pseudodictionary (www.pseudodictionary.com), Verbotomy: The create-a-word game (www.verbotomy.com), PreDictionary: A Lexicon of Neologisms (www.emory.edu/INTELNET/predictionary.html). Сами названия подразумевают, что данные ресурсы посвящены искусству создания новых слов и понятий, расширению моделей словообразования, т.е. это не столько фактическая инвентаризация,

сколько проективное описание языка, прогнозирующее и моделирующее его будущее состояние посредством так называемых «протологизмов» — слов «еще не опознанных, не выговоренных, но призываемых в речь по мере того, как расширяется <...> сознание народа, и в свою очередь его расширяющих». [Эпштейн, 2002]

Далее рассмотрим особенности интерактивной колаборативной словотворческой деятельности на примере проекта «Verbotomy: The create-a-word game», организатором и модератором которого является писатель и художник Джеймс Гэнг (James Gang), а участником может стать любой зарегистрированный пользователь.

Основной принцип творческой кооперации в данном (и подобных) проектах — это создание, часто в виде конкурса, нового слова (*coinage, made-up word*) или переосмысление уже существующего значения с последующим оцениванием творческой номинации другими участниками виртуального сообщества с точки зрения удачности и прозрачности её внутренней формы, эффективности в выполнении определенного коммуникативного задания и по другим критериям.

Задания участникам (*public tenders, assignments*), как правило, строятся на ономасиологическом принципе «от содержания к форме», когда предлагается дефиниция или описание ситуации (дескрипты), требующие объективации в слове. Например:

public tender: looking for the best neologism that describes people who have more than 10 social network profiles

[<https://twitter.com/wordspray/status/1381522429>]

Потребность в семантизации такого рода может преследовать цель заполнить лакуну, образовавшуюся при появлении новой реалии, социального явления и т.п. (как в примере выше), но может и предполагать детализацию, оценку, эмфатизацию какой-либо привычной ситуации, эмоции. Рассмотрим несколько дефиниций, предложенных для словотворческого задания участникам проекта Verbotomy и отражающих (чаще всего негативное) восприятие окружающего мира:

DEFINITION 1. — Some idiot will always put out uncovered garbage in gale-force winds and blanket the street with trash....So — what do you call a plastic grocery bag which hangs permanently from a beautiful oak tree?

DEFINITION 2. — n. Annoying neighbors who spend endless hours mowing their lawns, painting their fences, washing their cars, and browbeating you because you have a life. v. To express disapproval for someone's lifestyle.

DEFINITION 3. — n. the embarrassing situation which occurs when someone says "I love you" and you cannot say it back because you don't "love them", you just "like them". v. To feel uncomfortable when someone says "I love you" [<http://www.verbotomy.com/verbinition.php>].

Ярко выраженная оценочность приведенных выше описаний типов людей, ситуаций, предметов не удивляет, а лишь ещё раз подтверждает структурообразующую роль оценки в ментальной сфере. По словам М. В. Никитина, «... сознание начинается с формирования pragматических структур, обеспечивающих полезностную оценку, ценностную ориентацию и оптимальное реагирование на среду» [Никитин, 2007: 692]. Обращение к подобным дефинициям позволяет выявить не только универсальные ситуации, чувства и эмоции, но и национально-культурную специфику восприятия окружающего мира, новые культурные реалии, концепты, требующие объективации, и др. Например, следующая дефиниция отражает не только появление новых способов оплаты, но и формирование нового стиля «финансового» поведения, привычек и взглядов:

DEFINITION 4. — v. to exclusively use credit cards, debit cards and/or electronic banking in order to avoid using, or even touching, old fashioned cash. n. A person who never pays for anything using real money [<http://www.verbotomy.com/verbinition.php>].

Анализ предлагаемых для словотворческих проектов дефиниций позволил отметить, что наиболее популярными сферами окружающего мира, требующими, на взгляд участников проекта, объективации в слове, являются различные аспекты межличностных отношений (прежде всего между мужчиной и женщиной), поведение в общественных местах, влияние (далеко не всегда положительное) на жизнь людей научно-технического прогресса, проблемы экологии, и т. п. Интересен тот факт, что часто для вербализации предлагаются неоднозначные ситуации или оценки, смешение эмоций, в том числе полярных, что достаточно трудно выразить в одной номинации:

DEFINITION 5. n. A lovable yet stupid pet. v. To be dumb, fat, lazy, arrogant, and totally, completely, irresistibly cute [<http://www.verbotomy.com/verbinition.php>]

Далее возникает вопрос о способах номинации разных фрагментов реального мира. Поиск и выбор нового слова при необходимости ономасиологического описания — это особый творческий процесс, который представляет собой поэтапную селекцию, подбор нужного варианта. При этом механизм выбора и представление об оптимальности номинации зависит от коммуникативного задания — чем сложнее дескрипт, тем креативнее созданная единица. По определению Е. С. Кубряковой, «процедура, которую в психолингвистике недифференцированно называют поиском слова, является собой не столько выбор единицы из числа существующих, сколько — **в целях оптимального решения задачи** (курсив мой — Ю. С.) — творческий акт создания новой единицы номинации» [Кубрякова, 1984: 16]. Иными словами именно новообразование, а не переосмысление уже имеющегося слова чаще всего является оптимальным номинационным выбором, отвечающим требованиям ситуации и особенностям языковой личности.

Проведенный анализ новообразований, соответствующих определенному ономасиологическому описанию, показал, что основные способы создания предложенных новых номинаций — это словосложение, словослияние (телескопические образования разного типа), аффиксация, что в общем-то типично для создания неологизмов. С другой стороны, коммуникативное задание предполагало своего рода творческий конкурс и ёмкость номинации при наличии специфических дескриптов, что усложняло творческий поиск. Кроме того, далеко не проста задача выразить одним словом bipolarную оценочность и эмотивность, присущую, как уже отмечалось выше, некоторым требующим объективации фрагментам действительности. Как результат, в чистом виде названные способы словообразования встречались в предложенных номинациях крайне редко, а дополнялись различными средствами языковой игры, способствующими большей прагматизации языковой единицы — каламбуром, аллюзией, рифмованием и др.

Например, для дефиниции «*n. The uneasy comfort that comes from knowing that your family, your friends, the police, the taxman, and every marketer in the world, are using the newest technology*

track your every move.» были предложены следующие варианты номинации:

- **Tracknowledgy** — (to) track + knowledg(e) + аффикс -у (часть аффиксоида -logy) — гаплологическое телескопическое образование с каламбурным обыгрыванием общей модели — *technology*

- **Techsposed** — наложение усеченной формы techs на слово (ex)posed

- **Orwellwellwellian** — словосложение с редупликацией и суффиксацией + аллюзивное обыгрывание имени собственного — Дж. Оруэлла, автора романа «1984», повествующего об обществе тотального контроля.

[<http://www.verbotomy.com/verbottop.php?jid=privacy>]

Для приводимой выше дефиниции № 3 «*n. the embarrassing situation which occurs when someone says “I love you” and you cannot say it back because you don’t “love them”, you just “like them”*» были предложены такие варианты как:

- **Beminefield** — лексикализованная форма «be mine» (аллюзия на типичную фразу в «валентинке») + minefield — телескопическое образование с наложением основ,

- **Reciprocant** — эта номинация на первый взгляд выглядит как результат переосмысливания уже существующего слова, но в то же время это слияние reciproc(ate) + can't.

- **Amororless** — также предполагает намеренную двоякую членимость, наложение двух моделей словообразования: 1) аффиксация на базе заимствованной основы: amor(e) + -less и 2) лексикализация фразы «more or less», что в совокупности порождает построенный на созвучии каламбур.

Говоря в начале статьи о двустороннем характере творчества, о творческой кооперации в ходе создания новой номинации, мы также ставили целью выявить параметры оптимальности номинации с точки зрения не только её творца, но и интерпретатора. Как отмечает Басин Е. Я., одним из ведущих мотивов творчества является стремление к самовыражению, стремление утвердить свою личность, отстоять свое Я, удовлетворение таких первичных духовно-социальных потребностей, как любовь и признание [Басин, Электронный ресурс]. В связи с этим важную роль для интерактивных словообразовательных проектов играют данные другими пользователями комментарии в отношении представленных на суд новообразований.

Частично параметры оптимальности уже были заданы организатором конкурса (администрацией сайта) и отражены в разделе «Verbotomy Tips» [<http://www.verbotomy.com/verbotulism.php#read>]. К ним относятся:

1) Произносимость слова: — «The best verboticisms are pronounceable, and spelled in such a way that your readers guess how they should be pronounced».

2) Выводимость значения из внутренней формы — «If people can guess the meaning by reading, or saying the word aloud, that's great. If it can give people an "Aha!" moment, when they suddenly recognize its meaning, all the better».

3) Экспрессивность и остроумие в номинации — «This is a divertissement, so clever and funny is always appreciated, and will usually result in more votes».

Кроме того, анализ комментариев к представленным единицам и/или данные их рейтинга по результатам голосования позволили нам выделить дополнительные критерии наиболее удачных номинаций. Так, наибольшего одобрения (и большего количества голосов) заслужили номинации, отвечающие таким основным параметрам, как:

1) Длина слова — слово не должно быть длинным (чаще 2–4 слога)

2) Модель слова — узнаваемая, не перегруженная компонентами (слияние не более 3-х компонентов)

Можно предположить, что такие параметры представляются оптимальными на уровне интуиции, и чем проще по форме новое слово, чем очевиднее модель и семантический механизм его образования при наличии экспрессивности и комического эффекта, тем больше голосов и положительных откликов оно получает. Так, варианты номинаций, соответствующие данным параметрам, получили в комментариях пользователей следующие отзывы:

- *Confiscreate* (v. To create and build home furnishings using stolen milk crates) — *terrific combo; great word; nice blending*.

- *Contrabank* (A hiding place which is used to store emergency supplies) — *Good one! Terrific one letter change! Excellent! Loved it.*

- *Apprehendsive* (To feel nervous, self-conscious and guilty whenever you see a police officer) — *caught the mood! Excellent etymology. Hahahaha. Good one! too funny!*

- *Emutate* (v. To derive your identity from someone else, especially a famous person) — *Quite clever...Webster material!*

В то же время, исходя из параметров оптимальности, неудачными вариантами можно признать, например, следующие номинации:

- *Spwatchandspontroll* («*The uneasy comfort that comes from knowing that your family, your friends, the police, the taxman, and every marketer in the world, are using the newest technology track your every move*») — громоздкое по форме и смысловому наполнению слово состоит из фрагментов 5 слов (SPY + WATCH + AND + SPY + CONTROL). Также автор этого варианта ссылается на созвучность с ROCK AND ROLL, что совершенно не отражает суть дефиниции.

- *Chairub*: cherub + chair (electric), — оптимально по форме, но не вполне отражает суть дефиниции «*v. to look for love in the wrong places. n. a person who habitually looks for love in the all the wrong places and wonders why it always turns out wrong*».

- *Retrocertainot* — имеет прозрачную структуру, соответствующую дефиниции «*to do something decisive and then immediately start to have doubts, wondering if you did the right thing. n. Second thoughts, or second guesses, about a decision or an action you have made but cannot change*», но большое количество слогов не соответствует форме общеупотребляемого слова.

Согласно универсальному закону, «когда в языке нет устоявшегося, узуального названия, нередко оно рождается не сразу, но в борьбе нескольких конкурирующих наименований» [Земская, 2007: 174]. В отношении описанного в статье словотворческого процесса можно добавить, что в условиях современной компьютерной неографии новая номинация рождается не только в борьбе, но и в сотрудничестве, створчестве, т.е. это двусторонняя деятельность творца и интерпретатора.

Проведенный анализ позволяет сделать и ещё один, не менее важный вывод. Словотворчество как способ пополнения словарного состава языка и вид языковой игры приобретает всё более массовый характер в условиях Интернет-коммуникации и основывается на 1) критическом, часто неоднозначном восприятии окружающей действительности; 2) активной проективной функции языкового сообщества, конструирующего язык будущего;

3) интуитивном следовании параметрам оптимальности номинационного выбора при богатом арсенале языковых средств.

В заключение отметим, что рассмотренные в статье коллaborативные проекты по созданию и фиксированию новых слов открывают новые возможности для исследования структурно-семантического разнообразия новых слов 21 века, а также когнитивных, прагматических и культурологических аспектов индивидуального и коллективного словотворчества.

- АРХИПОВ И.К., 2008. Язык и языковая личность. СПб.
БАСИН Е.Я. Творчество // Энциклопедия «Кругосвет»
<http://slovarey.yandex.ru/dict/krugosvet/article/d/db/1010505.htm>
ЗЕМСКАЯ Е.А. 2007. Словообразование как деятельность. М.
ИРИСХАНОВА О.К., 2004. О лингвокреативной деятельности человека: от глагольные имена. М.
КУБРЯКОВА Е.С., 1984. О номинативном компоненте речевой деятельности // ВЯ. №4.
НИКИТИН М.В., 2007. Курс лингвистической семантики.
СЕРЕБРЕННИКОВ Б.А., 1988. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.
ЭПШТЕЙН М.Н., 2002. Дар слова. Проективный словарь русского языка. Сетевой проект, Выпуск от 4 /11/. <http://www.russ.ru/antolog/intelnet/dar0.html>.
ЭПШТЕЙН М.Н. Типы новых слов: Опыт классификации // Топос. Электронный журнал. Дата публикации статьи 15/12/2006
<http://www.topos.ru/article/5174#1>
WARSCHAUER M., GRIMES D., 2008. Audience, Authorship, and Artifact: The Emergent Semiotics of Web 2.0. // Annual Review of Applied Linguistics (2007) 27, 1–23. Cambridge University Press.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

Verbotomy: The create-a-word game // www.verbotomy.com

И. В. Толочин

COFFEE BEANS ON COFFEE TABLES: О КРИТЕРИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СЛОЖНОГО СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Вопрос о разграничении сложного слова и словосочетания в английском языке остается нерешенным до сих пор. Центральное место в этом вопросе занимают образования, включающие в себя две корневых основы и представляющие собой либо сочетание существительного с определяющим его словом, либо одно сложное слово. Отсутствие надежных общепризнанных критериев для однозначной морфологической трактовки таких образований в английском языке наглядно проявляется в словарях. Так, словарь Webster's New World (далее WNW) [Webster's New World Dictionary of the American Language, 1964] предлагает отдельную статью для слова *wastepaper*: *paper thrown away after use or as useless; also waste paper*. На этой же странице сочетание *waste paper* предлагается в качестве примера в словарной статье, описывающей слово *waste*, в разделе *waste* — прилагательное: 2. *left over, superfluous, refuse, or no longer in use: as, a waste product, waste paper*. Таких примеров много в различных словарях. Еще один характерный случай — противоречивая трактовка слова *in-patient* в словаре The Concise Oxford Dictionary (далее COD) [The Concise Oxford Dictionary of Current English, 1990]. Словарь предлагает отдельную словарную статью для существительного *in-patient*: *a patient who lives in hospital while under treatment*. Вместе с тем, это же сочетание с дефисом приводится как пример в словарной статье слова *in* — прилагательного: *adj. 1 internal; living in; inside (*in-patient*)*. Приведенные два примера — убедительное свидетельство наличия реальной проблемы в лингвистической теории, которая проявляется как сложность и противоречивость трактовки языкового материала.

В данной статье мы попытаемся предложить критерии для уточнения статуса таких единиц и сформулировать принципы для выработки таких критериев. В качестве примера мы обратимся к ряду образований, состоящих из словесного знака *coffee* и следующего за ним второго элемента, который может рассмат-

риваться как существительное: coffee bean, coffee plantation, coffee table (coffee-table), coffee pot (coffee-pot, coffeepot).

Уже простое перечисление этих образований показывает, что некоторые из них обладают неустойчивой графической формой, допускающей раздельное написание, написание через дефис и слитное написание. Графический критерий, таким образом, вряд ли можно принять как основу для определения морфологического статуса проблемных образований.

Словари также не дают возможности однозначного решения данной проблемы. Так, если словарь WNW предлагает для coffee-pot отдельную словарную статью, то в COD сочетание coffee-pot встречается только в дефиниции слова pot в качестве элемента дефиниции второго лексико-семантического варианта слова pot: **2a** a coffee-pot, flowerpot, glue-pot, jam-pot, teapot, etc. Это свидетельствует, скорее всего, о том, что составители данного словаря не склонны в принципе рассматривать образование coffee-pot в качестве отдельного слова английского языка.

Для того, чтобы определить, имеем ли мы дело в данных образованиях с сочетаниями двух слов или со сложными словами, нам необходимо выявить характер семантической связи между двумя знаками. Если мы можем установить, что знак coffee в рассматриваемых сочетаниях выступает в качестве обозначения свойства объекта, обозначаемого следующей за ним единицей, то мы можем сделать вывод о том, что перед нами словосочетание, состоящее из прилагательного (знака-свойства) и существительного (знака-объекта). При этом оба слова по отношению друг к другу выступают в качестве взаимоопределяющих элементов контекста. Если же мы окажемся не в состоянии установить данный характер семантического взаимодействия, то можно заключить, что мы имеем дело со сложным словом, состоящим из двух корневых основ и выступающим в языке в качестве обозначения отдельного элемента словесной ситуации, а именно, в качестве существительного (слова-объекта).

Для того, чтобы определить характер семантической связи между языковыми знаками, необходимо обратиться к конкретным случаям употребления данных образований в английском языке. Появление в последние десятилетия языковых корпусов открывает новые возможности для уточнения и систематизации

данных о семантической природе языковых знаков, благодаря относительной легкости, с которой система поиска в корпусе может выявлять заданную знаковую последовательность в различных сканированных текстах (устных и письменных). В данной статье мы постараемся продемонстрировать надежность и точность результатов обработки корпусных данных в сравнении с информацией о значении слов, предлагаемой традиционными словарями.

Для начала рассмотрим характерные примеры из Британского Национального Корпуса для выделенных нами сочетаний coffee bean/plantation/table/pot.

Для анализа сочетания coffee bean рассмотрим несколько примеров:

1. The best coffee beans are of the arabica type and are low in caffeine...
2. Raw coffee beans are green in colour and have no aroma.
3. Well roasted coffee beans are always brown
4. ... Kenco selects and blends only the finest coffee beans to give a superb coffee taste.
5. ... trying to grow caffeine-free coffee beans
6. ... the aroma of coffee beans
7. Try placing a vanilla pod or coffee bean under the grill just before the viewers arrive
8. Caffeine became a familiar component of all kinds of tonics ..., once it has been isolated from the coffee bean.

В данных примерах хорошо видна четкая семантическая определенность каждого из элементов рассматриваемого сочетания в структурировании словесной ситуации. Bean (beans) обозначает продукт растительного происхождения, а coffee выступает в качестве уточняющего его свойства знака. При этом, в словесном окружении во всех примерах выделяются маркеры основных семантических характеристик слова coffee, а именно caffeine, aroma, taste.

Особый интерес представляет последовательность a vanilla pod or coffee bean из примера 7. В нем особенно ярко проявляется семантическая автономность слов vanilla и coffee как прилагательных, обозначающих определенные ароматические характеристики, закрепленные в их корневых значениях. Даже не обра-

щаясь к более широкому контексту, можно легко восстановить структуру ситуации из словесной последовательности, приведенной под номером 7: людям, желающим продать дом рекомендуют перед приходом потенциальных покупателей создать в доме приятный аромат, связанный с гаммой положительных ощущений, которые в языке закреплены в полисемии знаков *vanilla* и *coffee* (*vanilla candles*, *vanilla cake*, *vanilla orchid*; *morning coffee fragrance*; etc.). WNW так определяет первый ЛСВ слова *coffee*-существительного: *an aromatic drink made from the roasted ... beanlike seeds...*. Появление прилагательного *aromatic* в дефиниции не случайно и, безусловно, удачно, так как оно фиксирует один из базовых компонентов семантической структуры словесного знака *coffee*, получающий поддержку в виде слов-маркеров в его ближайшем окружении при употреблении этого слова в конкретных высказываниях.

Наблюдение над сочетаниями *coffee beans* и *vanilla beans* в сходных контекстах даст нам возможность установить еще одну важную закономерность подобных сочетаний: в сходных контекстах смена прилагательного *coffee* на прилагательное *vanilla* отражается в структуре контекста за счет смены маркеров основных семантических характеристик, присущих данным словам. *Coffee (beans) — green, roast; vanilla (beans) — pricey, dried pods.* Примеры взяты из поисковой системы Google:

vanilla beans — those pricey, fragrant, dried seed-pods that offer ...

top quality Bourbon vanilla beans, the most popular variety of vanilla beans commercially available in the United States...

quality green coffee beans are essential to a quality roasting experience...

Таким образом, мы видим, что статус *coffee* как прилагательного в словосочетании *coffee bean* подтверждается связью между семантической структурой *coffee* и структурой контекста за пределами самого словосочетания.

Обратимся к сочетанию *coffee plantation (plantations)*:

9. Officials of Secafe, the Angolan coffee secretariat, announced in August plans to sell off all 33 state-owned coffee plantations.

10. He will be staying at a coffee plantation on the edge of town.

Пример 9 также является убедительным свидетельством в пользу трактовки элемента coffee в сочетании coffee plantation как отдельного слова, выступающего в качестве определителя свойств существительного plantation. В этом же примере существует и сочетание coffee secretariat. В обоих случаях в этом предложении мы имеем дело с одним и тем же прилагательным coffee, по отношению к которому существительные secretariat и plantation выступают в качестве семантических маркеров — ограничителей полисемии. В данных контекстах coffee реализует вариант, связанный с обозначением растительного продукта, получаемого в результате сельскохозяйственной деятельности, в то время как в структуре coffee bean реализуется обозначение характеристик этого продукта, связанных с возможностью получения определенного популярного напитка.

Рассмотрим сочетание coffee table. Мы обнаружили два графических варианта этого сочетания в Британском Национальном Корпусе. При этом, частотность раздельного написания почти в два раза превышает написание через дефис. Вот несколько характерных примеров:

11. If you cannot afford the coffee table then you cannot afford the book.

12. By far the best coffee table book is Golf Courses of the PGA European Tour

13. ... some net curtains, a coffee table and a picture on the wall above the mantelpiece.

14. A sleek, low coffee table

15. Now place the following furniture in the lounge: a 3 piece suite (settee 2m long, 2 chairs each 1m wide, stereo unit 1m long ..., coffee table 1m x 3/4m).

Первая интересная закономерность, которую следует отметить, состоит в том, что в отличие от сочетаний coffee bean и coffee plantation, в которых второй компонент бесспорно обладает всеми характеристиками существительного (at a ... plantation; from the ... bean; place a ... bean; etc.), в подавляющем большинстве употреблений coffee table (coffee-table), зафиксированных в корпусе, coffee table выступает в качестве определителя ограниченного ряда существительных. При этом менее частотная графическая форма coffee-table наиболее часто встречается именно

в такого рода контекстах: coffee-table book (так же как и coffee table book из примера 12), coffee-table production/volume/number (of a magazine);

coffee table funk и т.д.

Второе важное свойство всех выявленных контекстов состоит в том, что в них отсутствуют маркеры семантических характеристик корневого значения coffee, которые мы выделили при анализе контекстов предыдущих сочетаний coffee bean и coffee plantation. Действительно, наиболее частотным вариантом контекста для сочетания coffee table является ситуация, связанная с описанием обстановки в гостиной (chairs, curtains, sofas...) и книг или красочных журналов, выставляемых напоказ в этой комнате (coffee(-)table books/magazines/volumes... etc.). Значимые для корневого значения coffee характеристики (aroma, roast, green, grow, rich flavour, cup of, ... etc.) в принципе не наблюдаются в данных контекстах. И, наоборот, основные характеристики сочетания coffee table, которые фиксируются в словаре в виде дефиниций типа a small low table (COD), никак не связаны с набором семантических признаков, определяющих полноту значения знака coffee. Пример 11 особенно ярко показывает значимость семантического маркера book для содержательности всего сочетания coffee table. Подобного рода связь не выявляется у слова coffee или у рассмотренных выше сочетаний coffee bean и coffee plantation.

На основе проведенных наблюдений мы можем сделать вывод о том, что сочетание coffee table семантически отлично по своей структуре от уже рассмотренных coffee bean и coffee plantation. Судя по всему, coffee в сочетании coffee table не является прилагательным, определяющим свойства существительного table, состоящие в его особой связи с семантическими характеристиками слова coffee. Это корневая морфема, включенная в неделимое значение сложного слова. То есть, в сочетании coffee table корневая основа coffee взаимодействует исключительно с корневой морфемой table и вместе они образуют новое слово, которое обладает уникальной семантической структурой, проявляющейся в качественно новой природе контекста по отношению к обеим корневым морфемам, обеспечивающим его возникновение. В данном образовании знак coffee семантически ориентирован

исключительно на вторую корневую морфему и выступает в качестве элемента этимологической мотивировки нового сложного слова, утрачивая непосредственную связь со словесным контекстом. Именно в связи с этим представляется неоправданным включение сочетаний coffee-table и coffee-table book (с дефиницией a large lavishly illustrated book) в словарную статью coffee, как это делает, например, словарь COD, так как мы имеем дело со сложным словом, обладающим своим целостным значением и нуждающимся в особом описании.

При обращении к сочетанию coffee pot (coffee-pot, coffeepot) мы, наоборот, обнаруживаем, что в данном сочетании coffee демонстрирует те же закономерности, что и в сочетаниях coffee bean и coffee plantation:

16. a spluttering espresso coffee-pot

17. ... helped himself from the coffee-pot on the table, then refilled Lucy's cup as well.

18. Putting the coffee-pot back on the primus to reheat the brew

19. setting the coffee pot on the stove

20. a steaming coffee pot.

Мы видим семантические маркеры spluttering, steaming, refill a cup, reheat the brew, set on the stove, связанные с корневым значением coffee и свидетельствующие о том, что coffee в рассматриваемом словосочетании выступает как слово-свойство (прилагательное) и в значительной степени связано не только со словом pot, но и с целым рядом других элементов словесной ситуации.

Предлагаемая методика контекстного анализа семантической структуры словесных знаков представляется нам многообещающей с точки зрения возможности уточнения не только границы между словом и словосочетанием в сложных случаях, подобных тем, которые мы кратко рассмотрели в данной статье, или предпочтительности способов написания таких сочетаний, но и для выявления и описания плана содержания словесных знаков вообще.

Методика описания словесного значения с опорой на семантические маркеры контекста основывается на признании того, что контекст является единственной материальной формой су-

ществования значения у слова. Мы можем выявить и зафиксировать у слова какую-либо семантическую характеристику только, если она существует в языковой практике как закрепленная в памяти носителей языка и воспроизводимая регулярно связь исследуемого слова с другими словами данной языковой системы. Появляющиеся в последние годы электронные языковые корпусы дают новые возможности для уточнения и улучшения словарных описаний словесных значений и являются убедительным свидетельством того, что положение о существовании у слов «свободных», существующих вне контекста значений является иллюзией, которая создает методологические преграды для системного понимания природы слова. Упорная вера в существование у слов значений, которые могут быть чем-то другим, кроме контекстуальных связей, дает нам многочисленные противоречия в лексикографических методиках и малопродуктивную теорию референции, представляющую собой курьезный парадокс и не способную, в частности, ответить на вопрос типа: Why are there not so many coffee tables in coffee places?

THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH, 1990. Oxford
WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY OF THE AMERICAN LANGUAGE,
1964. New York.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ю. П. Вышенская

КУРТУАЗНАЯ ТРАДИЦИЯ И ‘ГРОТЕСКНЫЙ’ РЕАЛИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

В последнее время наблюдается новая волна интереса к творческому наследию известного поэта английского Возрождения — Дж. Чосера, о чём свидетельствует появление ряда исследований достаточно широкой проблематики. Некоторые из них посвящены, в частности, изучению особенностей его стиля.

Общеизвестно, что характерные черты стиля Дж. Чосера формировались под влиянием французской литературной традиции, что обусловило наличие двух стилистических линий в его поэзии — куртуазной и натуралистической. Английский исследователь К. Кенон в работе, обращённой к собственно специфике стиля самого значимого произведения поэта ‘The Canterbury Tales’, отмечает, что в исследовательской среде было принято несколько преувеличивать значение французской традиции, что привело к сложностям при попытке решить вопрос о собственно авторской стилистической технике. Как правило, граница между французской и английской авторской стилистической техникой проводилась при помощи обращения к классической риторике, согласно положениям которой, стиль Дж. Чосера описывался с использованием двух терминов: ‘высокий’ и ‘низкий’ стиль. Однако подобное деление способствовало возникновению впечатления не только типового, но и качественного различия этих понятий. Данная проблема усложнилась ещё более из-за терминологической путаницы относительно терминов ‘инновация’ и ‘традиция’, что обусловило появление точки зрения, согласно которой ‘высокий’ стиль считался инновационным, а ‘низкий’ традиционным, соответственно, а также сделало практически невозможным выделение оригинальных черт стиля Дж. Чосера [Cannon, 2003: 242].

В качестве решения этой проблемы К. Кенон предлагает обратить внимание на то, что основа оригинальности чосеровского стиля строится на особенностях взаимодействия выделенных компонентов. По мнению учёного, стиль Чосера является собой их

сложную взаимосвязь, реализующуюся не в последовательном продвижении от одного конституирующего стилистического компонента к другому, но в их наложении друг на друга [Cannon, 2003: 243].

Отметим, что такой подход, базовым понятием которого является ‘переход’ или ‘изменение’ (‘transition’ или ‘change’), характерен для современных гуманитарных наук в целом. Так, итальянский антрополог С. Джелики отмечает, что данный термин, будучи по природе своей нейтральным, предполагает некое качественное изменение, направление вектора которого определяется принадлежностью исследователя к той или иной школе, его индивидуальными взглядами и воззрениями [Gelichi, 2002: 169].

Таким образом, стиль Дж. Чосера выкристаллизовался на основе, в том числе, французской литературно-стилистической традиции, являя собой принципиально качественно новый феномен.

За иллюстративным материалом можно обратиться к одному из рассказов, образующих цикл ‘рыцарских’ в поэме ‘The Canterbury Tales’, имеющий непосредственное отношение к куртуазной традиции в средневековой европейской литературе, — ‘The Squire’s Tale’. Обращение к тексту рассказа именно этого цикла не случайно, поскольку куртуазный рыцарский роман был одним из наиболее типичных жанров для времени Дж. Чосера. Полагают, что композиционно-сюжетная линия была заимствована поэтом из известного французского романа XIII-го в. ‘Lancelot’, одного из многих ‘артуровских’ романов и легенд того времени. Об известности этого произведения свидетельствует, например, факт его упоминания в “Божественной комедии” Данте. В отдельных работах высказываются предположения, что, возможно, ‘The Squire’s Tale’, незаконченный рассказ, задумывался по образцу собственно ‘артуровского’ романа [Burrow, 2003: 143].

Куртуазные мотивы чётко прослеживаются в построении особой пространственно-временной модели произведений куртуазной литературы, именуемой ‘куртуазным универсумом’, с характерной для него иллюзией реальности, достигаемой использованием реальных либо выдуманных географических названий [Muscatine, 1957: 245]. Топонимы *Sarray*, *Tartarye*, *Russye* в приводимом ниже примере — яркое тому подтверждение:

At Sarray, in the land of Tartarye,
There, dwelte a king, that werreyed Russye
[Chaucer, 1995: 418].

Помимо топонимов в тексте встречаются также имена героев сказаний и легенд о короле Артуре:

This strange knight
Salueth king and queen, and lordes alle.
With so heigh reverence and obeisaunce
As wel in speche as in contenaunce,
That Gawain, with his olde curteisysse,
Though he were come again out of Fairye,
Ne coude him amende with a word
[Chaucer, 1995: 420].

Данный текстовый фрагмент представляет сложную цепочку стилистических приёмов. Герой рассказа сравнивается с одним из рыцарей Круглого стола, имя которого, *Gawain*, используется в своём пост-антропонимическом значении, преобразовываясь в метафорическое обозначение высшей степени благородства и учтивости. Примечательно сочетание имени рыцаря с названием волшебной страны *Fairyе*, что возможно рассматривать как эвфемистическое обозначение царства мёртвых. Кроме того, описание персонажа выполнено в типичной для куртуазной литературы скучой формульной манере, согласно которой основное внимание уделяется соответствуя качествам, предписываемым рыцарским кодексом: *reverence and obeisaunce, curteisysse*. Однако прекрасные духовные качества персонажа находят отражение и в его внешнем облике, о чём свидетельствует лексема-доминанта *contenaunce* как часть сравнительного оборота *as wel in speche as in contenaunce*.

Аналогичную функцию выполняет и имя другого рыцаря — Launcelot сэра Ланселота, возлюбленного королевы Гвиневеры:

Who coude telle yow the forme of daunces..?
No man but Launcelot, and he is deed
[Chaucer, 1995: 425].

При анализе куртуазных элементов следует учитывать, что сама куртуазная литература имеет глубокие фольклорные корни, проявляющиеся в использовании древних языческих мотивов, как, например, понимание языка птиц и зверей, о чём свидетельствует приводимый ниже пример:

The virtu of the ring ...
 Is this ...
 Ther is no foul that fleeth under the hevene
 That she ne shal wel understande his stevene
 [Chaucer, 1995: 411].

Как отмечает Ж. Ле Гофф, один из крупнейших медиевистов современности, ментальная модель эпохи Средневековья имела в своей основе оппозицию двух противоположностей: добра и зла, а это нашло отражение в литературе и искусстве той эпохи в виде разнообразия сюжетных линий о ‘поисках за пределами обманчивой земной реальности того, что за ней скрывалось ... — потаённой истины’ [Ле Гофф, 2005: 415]. Одним из таких популярных литературных сюжетов в куртуазных рыцарских романах является мотив сна (известный мотив ‘дальней любви’), называемый Ж. Ле Гоффом ‘интригой духовной жизни’ [Ле Гофф, 2005: 415].

Мотив сна имеет место и в цитируемом отрывке:

but it were Canacee;
 She was ful mesurable, as commen be.
 And slepte hir firste sleep, and thane awook.
 For swich a joye she in hir herte took
 Both of hir queynte ring and hir mirrour...
 [Chaucer, 1995: 427].

Canacee (Канака) — героиня рассказа видит во сне преподнесённые ей в подарок волшебные перстень и зеркало. В тексте поэмы не даётся описания сна принцессы, однако её видения важны для композиционно-сюжетного развития, поскольку, проследовав в лес, она встречается с самкой сокола, рассказ которой, по сути, и составляет вторую часть анализируемого рассказа.

Магическая средневековая ментальность находит отражение в ещё одном — символическом постижении окружающего мира, в частности, его цветовой составляющей. Общеизвестный факт приверженности средневековой эпохи к ярким цветам, которые в рамках средневековых теорий цвета воспринимались как источник красоты [Эко, 2004: 97]. Лексемы цветообозначений были зафиксированы и в тексте ‘The Squire’s Tale’:

And by hir beddes heed she made a mawe,
 And covered it with veluettes blewe,
 [Chaucer, 1995: 434].

Лексема *blewe* — цвет бархата, которым принцесса украшает клетку соколицы, допускает толкования различного характера. Выбор синего цвета не случаен, поскольку именно ему принадлежит приоритет в средневековой цветовой иерархии. Заняв в цветовой палитре доминирующее положение, начиная с XII-го в., синий цвет становится официальным цветом королей, одновременно обретая символическую ценность, поскольку с того времени он считается цветом Пресвятой Девы Марии [Брюнель-Лабришон, Дюамель-Амадо, 2003: 190]. Украсив клетку тканью синего цвета, принцесса, тем самым, воздаёт ей почести, достойные особы королевской крови, заслуженные страданиями и высокими нравственными качествами персонажа.

Как отмечалось выше, характерной особенностью стиля Дж. Чосера является умелое сочетание ‘высокого’ и ‘низкого’ стилей, что даёт некое новое качественное образование и наглядно демонстрируется в следующем примере:

The norice of digestioune, the slepe.
Gan on hem winke, and bad hem taken kepe,
That muchel drink and labour wolde han reste
His dremes shul nat been y-told for me;
Ful were hir hedes of fumositee,
That caused dreem, of which ther nis no charge...
[Chaucer, 1995: 425].

Представляется, что его анализ можно было бы произвести с учётом эстетической концепции, введённой М.М. Бахтиным в рамках теории карнавализации, именуемой им концепцией гротескного реализма. Данная концепция возникла на фольклорной почве, представляя собой видоизменённое на ренессансном этапе наследие народной смеховой культуры, построенное на принципе *à l'envers* (обратности) [Бахтин, 1965: 23]. Как следует из приведённого примера, сон героев — естественное состояние, не предполагающее и не требующее со стороны читателя какого-либо мистического толкования. Гастрономическую единицу *muchel drink*, свидетельствующую об обильности королевской трапезы, а также кулинарную лексику *swanes, heronsewes, deyntee*, упоминающуюся в других частях рассказа, можно рассматривать как разновидность пиршественных образов, тесно связанных, в свою очередь, с образом гротескного тела — центральных образов концепции гротескного реализма. Важность пиршественных обра-

зов обусловлена их стремлением к ‘изобилию и всенародности’, а одним из основополагающих проявлений жизни гротескного тела является акт поглощения пищи, поскольку именно таким образом осуществляется акт взаимодействия гротескного тела с окружающим миром. Наличие медицинского термина *digestioun*, невозможного для куртуазного стиля, но естественного для стиля Дж. Чосера как приметы стиля, имеющегося истоки в теории гротескного реализма, придаёт всему фрагменту некую ироническую высокопарность, объясняемую и ожидаемую в соответствии с принципом *à l'envers*.

Подводя итоги, можно отметить, что особенности стиля Дж. Чосера являются собой результат сложных переплетений и взаимодействий различных литературных и стилистических традиций и техник, сформировавшихся и существовавших в современной поэту культурной Европе, которые, безусловно, необходимо учитывать при анализе его произведений.

- БАХТИН М. М., 1965. Творчество Ф. Рабле и смеховая культура Средневековья и Ренессанса. М.
- БРЮНЕЛЬ-ЛАБРИШОН Ж., ДЮАМЕЛЬ-АМАДО К., 2003. Повседневная жизнь во времена трубадуров. М.
- ЛЕ ГОФФ Ж., 2005. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург.
- ЭКО У., 2004. Эволюция средневековой эстетики. СПб.
- BURROW J. A., 2003. The Canterbury Tales I: romance // The Cambridge Companion to Chaucer. Cambridge.
- CANNON C., 2003. Chaucer's Style // The Cambridge Companion to Chaucer. Cambridge.
- GELICHI S., 2002. The Cities // Italy in the Early Middle Ages. Oxford.
- MUSCATINE CH., 1957. Chaucer and the French Tradition. A Study in Style and Meaning. Berkley and Los Angeles.
- Список использованной художественной литературы
- CHAUCER G., 1995. The Canterbury Tales. London.

Н. А. Кобрина, Е. Е. Калинина

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРФЕКТНОЙ КАТЕГОРИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В настоящее время положение о том, что категория вида в английском языке сформировалась раньше категории времени, находит все больше сторонников. Глагольные виды, т. е. «формы, отличающиеся друг от друга характеристикой протекания действия во времени» [Ильиш, 1968: 40], существовали как в германских, так и в индо-европейских языках и явились основой, на которую наложилась впоследствии сетка временных форм. По мнению Б. А. Ильиша, в древнеанглийском языке существовал некий «результативный вид», который объединял планы прошедшего и настоящего времен, относя само действие к прошлому, а его результат — к настоящему [Ильиш, 1968: 41]. По имеющимся фактическим данным можно проследить связь данного вида с категорией перфекта, которая начинает формироваться с самого начала периода древнеанглийского языка и передает значение завершенности действия к определенному моменту времени (настоящего, прошедшего или будущего — в зависимости от формы).

Синтаксические сочетания глаголов *beon* и *habban* с причастием прошедшего времени (*beon* — с причастиями непереходных глаголов, *habban* — переходных) передавали одновременно и значение состояния (то, что Маслов Ю. С. называет «статальным перфектом» [Маслов, 1983]). Поскольку причастие было относительно независимым компонентом данной конструкции, существование такого значения представляется очевидным.

Показательна тенденция выбора самого глагола *habban*, который постепенно втягивал в орбиту влияния все больше глагольных форм, первоначально употреблявшихся с глаголом *beon*. Как считает Б. А. Ильиш, данный выбор является результатом своеобразного отражения в языке осмысления совершенного действия следующим образом: «субъект владеет предметом, которому присущ определенный признак, приобретенный в результате действия, произведенного над ним» [Ильиш, 1968: 133]. Следует отметить, что в древнеанглийском языке глагол *habban* облада-

ет сочетаемостью с прямым дополнением, благодаря чему буквально синтаксическая конструкция зарождавшегося перфекта может быть представлена как «иметь что-либо сделанным»: *hē hæf^P hine gefundenne* (= he has (possesses) him found) [Poutsma, 1926: 214]. Сложившееся вследствие этого значение обладания признаком совершенного действия вполне объяснимо и логично для древнеанглийского перфекта. Кроме того, лексическое значение *habban* подсказывает, почему первоначально данный глагол сочетался только с причастиями переходных глаголов.

Авторы, исследовавшие историю развития языка, утверждают, что в среднеанглийский период происходит грамматикализация синтаксического сочетания «*habban+Participle II*» [Ильиш Б. А., Иванова И. П., Смирницкий А. И.]. Глагол *habban* начинает терять смысловую связь с прямым дополнением еще в конце древнеанглийского, вследствие чего растет его сочетаемость с причастием II непереходных глаголов. Затем утрачивается согласование элементов конструкции, что приводит к превращению глагола «*have*» во вспомогательный (формальный) элемент.

Таким образом, значение состояния у формы перфекта переосмысляется в значение действия, само же действие в свою очередь соотносится с моментом речи. Б. А. Ильиш считает, что значение предшествования по отношению к действию для перфекта настоящего времени становится основным [Ильиш, 1968: 243].

По данным исследователей (Poutsma Н., Ильиш Б. А.), значение результата действия или состояния продолжает выражаться сочетанием «*be+Participle II* непереходного субъектного глагола», где глагол *be* выступает в качестве связки, а причастие имеет значение характеристики, подобной значению прилагательного, обозначающего состояние: «*Ye have come late — but ye are come!...*» [Poutsma, 1926: 216]. Данное сочетание в таком значении остается в среднеанглийском (с глаголом *be* образовывали форму перфекта глаголы движения), существует оно и в современном языке (*is gone*).

При трансформации значения перфектной формы (т.е. превращения статального перфекта в перфект действия) понятие актуальности результата действия для момента речи сохраняется, а следовательно, происходит развитие таксисного значения перфекта. Таким образом, формируется глагольная форма, выражая-

ющая сложную комбинацию видовых и временных значений и т.о. связанная с темпоральностью, аспектуальностью, таксисом [Кашкин, 1983: 4].

Является ли данная форма аналитической? Традиционно считается, что have утрачивает свое лексическое значение обладания и превращается во вспомогательный глагол. Таким образом, мы вслед за М. Я. Блохом могли бы признать перфект наиболее типичной в английском языке аналитической формой [Блох, 2005]. Тем не менее, внимательный взгляд на взаимодействие лексического значения глагола have и значения формы перфекта ставит под сомнение вопрос о категоричности и однозначности данного подхода. При осмыслиении лексического значения глагола have в терминах «личной сферы субъекта» [Архипов, 2008: 129], оно все еще позволяет и в наше время осуществить следующую интерпретацию значения перфектной формы: «высказывание типа I have done it следует понимать как «я имею это сделанным» (мною самим)» [Архипов, 2008: 131]. Подобная интерпретация важна с точки зрения субъекта действия: именно за счет включенности «признака совершенного действия в сферу агента» [Архипов, 2008: 132] происходит осмысление значения формы перфекта, как актуализирующей действие для субъекта и говорящего в момент речи. Таким образом, вероятность сохранения этой семьи значения в глаголе have в структуре перфекта английского языка кажется в таком понимании вполне допустимой.

Еще один важный вопрос, возникающий в процессе исследования формирования перфектной категории, касается потенциала и возможных путей ее развития в современном языке. Дело в том, что еще в 90е годы недавно ушедшего века в лингвистических кругах начались дискуссии о вероятном вытеснении перфекта из современной англоязычной речи (подробная информация по этому вопросу изложена в материалах международной конференции «Типология вида: проблемы, поиски, решения», состоявшейся 16–19 сентября 1997 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова). Поводом послужили, в частности, наблюдения за функционированием формы Present Perfect и все более частотным ее смешением с формами Present и Past Simple, когда последние употребляются с маркерами перфекта и наоборот:

Hey! You just stepped on my foot! [Миллер, 1998: 309]

I have been to Richmond **last Sunday** [Poutsma, 1926: 260].

Дж. Э. Миллер, приводя широкий круг фактического материала живой речи, приходит к выводу, что категория перфекта претерпевает на сегодняшний день серьезные изменения, сохранившись в своих классических значениях лишь в письменной речи. В устной разговорной речи границы между видо-временными формами становятся все менее четкими, например: употребление перфекта с маркерами Past Simple сближает его с претеритом. В результате у автора закономерно возникает вопрос о возможном исчезновении категории перфекта — о превращении перфекта в претерит [Миллер, 1998: 304–314].

К сожалению, рамки статьи не позволяют раскрыть вопрос об этапах эволюционирования перфекта во всей его многоплановости. В приведенном обзоре мы ограничились лишь наиболее общепринятыми в лингвистике на сегодняшний день суждениями о процессе формирования данной категории и некоторыми замечаниями о ее состоянии в современном английском языке, дающими пищу для дальнейших размышлений в данной области.

- АРХИПОВ И. К., 2008. Язык и языковая личность: Учебное пособие. СПб.
- БЛОХ М. Я., 2005. Теоретическая грамматика английского языка. — На англ.яз. М.
- ИВАНОВА И. П., 1961. Вид и время в современном английском языке. Л.
- ИВАНОВА И. П., ЧАХОЯН Л. П., 1978. История английского языка. М.
- ИЛЬИШ Б. А., 1968. История английского языка. М.
- КАШКИН В. Б., 1983. Аналитические образования с перфектным значением: Автореф. дис. на соис. ученой степени канд. филол. наук. Л.
- МАСЛОВ Ю. С., 1983. Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л.
- СМИРНИЦКИЙ А. И., 1965. История английского языка. Средний и Новый период. М.
- ТИПОЛОГИЯ ВИДА: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ, 1998.
- (ДЖ. Э. МИЛЛЕР. Материалы Международной научной конференции, 16 –19 сентября 1997 г.) М.
- POUTSMA H. A., 1926. Grammar of Late Modern English. Part II. Groningen.

O. H. Кузьменко

СИМВОЛИКА ЧИСЛА ДВА (на материале старофранцузского романа XIII в. “La Queste del Saint Graal”)

Символика числа два определяется тем, что это первое число, отделившее себя от Божественного единства, и отсюда такая связанная с ним характеристика, как дерзость [Холл, 2005: 156]. Возникшее расщепление означает смерть Единства, и поэтому двойка также символизирует грех, отклонение от первоначального блага, а тем самым указывает на преходящесть и подверженность порче [Рошаль, 2005: 27].

Дуальность — это главное свойство мира проявленного, являющегося в своих противоположностях: свет — тьма, добро — зло, жизнь — смерть и т.д.

Символика двойки, как и практически любого числа, не исчерпывается однозначной (только негативной или только позитивной) характеристикой, она наделена разными смысловыми оттенками.

Рассмотрим символику числа два на материале текста, посвященного проблеме духовного поиска, выразившегося в поиске Святого Грааля (прозаический роман XIII в. “La Queste del Saint Graal”). В этом тексте передаются эзотерические знания, зашифрованные во множестве символов: в цветах, растениях, животных, драгоценных камнях и, прежде всего, числах.

Единицы, составляющие двойку, могут рассматриваться либо как взятые в противопоставлении (полярные элементы), либо как взятые в единстве.

1. Как отмечает В.М. Рошаль, пара животных, даже разных видов, но с одинаковым символическим значением, символизирует *двойную силу* [Рошаль, 2005: 45]:

- Одному из рыцарей Круглого стола, Гектору, находящемуся в поисках Св.Грааля, но недостойному найти его из-за своей не преодоленной греховности, снится сон:

Car li ert avis qu’entre lui et Lancelot descendoient d’une chaiere et montoient sus deus granz chevaus [QSG, 149: 31–33].

Т.к. ему приснилось, что он и Ланцелот спустились с сидения и сели верхом на двух больших коней.

Встретившийся отшельник расшифровывает ему это сновидение следующим образом:

Vos montastes entre vos deus sus deus granz chevax, ce est en orgueil et en bobant, ce sont li dui cheval a l'anemi [QSG, 158: 6–8].

Вы поднялись верхом на двух больших коней, это гордыня и заносчивость, это два коня Сатаны.

В данном случае два порока взаимоусиливают друг друга, показывая Гектору, как далек он еще от совершенства, к которому стремится, и объясняя, почему тайна Граала окажется для него недоступной.

- Два льва, находящиеся на страже чего-либо, символизируют двойную силу и бдительность:

Cil fu si preudons come tu as oï quant tu trovas a la fontaine le cors de ton ayel que li dui lyon gardoient [QSG, 136: 16–18].

Он был отважным, как ты об этом слышал, когда нашел у источника тело твоего предка, охраняемое двумя львами.

Ne de cele part n'avoient cil de laienz garde, car il avoit adés dues lions qui gardoient l'entréie [QSG, 253: 6–7].

С этой стороны не было стражи, т. к. с другой стороны вход охраняли два льва.

В этом случае двойка не противопоставляет природу элементов, а усиливает ее качество.

2. Единицы, составляющие двойку, могут символизировать и полярные качества. Нередко символика двойки дополняется символикой составляющих ее элементов. Так, Парцифалю снится сон, что к нему приходят две женщины: одна, старая, верхом на змее; другая, молодая, верхом на льве:

Les deus dames ... estoient montees sus deus molt diverses bestes: car l'une estoit montee sus un lyon et l'autre sus un serpent [QSG, 97:1–4].

Две дамы ехали на двух очень разных животных: одна верхом на льве, а другая верхом на змее.

Встретившийся Парцифалю мудрец разъясняет ему смысл аллегорического видения:

Cele qui sor le lyon estoit montee senefie la Novele Loi. [...] et cele dame siet sor le lyon, ce est sor Jhesucrist, et cele dame si est Foi et Esperence et creance et baptesme [QSG, 101: 23–24, 28–30].

Та, что верхом на льве, означает Новый Завет ... эта дама сидит верхом на льве, т.е. на Иисусе Христе, эта дама — Вера, Надежда, доверие, крещение.

Cele dame a qui tu veis le serpent chevauchier, ce est la Synagogue, la premiere Loi. Et li serpenz qui la porte, ce est l'Ecriture mauvesement enrendue ... et li serpenz qui la porte ce est ypocrisie et heresie et inquietez et et pechié mortel, ce est li anemis meismes [QSG, 103: 4–9].

Та дама, что, как ты видел, ехала верхом на змее, — это Синагога, Ветхий Завет. А змея, на которой она едет, это Писание, плохо понятое, это лицемерие и ересь, и беспокойство, и смертный грех, это сам дьявол.

Силы добра и зла, воплощенные в данном случае в трактовке двух религиозных традиций, оспаривают друг у друга человека. Здесь в двойке заключено множество смыслов: полярность нравственных категорий, двойственность природы человека, противоборство сил и ситуация выбора.

- символизм полярных элементов может осложняться символизмом цвета. Богоуглу во сне являются две птицы: первая, похожая на белоснежного лебедя, в вторая — на черную ворону:

...devant lui venoient dui oisel dont li uns estoit si blans come cisne et ausi granz, et cisne resambleoit bien. Et li autres ert noirs a merveilles. Et il le resgardoit, si li sembloit une cornille; mes molt ert bele de la nerté qu'ele avoit [QSG, 170–171: 33–2].

... к нему направлялись две птицы, из которых одна была белая, как лебедь, и большая и очень походила на лебедя. А другая была необыкновенно черная. Он смотрел на нее, она показалась ему вороной, но прекрасной была ее чернота.

Каждая из птиц призывает Богоугла к служению ей. Не зная, что это значит, он склонен приписывать значение добра птице, похожей на лебедя (белый цвет традиционно символизирует чистоту), а значение греха — вороне (черный цвет). Но встретившийся ему аббат разъясняет истинный смысл этой дуады:

Par le noir oisel qui vos vent veoir doit len entendre Sainte Eglise, qui dist: «Je suis noire mes je suis bele: sachiez que mielz valt ma nerte que autrui blancheur ne fet». Par le blanc oisel qui avoit semblance de cisne doit les entendre l'anemi, et ci vos dirai coment. Li cisnes est blans par defors et noirs par dedenz, ce est li ypocrites... [QSG, 185: 27–32].

Под черной птицей, которую вы увидели, следует понимать Святую Церковь, которая сказала: «Я черна, но я прекрасна: знайте же, что большего стоит моя чернота, чем иная белизна». Под белой птицей, похожей на лебедя, следует понимать дьявола, и вам скажу, каким образом. Лебедь бел снаружи и че-рен внутри, это лицемер...

В данном случае урок, выраженный числом и цветом, таков: необходимо обладать не внешним, физическим зрением, а внутренним, духовным и уметь видеть за кажущейся очевидностью более глубокий смысл. Это призыв к духовной бдительности.

3. Двойка, отражающая две возможности, символизирует ситуацию нравственного выбора. Парцифаль остается без коня, которого убил сражающийся с ним рыцарь. Парцифаль не может догнать ускакавшего от него рыцаря, но в этот момент он видит другого рыцаря, ведущего под уздцы коня. Парцифаль просит одолжить ему этого коня, но рыцарь отказывается. Парцифаль оказывается перед сложным выбором: он не может ни упустить своего коня, ни отобрать чужого: *Car vilenie ne feroit il pas au valet; et s'il pert einsi le Chevalier qui s'en vet, il n'avra ja mes joie* [QSG, 89: 8–11]. Т.к. подло не смог бы он поступить по отношению к слуге; но если он из-за этого упустит рыцаря, который удаляется, никогда ему не будет радости.

Выбор здесь осуществляется между двумя этиками, оказавшимися в данном случае противопоставленными: рыцарской и христианской. На одной чаше весов оказывается стремление отстоять свою честь, как это полагается рыцарю, на другой — нежелание причинять незаслуженное зло человеку, смиренное принятие его правоты. Парцифаль выбирает второе, и это — возвышающий персонажа выбор.

4. Распад единства на две части символизирует нарушение целостности, которая может быть вновь обретена лишь благодаря духовной чистоте. Этот смысл заключает в себе эпизод с расколотым на две части мечом (*Espee Brisee*), который безуспешно пытаются восстановить Богорт и Парцифаль:

Boorz i mist la main por savoir s'il la porroit rejoindre; mes ce ne pot ester [QSG, 266: 24–26].

Богорт положил на него руку, чтобы понять, сможет ли он его соединить, но это оказалось невозможным.

Si prent (Perceval) l'espee einsi come ele estoit et ajoste les deus pieces ensemble; mes joindre nes puet en nule maniere [QSG, 266: 24–26].

Тогда берет (Парцифаль) меч таким, каким он был, и соединяет две части вместе, но никаким образом соединить его не смог.

Это удается лишь Галааду, дух которого обладает исцеляющим действием в его первичном значении — восстановление целостности того, на что он направляет свое воздействие:

Lors prent Galaad les dues pieces de l'espee et ajoste l'une a l'autre. Et maintenant reprennent les pieces si merveilleusement ... [QSG, 266: 29–31].

Тогда берет Галаад обе части меча и соединяет одну с другой. И теперь скрепляются обе части удивительным образом.

Это воспринимается рыцарями как знамение Божие (bel commencement lor a Dieux mostré — [QSG, 267: 1–2]). Этим мечом некогда была нанесена рана Иосифу Аримафейскому (собравшему в чашу кровь Христа), в результате чего меч и раскололся на две части. И искупить этот грех, приведший к распаду единства, мог лишь тот, кто сам обладал внутренней цельностью. Этим человеком и оказался Галаад — безупречный рыцарь.

Итак, основными символическими значениями числа два в проанализированном нами тексте являются:

1. Значения, связанные с полярностью, противопоставлением, дуальностью (проявление полярных качеств, ситуация выбора, нарушение целостности);

2. Значения, связанные с усилением качеств.

Безусловно, рассмотренные значения не исчерпывают всю возможную и богатейшую символику числа два.

РОШАЛЬ В. М., 2005, Энциклопедия символов, М.

ХОЛЛ М. П., 2005, Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии, М.

RIBARD J., 1984, Le Moyen Age. Littérature et symbolisme, Paris.

La Queste del Saint Graal publié par Albert Pauphilet, P., 2003 — QSG

A. E. Лукина

ФОНЕТИКО-ГРАФИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВО ФРАНЦУЗСКИХ РУКОПИСЯХ XIII–XIV ВЕКОВ

В истории французского языка неоднократно уделялось внимание изучению вариативности глагольных форм. Однако в изученных нами фундаментальных исследованиях по истории французского языка таких ученых, как М. А. Бородина, Н. А. Катающина, М. В. Сергиевский, Н. А. Шигаревская, В. Ф. Шишмарев, Ф. Брюно и Ш. Брюно (F. Brunot, Ch. Bruneau), П. Гиро (P. Guiraud), М. Коэн (M. Cohen), В. Манчак (W. Mańczak), Ж. Шоран (J. Chaurand), П. Фуше (P. Fouchë), мы не обнаружили, что именно понимается под таким явлением как вариант, каковы критерии выделения вариантов на различных языковых уровнях в диахроническом аспекте. Более того, исследователи ограничиваются лишь различными классификациями форм старофранцузского глагола, а их разнообразие связывают с диалектальной раздробленностью средневековой Франции.

Вариативность глагольных форм такие ученые, как М. А. Бородина, В. Ф. Шишмарев, В. Вартбург (W. Wartburg), А. Дармстетер (A. Darmesteter), П. Гиро (P. Guiraud), объясняют не только изменениями в морфологической структуре глагола в старофранцузском языке в процессе эволюции, но и в соответствии с положениями исторической диалектологии: употребление тех или иных глагольных форм связывается с их принадлежностью к определенному диалекту.

В свою очередь появление нового направления в лингвистике, получившего название скриптология, способствовало пересмотру многих положений истории французского языка, в частности, отказу от отождествления устной и письменной форм речи: скриптологи в рукописном тексте видят прежде всего отражение соответствующей письменной традиции, т. е. скрипты. Так, наличие графических вариантов в рукописях старофранцузского периода обусловлено, по мнению Л. А. Становой и Л. М. Скрепелиной, не особенностями диалектов как территориальной разновидности языка, а особенностями скрипта как региональных письменных традиций [Скреплина, Станская, 2001: 86].

В связи с этим мы считаем, что к изучению вариантных глагольных форм не стоит подходить однозначно, мы должны учитывать и тот факт, что наличие графических вариантов в старофранцузских текстах может быть обусловлено как диалектальной принадлежностью и связано таким образом с произношением и прочтением тех или иных форм, так и ориентацией скрибов на соответствующие графические системы, нормы региональных письменных традиций (скрипт). На основании этого мы предлагаем использовать термин «фонетико-графические варианты», поскольку материалом нашего исследования выступают именно рукописные тексты: рукописные варианты фаблио XIII–XIV веков.

Итак, под фонетико-графическими вариантами мы понимаем грамматически и лексически тождественные формы, но при этом различающиеся графически и, возможно, фонетически.

В ходе анализа нашего материала в зависимости от причин употребления разных фонетико-графических вариантов мы выделили два подтипа.

1.1. Фонетико-графические варианты, обусловленные использованием разных графических элементов, в том числе и букв, для обозначения одного и того же звука имеются в виду так называемые аллографы, например:

- *m / n*

В фаблио «О рыцаре, который заставлял говорить передки» (*Du chevalier qui fit les cons parler*), представленном четырьмя рукописями: Berlin, Hamilton 257 (C), P., B. N., f. fr. 837 (A), P., B.N., f.fr. 25545 (I), Londres, British Museum, Harley 2253 (M), мы встретили чередование графем *m / n*:

- *m / n* глагол *embourser*: *ont embourré* (C, 2) / *ont embourisé* (A, 2);

- *m / n* глагол *embracer*: *l'enbrace* (C, 405) / *l'brace* (A, 389).

Здесь графические варианты *m / n* свидетельствуют об употреблении звуков [n] и [m] перед билабиальными согласными [p] и [b]. Кроме того, и [m], и [n] являются носовыми согласными, что указывает на определенную общность в их произношении. В связи с этим в рукописях обнаруживается чередование в написании данных графем *m / n* для передачи одного, по мнению скрибов, звука.

Рассмотрим еще один пример, который мы встретили в фаблио «О рыцаре, который заставлял говорить передки» (*Du chevalier qui fit les cons parler*), представленном четырьмя рукописями. Для пикардской рукописи B.N., f.fr. 25545 (I) характерно чередование в написании графем «v» и «w», тогда как в других рукописях нормандской Berlin, Hamilton 257 (C), франсийской P., B. N., f. fr. 837 (A), англо-нормандской British Museum, Harley 2253 (M) подобного смешения не наблюдается:

- *v / w*
- глагол *voleir* (хотеть, желать): *veil* (C, 412, A, 396) *vueil* (M, 198), *veus* (I, 655) / *weul* (I, 566); *voussust* (I, 721,) / *woussist* (I, 561);

Известно, что скрибы изначально использовали латинский алфавит при создании рукописей, однако в ходе фонетических изменений, произошедших еще в вульгарной латыни и продолжавшихся в старофранцузский период, появление новых звуков, а также влияние других языков (в данном случае германских) способствовало тому, что алфавит стал расширяться и пополнился новыми буквами, например, буквой «w». В связи с этим сходство в произношении данных двух звуков [w] и [v], а также характерное влияние германских языков на старопикардский диалект, о чем обычно пишут историки французского языка, обусловили появление гиперкорректных форм, когда скрибы намеренно исправляли правильные формы на «неправильные», например, в презенсе глагола *voleir*, пришедшего еще из латинского языка, начальный согласный «v» заменялся на «w».

1.2. Фонетико-графические варианты, обусловленные использованием разных графических элементов для обозначения возможно разных звуков. Рассмотрим наиболее характерные встретившиеся нам случаи фонетико-графических вариантов данного типа.

- *ai / e*

В ходе изучения списков фаблио были выявлены случаи чередования написания графем «ai» и «e», например, в фаблио «Горожанка из Орлеана» (*De la bourgeoise d'Orléans*), зафиксированном в трех рукописях: P., B. N., f. fr. 837 (A) — франсийская рукопись, Berlin, Hamilton 257 (C) — нормандская рукопись, Berne, Bibl. de la Bourgeoisie 354 (B) — пикардская рукопись:

• *ai / e* глагол *faire* (делать): *fet* (C, A, 67) / *fait* (B, 67).

Необходимо отметить, что наш анализ показал регулярное чередование написания графем «*ai*» и «*e*» для всех списков фаблио, причем в основном чередование наблюдается между франсийскими, пикардскими и нормандскими скриптами. Так, весьма распространенные глаголы *faire*, *laisser*, *traire*, *taire*, *plaire*, употребляемые в различных временах и наклонениях, встретились нам в написании с графемой «*ai*» преимущественно в пикардских рукописях (Berne, Bibl. de la bourgeoisie, № 354; P., B. N., f. fr. № 12603; P., B. N., f. fr. № 19152; P., B. N., f. fr. № 25545; P., B. N., f. fr. № 2168; P., B. N., f. fr. № 12603, Version de Huon) — 85%, тогда как в написании с графемой «*e*» — большей частью во франсийских (P., B.N., f. fr. № 837; P., B. N., f. fr. 375) — 95%, англо-нормандских (Oxford, Bibl. Bodléienne, Digby 86; British Museum, Harley 2253 ; Clermont, Archives départementales du Puy-de-Dôme) — 85%, нормандских рукописях (Berlin, B. N., Hamilton № 257) — 95%.

В результате мы приходим к выводу о том, что во франсийских скриптах наблюдается в данном случае ориентация на диалект Иль-де-Франса поскольку, как утверждают историки французского языка, во франсийском диалекте процесс стяжения дифтонга [*ai > e*] завершился раньше, чем в других диалектах [Катагошина, 1957: 160, Скрелина, Становая, 2001: 104].

Что касается нормандской скрипты, то здесь вслед за другими исследователями мы усматриваем явное влияние франсийской скрипты. Л. А. Становая пишет о практическом отсутствии в нормандских скриптах региональных форм других диалектов, поэтому в действительности нормандские рукописи представляют франсийский язык, слегка окрашенный нормандскими формами [Становая, 1989: 67].

• *an / en*

Для списков фаблио характерно как смешение написания графем «*an*» и «*en*», так и регулярное написание для передачи предположительно разных звуков. Так, регулярное написание данных графем наблюдается в разных произведениях, представленных одной рукописью, тогда как смешение написания характерно для списков фаблио, зафиксированных в различных рукописях. Например, в фаблио «Мельник и два клирика» (Le

Meunier et les deux clercs), которые представлены двумя рукописями: *Bibliothique de la Bourgeoisie* 354 (B) (пикардская) и Berlin, Hamilton 257 (C) (нормандская), мы встречаем чередование написания графем «an» и «en»:

- *an / en* глагол *manger* (кушать): *mangier* (B, 19) / *mengier* (C, 19); глагол *entendre* (слышать): *antan* (B, 24) / *entent* (C, 22); глагол *prendre* (брать): *prandre* (B, 37) / *prendre* (C, 29); глагол *penser* (думать): *repansoit* (B, 235) / *se pense* (C, 227).

В фаблио «О рыцаре, который заставлял говорить передки» (*Du chevalier qui fit les cons parler*), представленном в четырех рукописях: P., B. N., f. fr. 837 (A), Berlin, Hamilton 257 (C), P., B. N., f. fr. 25545 (I), Londres, British Museum, Harley 2253 (M), мы обнаружили следующее чередование данных графем:

- *an / en* глагол *despendre* (расходовать, тратить): *ot despendu* (C, 38) / *a despenu* (A, 32) / *a despandu* (I, 26) / *velt despendre* (M, 27); глагол *penser* (думать): *pense* (C, 66) / *pensse* (A, 60) / *pance* (I, 58); глагол *sembler* (казаться): *resembloit* (C, 116) / *resambloient* (A, 110) / *sambloient* (I, 104); глагол *rendre* (отдавать): *rendues avez* (C, 195) / *rendues avez* (A, 199) / *randues avez* (I, 190); глагол *entendre* (слышать): *entendi* (C, 282) / *entendi* (A, 282) / *antandi* (I, 276).

Так, мы видим, что расхождения в написании графем наблюдаются преимущественно в списках фаблио, переданных различными скриптами. В основном для пикардских рукописей (B, I) характерно написание «ан», тогда как для нормандской (C) и франсийской (A) — написание «ен», что говорит о своего рода регулярности в передаче данных графем.

Однако наряду с этим в фаблио «О мяснике из Абевиля» (*Du Bouchier d’Abeville*), зафиксированном в пяти рукописных вариантах: P., B. N., f. fr. 2168 (H); P., B. N., f. fr. 837 (A); Chantilly, Condé 475 (T); Berlin, Hamilton 257 (C); Pavie, Aldini 219 (O), мы обнаружили смешение в написании рассматриваемых графем внутри одной рукописи:

- *an / en* глагол *sambler* (казаться): *sanles* (H, 146) / *samblez* (A, 146) / *sanbles* (T, 146) / *semblez* (C, 146) / *sambles* (O, 146); глагол *entrer* (входить): *entrent* (H, 155) / *sen antre* (T, 155).

Здесь мы встречаем уже в пикардской рукописи (H) написание глаголов *atendre*, *prendre* не через «ан», а через «ен». От-

метим, что вопрос о смешении «ан» и «ен» является непростым, поскольку в этом случае сложно говорить о фонетическом процессе — перехода [ɛ] > [ã], что связано, в первую очередь, с различием в произнесении данных звуков. Исследователи истории французского языка подчеркивают, что взаимозаменяемость графем «ан» и «ен» характерна для пикардской скрипты, частично (отдельные рукописи) для центрально-французских рукописей. Л. А. Становая, напротив, пишет о строгом разделении написаний «ен» и «ан» в пикардских скриптах, которое вызвано тем, что [ɛ] сохраняло свое качество, а не раскрывалось в [ã], как это произошло в других районах. Причем данные современного пикардского диалекта подтверждают различие назализованных [ɛ] и [ã] [Становая, 1989: 48].

В свою очередь мы обнаружили скорее регулярное смешение данных графем в изученных нами пикардских рукописях. Но подчеркнем, что смешение наблюдается между различными рукописями, в то время как внутри одной рукописи отмечается почти регулярное написание либо «ан», либо «ен». Так, для рукописи Р., B. N., f. fr. № 19152 характерно написание через «ен», а для рукописи Berne, Bibl. de la bourgeoisie, № 354 — «ан». На наш взгляд, подобное смешение может быть вызвано различными узусами скрибов, создававших эти две рукописи, которые в зависимости от своих нормативных установок систематически ориентировались в одном случае на написание через «ан», в другом — на написание через «ен».

В целом, пикардским рукописям свойственно в большей степени нерегулярное написание графем «ан» и «ен», что опять-таки указывает на смешанный характер скрипты и влияние франсийской скрипты, для которой преимущественно характерно разделение написаний «ан» и «ен».

Таким образом, наличие фонетико-графических вариантов в списках фаблио следует связывать, главным образом, с существованием письменных региональных традиций (скрипта), поскольку каждая скрипта в отдельности представляет собой особую метадиалектную графическую систему. При этом, как отмечает Т. А. Амирова, варианты написаний в рукописях — это одновременно и результат индивидуального творчества скрибов, и отражение некоей нормы (или субнормы), поскольку в скрипториях,

где создавались рукописи, существовала строгая графическая традиция, которой старались следовать [Амирова, 1985: 151].

Следовательно, гибридный характер скрипта (употребление францийских форм, региональных форм базового диалекта, региональных форм других диалектов старофранцузского языка, форм латинского, германских и других языков) объясняется их взаимопроникновением и взаимовлиянием. Так, скриб при переписывании рукописного текста фаблио постоянно находился перед выбором того или иного написания глагольной формы, той или иной графемы в составе глагольной единицы, ориентируясь при этом:

- 1) на письменные нормы скрипты, в рамках которой создавалась рукопись;
- 2) на фонетический принцип: на устные нормы произношения и прочтения с позиций того диалекта, на котором говорил он сам, а также с точки зрения других диалектов, в частности, базового францийского диалекта, оказывавшего неминуемое влияние на произносительные нормы других диалектов;
- 3) на свои личные индивидуальные предпочтения.

АМИРОВА Т. А., 1985. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. М.

КАТАГОЩИНА Н. А., 1957. К проблеме классификации старофранцузских диалектов // Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. Т. 11.

СКРЕЛИНА Л. М., СТАНОВАЯ Л. А., 2001. История французского языка. М.

СТАНОВАЯ Л. А., 1989. Скриптология. Ленинград.

POPE M.-K., 1934. From Latin to Modern French with Especial Consideration of Anglo-Norman : Phonology and Morphology. Manchester.

E. N. Михайлова

КОНСТАНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ В РЕНЕССАНСНЫХ ОПИСАНИЯХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Как известно, центральной проблемой европейской грамматики изначально была теория классов слов. Связано это, безусловно, со значимостью классификации как феномена, о чём пишет М. В. Никитин, отмечая, что категоризация, или классификация сущностей мира представляет собой важнейшую мыслительную операцию, необходимое условие систематизации мира в сознании [Никитин, 2004: 55]. За долгую историю существования грамматики ментальная операция категоризации мира языка получала разные решения не только в рамках разных научных парадигм, но и в рамках одной парадигмы. Ярким тому подтверждением является французская грамматическая традиция XVI в., ставшая начальным этапом в истории французской лингвистической мысли.

Анализ первых французских грамматик дает представление о многообразии путей категоризации мира родного языка с опорой на постулаты греко-латинского грамматического канона. Попытки гуманистов применить положения, выработанные на материале греческого и латинского языков, к французскому языковому материалу привели к значительным преобразованиям констант традиционной грамматики, причем наибольшее число этих преобразований затронуло глубинный, категориальный уровень грамматического описания. Интересным примером этого процесса служат изменения, внесенные гуманистами в трактовку категории рода. Рассмотрим, как соотносились античная и ренессансная традиции, какие факторы повлияли на неоднозначность описания категории рода, в какой мере этот процесс был связан с выработкой новых принципов грамматического анализа.

С одной стороны, многообразие трактовок категории рода во французских грамматиках XVI в. стало следствием принципа языкового релятивизма, согласно которому осмысление фактов «вульгарных» языков осуществлялось с опорой на факты языков классических, а их парадигмы строились по образцу канонических грамматик. При этом каждый автор искал опоры сво-

им теоретическим построениям в разных классических языках, получивших в среде гуманистов название «грамматических». Большинство гуманистов видели их в латыни, другие — в древнегреческом, третьи проводили аналогию родного языка с древнееврейским.

С другой стороны, противоречия в интерпретации категории рода были заложены уже в самой классической схеме-эталоне, на которую ориентировались гуманисты при написании французских грамматик. Остановимся на рассмотрении концепций, представленных в наиболее авторитетных латинских трудах, на которые была ориентирована французская традиция. Так, в «Искусстве грамматики» Доната парадигма имени представлена *мужским, женским, средним и общим* родом (*masculinum, femininum, neutrum, omnium*) [Donatus, 1981: 586–587, 619–620]. В трактате Присциана та же парадигма представлена уже семью родами: помимо уже перечисленных четырех в ней имеют место *обоюдный, единый и сомнительный* род (*ericoenūm, commīnum, dubium*) [Priscianus, III: 98–114]. Между этими родами в античной традиции существовала иерархическая зависимость, согласно которой мужской и женский род принято было относить к так называемым основным, поскольку они «проистекают от природы», прочие же трактовались как «проистекающие от основных», поскольку они связаны с узусом. Та же разветвленная парадигма рода представлена в известных руководствах по латинскому языку, написанных в XVI в., в частности, у Депотера, Коши и в некоторых элементарных латинских грамматиках. Лишь Линакр шел по пути ее сокращения, но, как замечает Л. Кукенем, последователей у него среди латинистов XVI в. практически не было [Kukenheim, 1951: 64].

Таким образом, классическая схема была не только хорошо известна в эпоху Возрождения, но и активно использовалась в практике преподавания латинского языка. Тем более неожиданным кажется, на первый взгляд, то, что французские грамматисты отошли от этой модели. Прежде всего обращает на себя внимание их стремление кардинально упростить традиционную схему, свести ее к бинарному противопоставлению: *мужской / женский род*. Именно оно и стало ведущим в подавляющем большинстве грамматик, включая педагогические и сопоставитель-

ные, которые отличались консервативностью в отношении сохранения внешних признаков канона.

Одной из причин отказа гуманистов от античной традиции было несоответствие планов выражения рода в латинском и французском языках. Другой причиной, способствовавшей утверждению бинарной оппозиции в описании категории рода во французских грамматиках, стало восходящее к Аристотелю общее понимание категории, согласно которому большинство свойств, с которыми сталкиваются люди, образуют пары [Аристотель, 1976: 76]. Немаловажную роль в пересмотре традиционных взглядов в данном вопросе сыграл и динамический характер французской языковой системы, проявлявший себя в речи через сосуществование вариантов форм, а в языке через выравнивание парадигмы рода.

Примечательно, что развивавшиеся синхронно ренессансная классическая и французская национальная традиции в описании категории рода шли разными путями. В то время как в грамматиках классических языков освещение данной категории представляло собой предмет чрезвычайно подробного изучения и описания, а сама теория рода была во многом близко связана со сколастической философией, то во французских грамматиках прослеживается освобождение от старой трактовки парадигмы рода, а ее описание всецело подчинено наблюдениям за узусом, на которых и строится новая парадигма. В этом подходе во всей полноте нашел отражение провозглашенный Л. Мегре принцип построения грамматики, в которой можно лишь наблюдать, принимать и организовывать (*observer, accepter et mettre en ordre*) [Meigret, 1550: 6].

Сущность деления имен по родам почти все авторы французских грамматик, как и в античности, соотносили с признаками биологического пола. При этом они не только исходили из постулатов традиционного знания, но и прибегали к принятым в ней аргументам для того, чтобы обосновать свою точку зрения о существовании во французском языке только двух родов. Так, Л. Мегре пишет, что язык, следуя за природой, отметил все имена отнесенностью к мужскому и женскому роду [Meigret, 1550: 37]. Ж. Гарнье объясняет наличие у французского имени только двух родов тем, что в природе третьего рода не существует [Garnier, 558: 6]. Аналогичные высказывания получили отражение

в это время не только в описаниях французского языка, но и в некоторых новых грамматиках латинского языка. В частности, у Санчеса речь идет о том, что с точки зрения «природного разума» (*ratio naturae*) существует только два рода — мужской и женский, и поскольку в природе третьего рода нет, то грамматический средний род есть ни что иное, как «отрицание мужского и женского» [Sanctius, 1582: 84]. По-своему развивал положение о «природных» и «фиктивных» родах в своих латинских грамматиках и П. де ла Раме [Ramus, 1559; Ramus, 1562; Ramus, 1564].

Бинарная оппозиция мужской / женский род тесным образом связана с понятием одушевленности, так как опора на биологический пол охватывает не все имена, а лишь одушевленные имена существительные. При этом под ход за рамками грамматического значения рода оказывается огромный пласт имен. Это, во-первых, имена существительные неодушевленные, во-вторых, имена прилагательные, в которых семантическое значение рода отсутствует, и, в-третьих, числительные, которые наряду с прилагательными традиционно входили в состав имени как части речи во всех ренессансных грамматиках.

В связи с тем, что род рассматривался в традиции французского Возрождения как словоизменительная категория, в грамматиках фиксировались парадигмы образования форм женского рода от форм мужского рода. При этом в сферу описания попадали как имена существительные, так и имена прилагательные (*roy / reine, bon / bonne*).

Формы, не имевшие противопоставления по родам, принято было относить к общему роду. В грамматической традиции XVI в. эта субкатегория рода выделялась далеко не всеми авторами. Ее мы встречаем, в частности, у Л. Мегре, Г. Мерье, Ж. Боске, Ш. Мопа. К формам так называемого общего рода причислялись как существительные, так и прилагательные, которые грамматисты называли родонеизменяемыми. Под общим родом каждый из названных авторов подразумевал разные классы имен, что было обусловлено сопоставлением форм общего рода, который они видели в родном языке, с разными субкатегориями рода, имевшими место в латинской грамматической традиции. В большинстве работ понятие общего рода включало в себя все то, что в

классической традиции стояло за рамками бинарной оппозиции мужской / женский род, т.е. то, что в ней принято было рассматривать как общий, единый и совместный род.

Л. Мегре был единственным из всех авторов XVI в., отождествившим общий род с так называемым сомнительным (*genus dubium*), описанным в свое время Присцианом. В латинской традиции к этому классу относили лишь существительные, которые в зависимости от формы рода изменяли и свое значение, например: *dies, diei; res, rei*. Пересмотрев содержание традиционных грамматик, Л. Мегре соотнес общий род с абстрактными существительными, которые употреблялись «как с артиклями мужского, так и с артиклями женского рода, своей формой не показывая на род: *lievre, lamproye*» [Meigret, 1550: 37]. Кроме того, Мегре пополнил список имен общего рода за счет неизменяемых по родам прилагательных: *louche, possible*, и т. п.

В связи с тем, что у некоторых неодушевленных существительных в XVI в. нормы в употреблении рода еще не стабилизировались, их также принято было относить к субкатегории общего рода. Более того, сюда же нередко относили и существительные, начинавшиеся с гласного, т.е. те, род которых было невозможно определить ни по значению, ни по форме, ни по детерминативам. Именно так представлена сущность общего рода у Ж.Боске и Г. Мерье. В грамматике Ш. Мопа к общему роду отнесены только неизменяемые по родам прилагательные и количественные числительные [Maupas, 1625: 75–76].

Одним из значимых отступлений от латинской традиции, сыгравших важную роль в становлении парадигмы французской грамматики в целом, стало исключение из описания имени *среднего рода*. Такие авторы, как Л. Мегре и Ж. Пилло, объяснение своему отступлению от латинской традиции искали в аналогии французского имени с греческим, Р. Этьен — с древнееврейским. Другие авторы, исходя из идеи латинского происхождения французского языка, а также из понимания исторической изменчивости языка, объясняли отсутствие форм среднего рода во французском языке тем, что со временем они слились с формами мужского рода. Первым из французских грамматистов такую точку зрения высказал Ж. Дюбуа. При этом он сохранил в своей работе средний род на периферии системы — для имен, обозна-

чавших названия деревьев. В дальнейшем идея о слиянии форм среднего рода с мужским получила отражение в грамматиках Ж. Дрозе, Р. Этьена, Ж. Массе, Ш. Мопа. Близка этой точке зрения и концепция А. Этьена, полагавшего, что средний род во французском языке есть, но он «смешан» с мужским [Estienne, 1565: 25-31; Estienne, 1582: 45-47].

При рассмотрении различных подходов к трактовке категории рода безусловной оригинальностью применительно к французской традиции XVI в. отличаются воззрения П. де ла Раме и А. Коши (A Cochier).

Концепция А. Коши интересна тем, что разные издания его грамматики отражают подвижность категориальной системы имени и свидетельствуют о поисках этим автором оптимальных путей описания французского узуса. В ходе этих поисков акциденция рода французского имени подверглась им неоднократному пересмотру, при этом в разных изданиях изменялось не только количество родов, выделяемых автором для класса имен, но и качественный состав данной категории. В первом издании своей французской грамматики (1570) А. Коши вывел для именной системы в целом четыре рода: *мужской, женский, общий и единый* (*masculinum, foemininum, communum et epicoenitum*), что было попыткой приложить к французскому языку с небольшим изменением схему, заимствованную из работы Доната. Однако невозможность полного применения полученной модели к средствам выражения рода французского имени вынудила грамматиста пересмотреть ее. Поэтому во втором издании (1576) он исключил из описания *общий* род, а в третьем (1586), напротив, его восстановил, но отказался от *единого* рода, к которому он, вслед за традицией, причислял имена существительные с немотивированным по форме или по значению родом. Таким образом, А. Коши стал одним из немногих авторов XVI в., включивших в систему описания французского имени *единый* род — даже такие явные традиционалисты, как Ж. Дюбуа, Ж. Гарнье, Ж. Боске, в данном вопросе отошли от латинской модели.

Причина разных подходов к описанию рода во французских грамматиках XVI в. кроется не столько в следовании традиции или отходе от нее, сколько в различии принципов, лежавших в основе трактовки категории рода разными авторами. В то время

как у подавляющего большинства авторов акциденция рода представлена в первую очередь как категория лексико-семантическая, А. Коши описывает ее как категорию лексико-грамматическую. Так, начиная главу, посвященную описанию рода имени в первом издании своей грамматики, он пишет: «Род определяется частью через значение, частью через окончание» [Cauchie, 1570: 53]. Далее грамматист выстраивает парадигмы, включающие «основные правила для безошибочного определения рода имени по значению». Эти парадигмы представлены лишь именами существительными (одушевленными и неодушевленными). Среди последних выделяются особые группы имен: названия деревьев и монет (мужского рода), названия фруктов (женского рода) [Cauchie, 1570: 53–54].

В то время как позиция А. Коши оказывается тесным образом связанной с исканиями общего концепта грамматики, позиция Рамуса представляет собой маргинальное явление в развитии грамматической мысли XVI в., что находит отражение и в трактовке категории рода. Именно род, согласно его точке зрения, является отличительной чертой класса имен: «Имя — это слово с числом и родом» [Ramus, 1559: 115; Ramus, 1564: 10 Bjj; Ramus, 1587: 69]. В его грамматиках род становится критерием, по которому очерчиваются границы имени как части речи, отделяющие его от других «слов с числом» — глаголов и причастий.

Другой чертой, отличающей учение Рамуса от воззрений его современников, является мысль, что изменяемость имен по родам присуща лишь прилагательным — существительные, как он пишет, по родам не изменяются: «Существительное есть слово с одним родом» [Ramus, 1587: 69]. Таким образом, отнесенность имени прилагательного к мужскому или женскому роду Рамус объясняет его способностью к согласованию с определяемым существительным, переводя тем самым категорию рода из разряда классификационных в согласовательные.

Эволюцию воззрений ученого на категорию рода можно проследить, сопоставив его французскую грамматику с написанными им ранее трудами по латинскому и греческому языкам. В них он занят решением проблемы разграничения логического и грамматического рода, в связи с чем он обращается к понятиям реального и словесного рода или, как он их называет, *природного*

и фиктивного (*genus naturale, genus fictum*) [Ramus, 1562: 9; Ramus, 1564: 10a-10bj; Ramus, 1581: 93]. Во французской грамматике он полностью отвлекается от рассмотрения «чистых значений и воображаемых сущностей» и тем самым доводит свой метод формального анализа до логического конца. Обращаясь к описанию родного языка, ученый подчеркивает, что система рода в нем (*ceste grammaire des genres*) существенным образом отличается от латинской. При этом он указывает на то, что многие заимствованные из латыни имена изменили не только свою форму, но и свой род, чтобы «никак не выделяться» среди французских имен [Ramus, 1587: 77].

Своеобразный итогисканиям ренессансной грамматической мысли представлен в грамматике Ш. Мопа. Пытаясь синтезировать принципы описания категории рода, получившие отражение в работах предшественников, он эксплицировал в своей работе зависимость данной категории как от значения, так и от формальных показателей. Общий род рассматривался им как признак неизменяемых прилагательных и всего класса чисительных (количественных и порядковых), в результате чего была нарушена симметрия в описании рода разных классов имен. Грамматист выделил несколько групп имен, изменивших или, напротив, сохранивших род латинских этимонов. При этом он особо указывал на методическую значимость обращения к латинско-французским соответствиям, которые служат для того, чтобы лучше понять принципы, лежащие в основе образования форм рода французских имен [Maupas, 1625: 75–88]. Развивая идеи предшественников, Ш. Мопа сумел подняться до нового уровня осмыслиния парадигмы рода, подготовив тем самым новый этап в развитии французской грамматики.

Как видим, с трактовкой категории рода во французских грамматиках XVI в. связан ряд существенных преобразований, внесенных гуманистами в традиционную схему описания классов слов. При этом нельзя не заметить справедливости замечания Е. С. Кубряковой о том, что возможность по-разному описать одно и то же явление не означает, что в этом описании не установлены объективные характеристики описываемого объекта и что исследователи не приблизились к пониманию истины [Кубрякова, 2004: 17]. Проведенный нами анализ показал, что, несмотря на

разнообразие подходов к трактовке категории рода как одной из констант традиционной грамматики, в лингвистическом сознании эпохи Возрождения постепенно вырабатывался единый стереотип грамматического описания, лишь в незначительной мере опиравшийся на классическую греко-латинскую модель.

- АРИСТОТЕЛЬ, 1976. Сочинения в 4-х томах. Том 1. М.
- КУБРЯКОВА Е. С., 2004. Язык и знание: На пути получения знания о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.
- НИКИТИН М. В., 2004. Развернутые тезисы о концептах // Вопросы когнитивной лингвистики. № 1.
- Ars Donati grammatici. 1981 // Holtz L. Donat et la tradition de l'enseignement grammatical. P.
- CAUCHIE Antoine (Caucius Antonius), 1570. Grammatica Gallica. Parisiis.
- CAUCHIE Antoine, 1586. Grammatica Gallica libri tres. Strasbourg.
- ESTIENNE Henri, 1582. Hipomneses de Gallica lingua. Genvae.
- ESTIENNE Robert, 1556. Traicté de la Grāmaire Francoise. Paris.
- GARNIER Jean, 1554. Institutio Galicae linguae. Genvae.
- KUKENHEIM L., 1951. Contribution a l'histoire de la grammaire grecque, latine et hébraïque a l'époque de la Renaissance. Leiden.
- MAUPAS Charles, 1625. Grammaire et Syntaxe Françoise (1607). Paris.
- MEIGRET Louis, 1980. Le trétté de la grammere françoëze. Paris, 1550. / Ed. établie par F.-J.Hausmann. Tübingen.
- PRISCIANUS, 1857. Institutionum Grammaticarum libri XVIII // Grammatici Latini, vol. III. Lipsiae.
- RAMUS Petrus, 1564 Grammatica (1559). Parisiis.
- RAMUS Petrus, 1559. Schola grammaticae. Parisiis.
- RAMUS Petrus, 1562. Grammatica Graeca (1559). Parisiis.
- RAMUS Petrus, 1587. Grammaire (1572). Paris.
- SANCTIUS Franciscus, 1587. Minerva seu de Causis linguae Latinae (1562). Salmanticae.

Н. А. Пузанова

ПРОБЛЕМЫ ГЛАГОЛЬНОЙ СИНОНИМИИ В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ (В ДИАХРОНИИ)

Проблема синонимии — одна из вечных проблем лингвистической семантики, не получивших общепринятого решения. Обычно это решение ищут на пути разграничения понятия и значения, рассматривая синонимы как слова, связанные с одним понятием, но различающиеся оттенками значения. Проблема синонимии тесно связана с проблемой многозначности. Следует отметить, что до настоящего времени остается невыясненным, что стоит за понятием «языковая система»; так при разграничении синонимов на языковые и речевые очень эти явления часто неоправданно рассматриваются как зеркальные. Попытки изучить функционирование слов-синонимов в речи в тот или иной период развития обычно носили противоречивый характер.

Очевидно, чтобы избежать подобных противоречий, причину сосуществования слов-синонимов нужно искать не в особенностях из речевого употребления, а на уровне системы языка, с помощью методики когнитивной лингвистики, и в частности понятия прототипа как некого обобщенного инвариантного образа предмета, принадлежащего некоторой категории. Можно предположить, что за каждой языковой формой стоит прототипический смысл или содержание, которое является системным значением формы. Благодаря этому инвариантному содержанию языковая единица (ЯЕ), по всей видимости, занимает определенное место в системе языка; окказиональные смыслы появляются в речи также на основе этого содержания.

Синонимика как раздел лексикологии, изучающий семантико-смысловую общность языковых единиц и их функционирование в речи, приобретает сегодня все большее значение. Синонимические средства современного английского языка рассматриваются в плане предметно-тематическом, сопоставительном, словообразовательном, исследуются особенности синонимов определенных грамматических разрядов. С точки зрения синонимических ресурсов языка изучаются отдельные произведения и творчество некоторых писателей. Однако традиционное изучение синонимии

в контексте не дает возможности определить пределы значений различных слов: многочисленность исследуемых контекстов снижает достоверность исследования.

Исходя из того, что при синонимии происходит переключение в значении знаков с одного содержательного аспекта на другой — а именно, переключение когнитивного содержания знака в план прагматического значения [Никитин, 1996: 452], целесообразно выявить условия, при которых имена могут приглушать различия в когнитивной семантике и переключать их в прагматический план. «Процесс синонимизации сопровождается обобщением когнитивного значения имени... и параллельно совершается переключение отсекаемой части в область эмоционально-оценочного содержания» [Никитин, 1996: 450–452].

Некоторые лингвисты соглашаются с точкой зрения о функционировании синонимов на уровне языка и речи: проводится различие между системными, устойчивыми, объективными фактами синонимии, присущими языковой системе, и окказиональными, субъективными или принятыми метафорическими употреблениями слов в речи. Так, В. Г. Вилюман считает, что язык воплощает всё традиционное, регистрируемое словарями, являющееся частью системы, а речь может пониматься как новаторство [Вилюман, 1980: 63]. Бытует и противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что синонимии как таковой нет. Так, В. А. Звегинцев считает, что, с позиции традиционной лингвистики, синонимии нет вообще [Звегинцев, 1963: 140].

Являясь одной из наиболее разработанных, теория лексической синонимии, по своей сути остается в значительной степени противоречивой. Вероятно, что для установления параллельного функционирования синонимических лексем в течение достаточно длительного времени необходимо отказаться от традиционных заблуждений о творческой роли контекста и исследовать синонимы на уровне системы языка, интуитивного знания в сознании, которые языковая личность оперирует в соответствии со своими замыслами. Именно данный подход к человеку и его языку постулирует когнитивная парадигма, которая установила новую проблематику и новые пути решения ставящихся проблем.

Появления когнитивного взгляда на систему языка и языковое значение послужило развитию прототипический семантики. От-

существие обобщенного лексического значения (в форме которого выступает ЛП) привела бы к чрезмерной перегрузке ментально-го лексикона говорящего. «...в памяти индивида просто не могут быть дискретно зафиксированы все варианты значений всех известных ему слов» [Брудный, 1971: 10]. Очевидно, системная информация о единицах языка хранится у человека в компактной, свернутой форме, а не в форме развернутых словарных де-финиций. Таким образом, представляется правомерной гипотеза, согласно которой в памяти индивида хранятся так называемые «содержательные ядра» как лексические прототипы значений многозначных слов.. Понятие «лексический прототип» (ЛП) мо-жет быть сформулировано как минимальный пучок коммуника-тивно-значимых абстрактных узуальных смыслов, включающий интегральные дифференциальные семантические компоненты, необходиимые для идентификации предмета. При этом «ближай-ший ЛП» равен номинативно-непроизводному значению, которое также требует формулировки на уровне обыденного сознания. А « дальнейший », основанный на компонентах абстрактного ха-рактера, складываясь с расширением семантической структуры конкретного слова, может использоваться как единая база семи-озиса, скрепляя частные значения в соответствии с интуицией носителей языка [Архипов, 1998: 123].

Можно предположить, что содержательные ядра — это струк-туры знания, представляющие лексемы в сознании человека на уровне системы языка, то есть они являются системными значе-ниями (СЗ), благодаря которым лексемы функционируют в язы-ке. Являясь семантическим центром значения лексемы, содер-жательное ядро объединяет все лексико-семантические варианты *употребления* слова в речи.

Применение концепции содержательного ядра к теории сино-нимии способствует успешному решению проблемы параллельно-го функционирования синонимов. Установление содержательных ядер синонимов может помочь определить «пределы» значений синонимов как относительно друг друга, так и по отношению к другим лексемам в языке, и дать, т.о., лексической единице право на существование в системе языка.

Решая проблему синонимии, нельзя избежать осмысления от-ношений омонимии, которые органично связаны с другими от-

ношениями лексических единиц в словарном составе, хотя синонимия — это явление наиболее отдаленное от омонимии. Теория конфликта омонимов имеет важное значение для понимания становления синонимии, так как большинство омонимов, как правило, имеют синонимы. Место большинства исчезнувших омонимов в английском языке заменяют французские или скандинавские заимствования. Они находятся в отношениях синонимии друг с другом и с сохранившимися исконными глаголами. Рассмотрение истории взаимодействия глаголов-омонимов с синонимами в диахроническом аспекте вплоть до современного периода позволяет создать целостную картину возникновения, становления и разрешения омонимии между некоторыми глаголами английского языка наряду с проблемой становления синонимии. Данный процесс является характерным для большинства глаголов-омонимов. В результате большинство глаголов исчезают из языка. Разрешение омонимии, таким образом, способствует становлению синонимических рядов. Конфликт омонимов позволяет выявить лингвистические причины становления заимствований. Применительно к лексическому материалу весьма полезно рассмотреть не только пути его проникновения в язык-реципиент, но и взаимодействие заимствованных слов и системы языка-реципиента. Процесс ассимиляции заимствований в язык реципиент является важной проблемой. В. Н. Ярцева отмечает, что важно рассмотреть, как при внедрении новых лексем изменяется семантическая структура словаря, адаптирующая иноязычные выражения, как создаются новые терминологические сферы, перестраиваются и развиваются синонимические ряды [Ярцева, 1985: 356]. Освоению заимствованного слова способствует его включение в систему семантических связей с другими словами из языка-реципиента, а именно в интересующие нас синонимические связи. Наличие синонимических связей может вести к изменению первоначального значения заимствованного слова, что уже является особым свидетельством освоения. В английском языке омонимы, как правило, вступают в синонимические связи с французскими и скандинавскими словами. В данном случае, на наш взгляд, важным для ассимиляции иноязычного слова является, во-первых, объем семантической структуры слова, а во-вторых, характер связей значений. Хотя синонимы по отношению к омонимам

имеют важное преимущество — уникальность формы, ведущим является семантический аспект, т.к. он направляет и определяет освоение слова во всех отношениях. Заимствование становится возможным при определенном взаимодействии одного языка с другими, в результате чего: 1) исключно английское слово вытеснялось французским; 2) заимствованное слово со временем исчезало; 3) происходила дифференциация значений, конкурирующих синонимов. Последний фактор в наибольшей степени был источником семантического развития и обогащения словаря.

Рассмотрим механизм взаимодействия на примере: *lien-1 «лежать»*, *lien-2 «лгать»*, *lien-3 «готовить»*.

Глаголы *lien-1 «лежать»* и *lien-2 «лгать»* имели сильную позицию. Это объясняется различием их понятийных сфер (*lien-1 «лежать»* принадлежит к материальной сфере, а *lien-2 «лгать»* — к мыслительной), а также многозначностью глагола *lien-1 «лежать»* (12 значений). Все значения этого глагола были узкими и дополняли друг друга, полностью покрывая семантическое пространство значения «лежать, находиться». Согласно сведениям Вебстера, у глагола *lien-1* немногих синонимов, но, безусловно, он может быть заменен на глагол *to be*, который является глаголом-связкой и имеет значение «быть, находиться», поскольку глагол *lien-1* имеет достаточно широкое значение, приближающееся к *to be* (*exit*). Следует отметить еще один фактор, определивший сильную позицию глагола *lien-1 «лежать»*: практически во всех своих значениях он требует употребления предлогов, так как его семантика подразумевает локализацию в пространстве и времени.

Омоним *lien-2 «лгать»* не является многозначным, но его значения достаточно определенные и связаны друг с другом: 1. *to tell a lie, speak falsely, deceive*; 2. *to be false to smb., betray, deceive*; 3. *to be mistaken*. Глагол *lien-2 «лгать»* имел в среднеанглийский период ряд синонимов: *deceive* «обманывать», *mislead* «вводить в заблуждение», *triken* «дурачить». Хотя все синонимы имели общий компонент значения «говорить неправду», их закреплению способствовало различие оттенков и интенсивности значений: *to lie* является наиболее прямым выражением значения «говорить неправду». *Lien-2 «лгать»* предполагает наличие бенефицианта, на которого направлено действие, поэтому глагол *to lien-2* употребляется лишь с предлогами направления, в то время как *lien-1 «лежать»* употреб-.

ляется с локативными и темпоральными предлогами. Следовательно, фактор подобных различий «разводит» эти глаголы по разным понятийным сферам, помогая им закрепиться в языке.

Глагол-омоним *lien-3* «готовить» исчезает из языка. Вероятно, этот глагол не выдержал конкуренции с существовавшим в среднеанглийский период специализированным глаголом союк «готовить».

В английском языке, несомненно, существует еще один фактор разрешения омонимии — морфологический. Так, если неправильный глагол *to lie* «лежать» имеет формы (*lay-lain*), *to lie* «лгать» является правильным (*lie-lied-lied*). Данный синонимический ряд дошел до современного периода. Он представлен следующим глаголами: *lie* — 1, *lie* — 2, *deceive*, *mislead*, *trick*, *cheat*.

Завершая статью, посвящённую проблеме синонимии, представляется важным акцентировать внимание на содержательном ядре (СЯ) как максимальному экономному способе хранения в долговременной памяти информации о наиболее существенных характеристиках слова, на основе которых формируется все его речевые лексико-семантические варианты. СЯ представляет собой минимально необходимый набор интегральных и дифференциальных признаков, связанных с образом формы, и достаточных для идентификации предмета мысли [Архипов, 2003]. Вместе с тем, очевидно, что интегральные, и дифференцированные признаки глагольной лексемы называют целую ситуацию или событие со свойственным им специфическим взаимоотношениями между предметами, участвующими в этой ситуации или событии [Уфимцева, 2002; Никитин, 2003 и др.]. При анализе смысловых структур слов их номинативно-непроизводные значения (ННЗ) считаются наиболее важными. Традиционно полагают, что значения многозначного слова формируются на основе ННЗ, которые достаточны для идентификации обозначаемого ими «фрагмента действительности» [Уфимцева, 2002: 23]. Когнитивная лингвистика также признает важность ННЗ, поскольку ННЗ часто выступает первой неосознанной реакцией на форму слова. Помимо этого ННЗ может выступать в качестве системного значения слова [Архипов, 2003: 140].

Первые ЛСВ лексем были в одиннадцати словарях, что дало возможность определить их ННЗ. Для выявления сем, образу-

ющих системные значения, на основе ННЗ были рассмотрены все ЛСВ выбранной группы глаголов. В результате проведенного семантического анализа функционирование глаголов в речи установлены следующие значения многозначных синонимов в виде совокупности интегрального и дифференциального признаков. Интегральные признаки всех рассмотренных многозначных синонимов *to lie*, *to mislead*, *to trick*, *to deceive* называют «*to present false information*». Вероятно, обязанность интегрального признака позволяет объединить эти слова в синонимический ряд. В то же время специфика дифференциальных признаков является «залогом» эффективного функционирования данных лексем в системе языка. Можно предложить, что полученные системные значения хранятся в долговременной памяти человека, и при необходимости он извлекает то системное значение, которые соответствует его замыслу, чтобы сформировать подходящий речевой ЛСВ. Таким образом, проблема синонимичности многозначных лексем разрешается, если сравнивать значения синонимов на уровне системы языка, где многозначность отсутствует.

Применительно к теории синонимии концепция содержательного ядра дает возможность решить проблему параллельного функционирования синонимии глаголов. Установление содержательных ядер синонимов поможет определить пределы их системных значений в системе языка, которые дают лексической единице право на существование в системе языка.

- АРХИПОВ И. К., 2003. Человеческий фактор в языке. СПб.
- БЕЛЯЕВА Е. П., 2001. Прототипическая база семантики английских глаголов: автореф. ... канд. дис. СПб.
- БРУДНЫЙ А. А., 1971. Значение слова и психология противопоставления // Семантическая структура слова. М.
- ВИЛЮМАН В. Г., 1980. Английская синонимика (введение в теорию синонимии и методику изучения синонимов). М.
- КУБРЯКОВА Е. С., 1981. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М.
- КУБРЯКОВА Е. С., 1992. Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // язык и структуры представления знаний. М.
- НИКИТИН М. В., 1988. Основы лингвистической теории значения. М.
- ПЕСИНА С. А., 1988. Лексический прототип в семантической структуре слова: автореф. дис... канд. филол. н. СПб.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Г. В. Елизарова

ОБ ОТЛИЧИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ ОТ КОММУНИКАЦИИ

Необходимость исследования сущности человеческого общения неизмеримо возросла в условиях, когда каналы передачи информации не только радикально изменились и превратились в виртуальные, но и продолжают непрерывно меняться в зависимости от потребностей времени и технологических возможностей.

Прежде чем приступить к анализу сущности общения, необходимо дать определение самому этому понятию как специальному явлению. Прежде всего, необходимо отметить, что в центре внимания автора статьи находится не любое общение, но общение межкультурное, то есть общение между носителями разных культур на одном или нескольких знакомых им языках. Второй исходный аспект анализа сводится к тому, что межкультурное общение, далее обозначаемое как МКО, не будет проанализировано всесторонне и исчерпывающим образом. Оно будет рассмотрено только:

- как явление, отличное от коммуникации,
- как частный случай общения межличностного,
- как явление, основанное на этноцентризме,

Тезис первый заключается в том, что *общение* понимается как *явление, отличное от коммуникации*. Во многих отечественных психологических исследованиях термины «общение» и «коммуникация» рассматриваются как равнозначные. Так, известный специалист в области преподавания иностранных языков С. Г. Тер-Минасова использует приведенные термины как синонимы: «Его Величество Общение (или Ее Величество Коммуникация) правит миром...» [Тер-Минасова, 2000: 9, Тер-Минасова, 1998] и в подкрепление такого содержательного наполнения терминов «коммуникация» и «общение» приводят примеры определения одного термина посредством использования другого из известных словарей: «Коммуникация — это акт общения между двумя и более индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц»,

«Коммуникация — сообщение, общение» [Тер-Минасова, 2000: 12].

Не разграничивают понятий «коммуникация» и «общение» и В. П. Фурманова, рассматривающая общение «вообще» (не межкультурное) в единстве трех характеристик, одна из которых «процесс передачи и приема информации» [Фурманова, 1994: 31], и А. А. Леонтьев, ставящий между ними знак равенства: «В самом общем смысле общение, или коммуникация — это...» [Леонтьев, 1984: 61]. Такому пониманию способствует перевод слова *communico* с латинского на русский, который дается в российских учебниках — «делаю общим, связываюсь, общаюсь» [Куницына, Казарина, Погольша, 2001: 44], а также словарные определения исследуемых понятий, ключевыми словами которых являются «обмен информацией» [Азимов, Щукин, 1999: 117, 193]. Аналогичной точки зрения на взаимоотношение явлений общения и коммуникации придерживаются Б. Ф. Ломов [Ломов, 1981: 7], И. А. Зимняя [Зимняя, 1997: 420], Н. Лебедева [Лебедева, 1999: 146], Е. И. Рогов [Рогов, 2001], К. Н. Хитрик [Хитрик, 2001] и др.

Известен и другой подход, в рамках которого разграничение понятий «общение» и «коммуникация» проводится, но делается это по критерию различия объемов их значений. Коммуникация рассматривается как одна из составляющих общения наряду с взаимовоздействием и взаимовлиянием людей друг на друга [Парыгин, 1999: 59; Каган, 1988: 148–149].

В настоящей статье разграничение описываемых понятий производится по содержательному критерию, на основании понимания их сущности, их природы. Дело в том, что какой бы смысл не вкладывался в термин «коммуникация», какая бы модель коммуникации не предлагалась (информационная или обобщающая, линейная, интерактивная, трансакционная), во всех случаях эксплицитно или имплицитно в процесс коммуникации, как вербальной, так и невербальной, входит идея общего для ее участников *кода*, при помощи которого осуществляется передача сообщения от отправителя к получателю (линейная модель), обратная связь получателя с отправителем (интерактивная модель) или одновременное получение и отправление сообщений (трансакционная модель).

В таком понимании в ходе межличностной коммуникации «происходит *перемещение* представлений, идей, знаний, настроений... от одного субъекта к другому» [курсив наш. — Г. Е.; Куницына и др., 2001: 44]. Это означает, что в обобщенном смысле коммуникация всегда и традиционно понимается, как транзакция, предполагающая наличие

- источника сообщения,
- собственно сообщения,
- приемника сообщения,
- канала передачи,
- некоторых шумов (помех)

• и главное — *общей* сигнальной системы: разделяемой и отправителем и получателем *системы значений* тех знаков, которыми они оперируют, для кодирования и декодирования сообщения [Бергельсон, 1999: 26], или «совпадения системы социальных и индивидуальных значений» общающихся [Парыгин, 1999: 181].

Не составляет исключения и коммуникация межличностная, предполагающая «процесс переработки и передачи информации между партнерами по общению; ситуации, в которых один человек делает что-то для другого, а другой делает что-либо в ответ; взаимодействие, опосредованное символами; процесс намеренного или случайного обмена сообщениями между двумя или несколькими партнерами; взаимодействие между коммуникантами, которые имеют возможность... осуществлять обратную связь» [Куницына и др., 2001: 44]; [Психолого-педагогические аспекты преподавания ин. языков в ВШ, 1998: 47–48].

В приведенном понимании *наличие единой* или *единообразной системы значений* является ключевым компонентом для осуществления процесса коммуникации, как вербальной, так и невербальной. Такое положение совершенно справедливо, если речь идет о технических сигнальных системах, таких как азбука Морзе, или о сигнальной системе единого для участников коммуникации родного языка. Однако если говорить о функционировании языка иностранного, то следует признать, что, несмотря на общность кода — одного и того же языка — система значений, по крайней мере, в аспекте их культурного компонента, будет принципиально различной для его носителя и для того, кто использует язык в качестве иностранного. В таком случае ком-

муникация на иностранном языке может приводить к «эффекту смысловых ножниц» [Дридзе, 1980: 181], как к «общению, так и разобщению» [Фурманова, 1994: 7]. В этом аспекте явление, которое мы называем (межкультурным) общением, отличается от коммуникации.

В ходе межкультурного общения происходит не передача значения, а его создание. МКО — это процесс, в результате которого собеседниками *создается* нечто общее, а именно, единообразное значение речевых действий, совершаемых поступков, происходящих событий. Такое понимание близко интерпретации Ю. М. Лотманом второго (в его системе) вида коммуникации, в ходе которого происходит возрастание информации, ее трансформация, переформулировка в других категориях [Лотман, 1992: 84], а также трактовке общения М. С. Каганом в тех случаях, когда он определяет общение как «процесс выработки новой информации для общающихся людей и рождения их общности» [Каган, 1988: 149], равно как и пониманию общения Е. И. Пассовым, когда он говорит, что «“столкновение” двух позиций порождает нечто новое — новые знания, мысли, чувства, новую интенцию...» [Пассов, 1991: 9]. Именно в таком плане мы понимаем МКО: как процесс совместной выработки единого, скорее всего нового для всех участников акта общения, значения всех производимых и воспринимаемых действий и их мотивов. Только такое общение может способствовать «рождению общности» участников, понимаемой как специфическая общность межкультурных коммуникантов (медиаторов культур), характеризующаяся уникальным восприятием действительности через двойную или тройную призму нескольких культур одновременно. В этом и состоит качественное отличие МКО от коммуникации в традиционном смысле последнего термина.

Специфика МКО, заключающаяся в создании общего значения, имплицирует следующую отличительную черту этого вида общения, его контактный характер [Zanger, 1993]. Создание общего значения по определению невозможно опосредованным путем при помощи средств массовой информации или искусства, поскольку требует совместной деятельности и наличия обратной связи. Следовательно, *МКО* представляет собой *разновидность общения межличностного*. Последнее определяется как «осу-

ществляемое с помощью средств речевого и неречевого воздействия, как взаимодействие между несколькими людьми...». «Оно удовлетворяет следующим критериям: в нем участвует *небольшое число людей* (чаще всего группа из 2–3 человек); это *непосредственное взаимодействие...*; это *личностно-ориентированное общение...*» [курсив авторов источника, Куницына и др., 2001: 12]. Именно к такому общению, в отличие от межгруппового общения или общения социального, такого как чтение лекций или выступления в средствах массовой информации, мы должны в первую очередь подготовить студентов в процессе обучения иностранному языку, к общению с конкретными людьми, принадлежащими другой культуре, на бытовом и/или деловом уровне.

Вместе с тем МКО не тождественно межличностному общению в родной культуре. Прежде всего, необходимо отметить специфику обратной связи. При МКО «активная обратная связь» присутствует далеко не всегда, и многие компоненты взаимодействия остаются имплицитными. Субъект общения не всегда получает непосредственную реакцию участников акта общения на собственное поведение. При общении двух или трех человек, принадлежащих к различным культурам, наблюдаемые действия могут обладать значением для одного участника общения и быть лишенными какого-либо значения — для другого. Такое положение дел совершенно естественно, поскольку каждый из носителей различных культур вступает в МКО с базой собственных осознаваемых или бессознательных представлений, как о значении различных поступков, действий (речевых и неречевых), событий, ситуаций и т. д., являющихся предметом и содержанием общения, так и о значении собственно общения как взаимодействия, о значении его формальных, структурных характеристик.

Еще одно отличие МКО от межличностного общения кроется в том, что второй из анализируемых видов общения является культурно-обусловленным. Его принципы, модели и стили различны в различных культурах. Отечественные психологи классифицируют стили межличностного общения по разным основаниям. Например, *по цели* стили подразделяются на инструментальный, направленный на достижение цели в результате общения, и аффективный, направленный на установление отношений [Куницына и др., 2001: 430], или ритуальный, манипулятивный и

гуманистический [Крижанская, Третьяков, 1999]; по степени вербальной выраженности целевой установки и собственной позиции — на прямой и непрямой стили; по степени использования экспрессивных средств и языка — на искусный (вычурный), точный и сжатый [Куницына и др., 2001: 430–431]. Кроме того, общение может классифицироваться по количеству участников на индивидуальное и массовое, по местоположению на контактное и дистантное [Кудрявцева, Пухаева, 1997] и т. д. Как видно из самой терминологии, не только природа и стили межличностного общения, но и их анализ связан с культурными ценностями. То, что отечественными учеными квалифицируется как «вычурность», воспринимается как норма в тех культурах, для которых такой стиль общения является единственным известным и, соответственно, естественным. С точки зрения исследователей — носителей других культур, «точный» стиль в терминологии наших ученых получит название «грубого» в терминологии ученых, придерживающихся «вычурного» стиля общения, а «вычурный» будет квалифицироваться как «оптимальный».

Если использовать модель сопоставительного анализа стилей общения, предложенную Э. Стюартом и М. Беннетом в их работе «American Cultural Patterns» [Stewart, Bennet, 1991: 165] и применить ее к анализу стилей общения, распространенных в американской и российской культурах, можно прогнозировать, что характерная для русских манера высказывания, связанная с большим количеством культурно-окрашенных импликаций, будет восприниматься американцами как туманная, расплывчатая, нечеткая, ведущая к трудностям понимания, что и подтверждается практикой. В свою очередь, прямолинейная манера общения американцев иногда воспринимается носителями российской культуры как грубая, примитивная, свидетельствующая об отсутствии метафорического мышления [Этнокультурная специфика языкового сознания, 1996: 104–105].

Если стиль речи не корректируется с целью создания общего, разделяемого всеми участниками общения значения высказываний, нарастание негативных оценок идет по «регрессивной спирали» [Stewart, Bennett, 1991] и расплывчатость постепенно превращается в отговорки, обман и нечестность, а грубость — в нахальство, наглость и, в конце концов, в оскорбительность ма-

неры поведения. В задачи настоящей статьи не входит исследование конкретных стилей общения. Ее содержание сосредоточено на анализе особенностей МКО как особого вида общения, отличного от коммуникации.

Перечисленные различия между межличностным общением в рамках родной культуры и МКО исключительно важны, однако главное отличие МКО от типизированного межличностного общения заключается в функциональных особенностях анализируемых явлений. Дело в том, что многообразные функции межличностного общения в родной культуре (контактная, информационная, побудительная, эмотивная, функция установления отношений, функция оказания влияния и др.) являются равноправными, различающимися только по характеру и целям [Куницына и др., 2001: 14–15].

В процессе МКО функции организованы иерархично. Главенствующей является «функция понимания — адекватное восприятие и понимание смысла сообщения, и взаимное понимание намерений, установок, переживаний, состояний» [там же: 15]. Никакого контакта между носителями различных культур не может быть установлено, если воспринимающий не понимает, не распознает посылаемый сигнал как направленный на установление контакта, на осуществление контактной функции общения. Например, в американской культуре вопрос «How are you doing today?» (Как дела?) не является сигналом к контакту, это лишь знак того, что посылающий данный сигнал индивид осведомлен о присутствии другого индивида в непосредственной физической близости и приветствует его. Основанные на не понимании и попытки носителей российской культуры ответить на заданный вопрос приводят в замешательство индивида, задавшего его, и в состояние обиды того, кому этот сигнал приветствия был направлен.

Аналогичным образом обстоят дела и с другими функциями общения, когда оно осуществляется между носителями различных культур. Побудительная функция может быть реализована только в том случае, когда все участники МКО распознают некоторые знаки или символы как побудительные и т. д. Используя характеристику общения с точки зрения функций включенной в процесс общения речи, данную Б. Д. Парыгиным, можно ска-

зать, что «процесс установления взаимопонимания между индивидами является важнейшим параметром... общения, которому могут быть подчинены все остальные функции речи» [Парыгин, 1999: 179–180]. В приведенном определении мы сталкиваемся с доминирующей функцией общения, обозначенной как «взаимопонимание».

В нашей трактовке взаимопонимание, как «такой случай понимания одного человека другим, когда оно носит взаимный, обоюдный характер» [там же: 181], является идеальной целью МКО в силу того, что «к числу важнейших условий и предпосылок взаимопонимания относится, прежде всего, способность общающихся к адекватному восприятию системы ценностей и значений, регулирующих поведение друг друга» [там же: 181]. Как видно из приведенного определения, МКО и здесь обладает собственной спецификой. Она состоит в том, что его участники принадлежат к культурам, воплощающим различные системы ценностей и приписывающим различные значения одним и тем же словам, грамматическим конструкциям, идентичным или схожим речевым и неречевым действиям, поступкам, ситуациям, событиям. Соответственно, для успешного МКО невозможно воспользоваться имеющимся у его участников значением. *Значение перечисленных феноменов необходимо совместно создать в ходе межличностного общения особого вида.*

На основании сказанного выше, с учетом положения о том, что культура является конституирующими фактором формирования личности, и в отличие от тех ученых, которые рассматривают межкультурное общение как частный случай общения межличностного [Gudykunst, Kim, 1992], мы рассматриваем межкультурное общение как отдельный специфический вид общения, имеющий собственные закономерности.

Принципиальное психологическое отличие МКО от общения в привычном мире родной культуры заключается в том, что во втором случае люди реагируют на привычную обстановку интуитивно, не подвергая ее сомнению или последующему анализу, т. е. большей частью бессознательно [Этнопсихолингвистические проблемы семантики, 1978: 57; Верещагин, Костомаров, 1980: 35]. В ходе МКО даже в родной стране каждая ситуация воспринимается как новая и проходящий через нее участник общения

обречен на переживание миникризиса, связанного с непредсказуемым характером МКО. Именно поэтому психологические аспекты МКО заслуживают пристального внимания и анализа, а участники МКО должны быть оснащены соответствующими знаниями о психологических особенностях столь специфического общения и умениями его практического осуществления.

Подводя итог поискам дефиниции МКО, отличающего его от коммуникации, следует сказать, что среди его многочисленных ранее известных определений наиболее приемлемыми нам представляются следующие. «Межкультурное общение — знаковый процесс, в ходе которого представители различных культур создают общее значение» [Lustig, Koester, 1999: 52]; «межкультурное общение — это двусторонний, символический процесс между людьми различных культур, включающий атрибуцию значений» [Gudykunst, Kim, 1992: 13–14]. Эти два определения привлекли внимание в силу того, что в первом из них эксплицитно заложена целевая установка на создание *совместных значений любого поведения собеседников*, которые обеспечивают взаимное понимание и сделают общение эффективным, а во втором названа исходная точка МКО — атрибуция (приписывание) значений.

Если мы имеем в качестве исходной позиции атрибуцию значений, а в качестве конечной — создание общего значения, то МКО и есть тот процесс, который обеспечивает переход собеседников из начальной стадии общения в конечную. В реальной действительности поставленная цель МКО достигается далеко не всегда. Причина заложена не только в особенностях картины мира (культуры), которую каждый из участников МКО наследует вместе с родным языком, но и в собственно психологических особенностях общения представителей различных культур.

Прежде всего, следует отметить, что естественной бессознательной реакцией человеческого организма на любое непривычное явление является стремление избежать его [Bennett, 1998: 1–2]. Понятие «другого» принципиально для МКО. Понимание «другого» в широком смысле слова, его положительное восприятие, уважение к нему, перевод «чужого и враждебного» в категорию просто «другого», стремление создать нечто общее на основе «своего» и «другого» и является сутью МКО. Если общение в рамках единой культуры строится на схожести, то МКО строится

на различиях, и только понимание этого и умение управлять как сходными, так и различными явлениями ведет к созданию «общего значения» и гарантирует продуктивность МКО.

Здесь уместно обратиться к основному философскому постулату, отражающемуся в человеческой психике и влияющему на любое общение, но особенно драматично на общение межкультурное. Это постулат о единобразии, о глубинном сходстве всех человеческих существ. Как говорил Конфуций: «Все люди одинаковы. Отличаются только их привычки (*habits*)» [цит. по Lebedko, 1999: 8]. Известный американский культуролог М. Беннет проследил выражение так называемого «золотого правила», исходящего из приведенного постулата, в различных религиях. «Золотое правило» содержит утверждение о том, что с другими необходимо обращаться так, как мы хотели бы, чтобы они обращались с нами, или, другими словами, «если я не уверен в том, как следует обращаться с Вами, я просто представлю как бы я хотел, чтобы обращались со мной, и буду поступать в соответствии с этим» [Bennet, 1998: 191]. Это «золотое правило», длительное время никем не оспаривавшееся, предполагает, что другие люди *хотят*, чтобы с ними обращались именно так, а значит, непосредственно отражает мысль о равенстве, единой природе и сходстве всех человеческих существ [Bennet, 1998: 191]. Такой подход подкрепляется и некоторыми эмпирическими научными изысканиями в области физического мира, базирующимиися на тезисе о единстве материи.

Представление о том, что все люди, в сущности, одинаковы, а реальность их обитания едина и целостна, подводит базу под положение о том, что все наблюдаемые различия можно рассматривать как поверхностные. Это положение и господствовало в восприятии мира изучаемого языка долгие годы. В результате, несмотря на декларации, призывающие относиться к каждой культуре «как к равноправной и равноценной и интересной, нужной, желанной именно в силу ее непохожести, ее уникальности» [Каган, 1988: 213], в реальной действительности индивиды ожидают «похожести».

Поскольку все люди считаются одинаковыми, представляется правомерным приложить к ним известные индивиду критерии восприятия и оценки. А поскольку единственными критерии,

которые доступны неподготовленному человеку, это критерии, обусловленные его собственной культурной принадлежностью, то он рассматривает их как естественные, фактически как единственно возможные, и именно их прилагает к другим индивидам. Тенденция, согласно которой собственная культура служит точкой отсчета для всех жизненных феноменов, получила название *этноцентризма*. Сам термин происходит от двух греческих слов: «*ethnos*» — «нация, народ», и «*kentron*», что переводится как «центр» и предполагает, что собственная нация или народ видятся как центр мироздания. Применительно к культурным сущностям этноцентризм — это тенденция бессознательно рассматривать людей, используя в качестве оценочных стандартов свою общность и свои представления как единственно возможные и моральные; это процесс оценивания «чужих»* через призму «своих» [Монтель, 1988: 78]. Этноцентризм признает только одну систему координат и отрицает все остальные [Triandis, 1996: 35].

Этноцентризм как естественное психологическое явление был давно идентифицирован и определен психологами. В 1940 году В. Самнер охарактеризовал этноцентризм как «такое видение вещей, при котором группа, к которой принадлежит индивид, находится в центре всего, остальные ранжируются по отношению к ней» [цит. по Gudykunst, 1992: 5]. Этноцентристические представления (сознательные и бессознательные) формируются у индивида в результате процесса социализации. Этот процесс уникален в том, что «он одновременно обращен и в будущее и в прошлое. Он обращен в будущее в аспекте того, кем люди должны стать, и в прошлое — для определения того, какие модели поведения, ценности и убеждения должны быть (сохранены и) продолжены» [Cushner, Brislin, 1996: 5].

Социализация настолько мощный и всеохватывающий процесс, что люди, прошедшие через него, с трудом могут предста-

* Термины «свои» и «чужие» обычно используются в теории межличностного общения и прилагаются к представителям, входящим в группу, к которой принадлежит некоторый субъект (свои), и исключенным из нее (чужие) [Куницина и др., 2001: 324]. Позаимствовав сами термины, мы будем использовать их здесь и далее для обозначения носителей родной культуры — «свои» и для обозначения носителей другой культуры — «чужие» [в значении, используемом в Школе 2000..., 1998: 88].

вить, что возможно существование других реальностей, других миров, других культур. В последнее время в научной литературе термин «этноцентризм» стал приобретать отрицательные коннотации. В этой связи необходимо отметить, что в качестве естественного психологического явления этноцентризм вызван к жизни объективными условиями существования нации и выполняет несколько функций:

– *утилитарная функция*, или функция выживания. В этой функции этноцентризм способствует тому, что носители культуры усваивают ее, не подвергая сомнению ее постулаты, и составляют в итоге более однородное в культурном плане общество, жизнь в котором предсказуема и (по этому параметру) относительно легка;

– *защитная функция*. Чем выше степень этноцентризма, тем радикальнее деление людей на «своих» и «чужих», тем сплоченее выступают носители одной культуры против «чужих» и их влияния, особенно если восприятие последних «своими» негативно. Это позволяет носителям культуры избежать негативных эмоций относительно собственной нации и защитить собственное «эго».

– *функция выражения культурных ценностей*. Она позволяет выражать собственные ценности и оценивать их как единственно правильные, что, в свою очередь, обеспечивает поведение всех носителей культуры в соответствии с ними и их передачу из поколения в поколение;

– *информационная функция*. Она обеспечивает структурированность знаний и представлений носителей одной культуры о других народах на основе собственной системы координат и, таким образом, создает иллюзию их подготовленности к восприятию неизвестного [ср. перечень функций этноцентризма в Katz, 1960].

Перечисленные функции гарантируют целостность нации и обеспечивают ее членам состояние психологического комфорта при общении друг с другом. *Этноцентрическое восприятие и поведение* — это естественная психологическая реакция индивида при столкновении со всеми жизненными явлениями.

Неподготовленный к МКО индивид не составляет исключения. Он вступает в процесс общения оснащенным этноцент-

рическими механизмами психологического комфорта. Но если этноцентризм весьма эффективен при общении с носителями родной культуры, то он не срабатывает при общении с носителями других культур, поскольку изначально ставит родную культуру выше других и способствует тому, что индивид воспринимает «чужих» в искаженном, чаще всего враждебном виде. Прямыми проявлениями этноцентризма в речи при общении с представителями иноязычной культуры является стремление дистанцироваться от собеседника.

Как было заявлено в начале статьи, не претендую на исчерпывающее описание явления межкультурного общения, мы попытались лишь продемонстрировать его отличие от явления коммуникации, его отличие от общения межличностного, протекающего, как правило, между носителями однородной и той же культуры, и как явления, основанного на естественном для человека, этноцентризме.

Думается, что поставленные в статье задачи решены, а необходимость и, главное, пути преобразования межличностного, этноцентрического общения, основанного на коммуникации, в общение подлинно межкультурное является предметом следующего исследования.

- АЗИМОВ Э. Г., ЩУКИН А. Н., 1999. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). СПб.
- БЕРГЕЛЬСОН М. Б., 1999. Основы коммуникации // Межкультурная коммуникация. М.
- ВЕРЕЩАГИН Е. М., Костомаров В. Г., 1980. Лингвострановедческая теория слова. М.
- ДРИДЗЕ Т. М., 1980. Язык и социальная психология. М.
- КАГАН М. С., 1988. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М.
- КРИЖАНСКАЯ Ю. С., ТРЕТЬЯКОВ В. П., 1999. Грамматика общения. М.
- КУДРЯВЦЕВА Т. С., ПУХАЕВА Л. С., 1997. Деловое общение. СПб.
- КУНИЦЫНА В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М., 2001. Межличностное общение. СПб.; М.; Харьков; Минск.
- ЛЕБЕДЕВА Н., 1999. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.
- ЛЕОНТЬЕВ А. А., 1984. Мир человека и мир языка. М.
- ЛОМОВ Б. Ф., 1981. Проблема общения в психологии // Проблема общения в психологии. М.
- ЛОТМАН Ю. М., 1992. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн.

- ПАРЫГИН Б. Д., 1999. Анатомия общения. СПб.
- ПАССОВ Е. И., 1991. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.
- ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, 1998: Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. Хабаровск.
- ТЕР-МИНАСОВА С. Г., 1998. Изучение иностранных языков и культур на университетском уровне // Вестн. МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2.
- ТЕР-МИНАСОВА С. Г., 2000. Язык и межкультурная коммуникация. М.
- ФУРМАНОВА В. П., 1994. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранных языков (языковой вуз): Дис. ... докт. пед. наук.
- ХИТРИК К. Н., 2001. Теоретические основы обучения культуре иноязычного речевого общения в специализированном языковом ВУЗе (на материале иранской ветви индоевропейских языков): Автореф. дисс... докт. пед. наук. М.
- ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ, 1996: Материалы семинара «Язык, сознание, культура: межэтнические аспекты». М.
- ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ, 1978. АН СССР, Ин-т языкоznания; [Редкол. Е. Ф. Тарасов и др.] М.
- BENNETT M. J., 1998. (ed.) Basic concepts of intercultural communication. Selected readings.
- BENNETT M. J., 1998. Overcoming the Golden Rule: sympathy and empathy // Bennett M. J. (ed.) Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected readings.
- CUSHNER K., BRISLIN R. W., 1996. Intercultural interactions. — Thousand Oaks, London, New Delhi.
- GUDYKUNST W. B., KIM Y. Y., 1992. Communicating with strangers: an approach to intercultural communication. New York.
- KATZ D., 1960. The functional approach to the study of attitudes // Public Opinion Quarterly. Summer. Vol. 24, No. 2.
- LEBEDKO M., 1999. Culture bumps: overcoming misunderstandings in cross-cultural communication. Vladivostok.
- LUSTIG M. W., Koester J., 1999. Intercultural competence. Interpersonal communication across cultures. Longman.
- STEWART E. C., BENNETT M. J., 1991. American cultural patterns. A cross-cultural perspective. USA.
- TRIANDIS H. C., 1996. Theoretical concepts that are applicable to the analysis of ethnocentrism // Brislin W. (ed.) Applied cross-cultural psychology.
- ZANGER V., 1993. Face to face: communication, culture and collaboration. 2nd ed. Boston.

Ю. В. Ерёмин, А. В. Рубцова

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема повышения качества и эффективности обучения иностранному языку (ИЯ) на современном этапе развития лингводидактики обуславливает разработку теоретических вопросов, связанных с реализацией продуктивного межкультурного общения как целостной системы.

Кроме того, современные тенденции в развитии российского высшего педагогического образования, обусловленные вхождением России в Болонский процесс, предъявляют новые требования к организации образовательного процесса, которые, прежде всего, должны обеспечивать повышение качества образования.

Целью филологического образования в современной социокультурной ситуации на сегодняшний день является содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов — учителей иностранного языка, что неразрывно связано с поиском новых путей развития педагогического иноязычного образования в целом.

В этом направлении необходима интенсивная разработка концепции продуктивного обучения ИЯ, которая позволит по-новому подойти к проблеме организации процесса обучения ИЯ в педагогическом университете и решить актуальные проблемы современного высшего образования, связанные с интегрированием в общеевропейское образовательное пространство, не теряя при этом собственной специфики.

Вышеперечисленные предпосылки в очередной раз обращают наше внимание на особенности **продуктивной иноязычной текстовой деятельности**, которая является одной из центральных категорий продуктивного обучения иностранному языку и её базовых компонентов.

Как известно, текстовая деятельность, уходя корнями в материально-практическую деятельность, выступает самостоятельным видом деятельности с внутренними мотивами и целями коммуникативно-познавательного и эмоционального свойства, с завершённой психологической структурой. Общение текстами —

это не просто обмен речью, а коммуникативными интенциями, то есть обмен знаниями, представлениями, мыслями, идеями, образами, впечатлениями, ценностями и идеалами. В этом смысле текст понимается не только как единица языка, но и общения. Продуктивная иноязычная текстовая деятельность является содержательным механизмом знакового общения и включает в себя действия порождения и интерпретации текстов (сообщений).

Поэтому, обоснованным, на наш взгляд, является обращение к семиосоциопсихологической парадигме [Дридзе, 1996: 146], которая позволяет обозначить перспективное направление построения модели продуктивной иноязычной текстовой деятельности.

Текстуальный, или семиосоциопсихологический, подход к изучению коммуникации отличается тем, что семиосоциопсихология исходит из того, что для анализа коммуникативных процессов категорий «речь» и «дискурс» недостаточно, тем более, если тому и другому уподобляется категория «текст», которая рассматривается как минимум в двух системах координат: *лингвистической* (фонема — морфема — лексема, или слово, — словосочетание — предложение — сверхфразовое единство — текст как речь или дискурс) и *коммуникационной* (слово — элементарный знак — высказывание — содержательно-смысловый блок — текст как сложный знак наиболее высокого порядка, или иерархия коммуникативно-познавательных программ) [Дридзе, 1984: 150].

Во втором случае основное внимание фокусируется не столько на том, «о чем?», «что?» и «как?» говорится в тексте, сколько на том, «почему?» и «ради чего?» этот текст порождается, то есть на том, в чем состоит *коммуникативное намерение* его создателя, каким образом он это намерение объективирует и сколь адекватно интенция интерпретируется партнерами по коммуникации.

Сказанное требует специального внимания к существенному различию по меньшей мере двух теорий, в той или иной мере определяющих сегодня способ изучения знаковой коммуникации: лингвистической и психолингвистической, с одной стороны, и лингво- и семиосоциопсихологической — с другой.

В первом случае познание и коммуникация трактуются в канонах теории речевой деятельности, где по исходному условию мысль дискретна и «слита» с речью. Познавательный процесс

равен речемыслительному, акты общения равны речевым актам, а текст (он же речь) рассматривается как продукт речевой деятельности, состоящий из «атомарных» речемыслительных элементов. Во втором случае акцентируются внутренняя целенаправленность, интенциональность и цельность процессуально-идеационной организации знакового общения как текстовой деятельности. Текст же рассматривается не как речеязыковая, а как коммуникативно-познавательная единица, т. е. изначально обращенное к партнеру, опредмеченное ментальное образование, «цементированное» коммуникативным замыслом, составляющим его смысловое ядро [Дридзе, 1984: 87].

Таким образом, текст определяется как целостная коммуникативная единица, как сложный знак. Текст в качестве единицы знакового общения (социокультурной коммуникации) представляет собой особым образом организованную содержательно-смысловую целостность и может быть определен как система коммуникативно-познавательных элементов, функционально объединенных в единую замкнутую иерархическую содержательно-смысловую структуру (иерархию коммуникативно-познавательных программ) общей концепцией или замыслом (коммуникативным намерением) партнеров по общению [Дридзе, 1984: 156].

Обозначенное понимание текста как единицы знакового общения позволяет определять значение продуктивной иноязычной текстовой деятельности, которая является центральной категорией продуктивного обучения ИЯ, следующим образом:

продуктивная иноязычная текстовая деятельность — это процесс порождения и интерпретации иноязычных текстов, образованных с помощью личностных речевых продуктов говорящего, включающий обмен коммуникативными интенциями, то есть обмен знаниями, представлениями, мыслями, идеями, образами, впечатлениями, ценностями, идеалами, и направленный на реализацию личностного потенциала говорящего [Рубцова, 2008: 45].

Именно такое понимание продуктивной иноязычной текстовой деятельности позволяет обратиться к определению особенностей её базовых категорий: **личностный речевой продукт, идеальный речевой продукт, материальный речевой продукт.**

Итак, рассмотрим понятие личностный речевой продукт, который мы относим к основным понятиям продуктивной иноязычной текстовой деятельности в рамках концепции продуктивного иноязычного образования [Рубцова, 2008: 167]. Именно этот показатель определяет содержание продуктивного обучения ИЯ. В нём реализуется конструктивный характер продуктивной учебной деятельности по овладению ИЯ.

Личностный речевой продукт — это создание обучаемым в ходе освоения ИЯ и культуры определенного личностного речевого материала, нового для него по характеру содержания. Это связано с решением некоторой проблемной задачи и носит форму материального информационного продукта или приобретенных личностных способов изучения ИЯ. Подчеркнем, что личностный речевой продукт встраивается и рефлексивно оценивается обучаемым в общей системе знаний и умений. Отсюда следует, что личностный речевой продукт может быть выражен в некотором идеальном продукте — знания, умения, способы изучения ИЯ, и в определенном материальном речевом продукте, создаваемом обучаемым в ходе освоения ИЯ.

Таким образом, личностный речевой продукт определяется по результату решения проблемной задачи, новизне содержания, личному вкладу студента в его создание (поиск, приобретение), рефлексивной оценке с точки зрения личностного смысла, материальному или идеальному выражению. Необходимо особо отметить, что личностным речевым продуктом является и приобретенный студентом опыт самостоятельной учебной деятельности, что определяет уровень его личностного развития.

Продукт освоения реальности применительно к процессу овладения ИЯ имеет свои отличительные особенности. Его специфика заключается в том, что язык является инструментом освоения реальности. От изучающего ИЯ требуется, прежде всего, овладение этим инструментом с тем, чтобы использовать его функционально в различных целях социокультурной деятельности. Поэтому специфический идеальный продукт применительно к изучению ИЯ составляет собственно овладение данным инструментом. В силу его коммуникативного и культурообразного характера “приобретенным” продуктом учебной деятельности являются: знания и языковые средства, включая лингвокультурологические

и социокультурные, способы оперирования языковыми средствами (речевые навыки), способы коммуникативной деятельности (коммуникативные умения), опыт использования коммуникативной деятельности в различных функциях. Следует особо подчеркнуть, что, наряду с этим, в процессе овладения ИЯ приобретенным продуктом являются способы изучения ИЯ и культуры и самостоятельный опыт данной учебно-познавательной деятельности как необходимая база для развития студента как языковой личности.

Идеальный речевой продукт понимается нами как накапливаемый языковой, коммуникативный и учебный опыт и соответствующие способы коммуникативной и учебной деятельности в процессе овладения ИЯ.

Материальный речевой продукт представляет собой фиксацию в определенной форме личного коммуникативного и учебного опыта изучающего ИЯ. В качестве примера можно привести составление студентом своей “личной грамматики” в виде, в частности, грамматических опорных схем, опорных справочных таблиц, денотатных карт грамматических значений, различных ассоциативных схем типа “mind maps”, собственных справочных записей с “собственными” (самостоятельно сформулированными) правилами и примерами и др.

Аналогичными могут быть и продукты овладения лексической стороной иноязычного общения. Здесь студенту в накоплении лексических средств могут помочь такие материальные продукты учебной деятельности, как традиционные словарики, списки самостоятельно накопленной лексики (слов, словосочетаний, идиоматических и фразеологических средств), тематические списки лексических единиц, словарные комментарии, понятийно-семантические списки (словники), денотатные карты, различные индивидуальные опорные схемы лексических средств и др.

Значимым продуктом изучения ИЯ могут стать для студента собственные справочные записи, содержащие факты лингвокультурного характера и собственные комментарии к ним, например, собранная безэквивалентная лексика, реалии исторического и социокультурного развития страны изучаемого языка (может быть, в сопоставлении с данными о своей стране, других странах) и т.п. Наличие такого личностного продукта, ориентация студента в самостоятельной работе на его создание и регулярное пополнение

(при всем многообразии индивидуальных форм) является обязательным условием эффективного изучения ИЯ. И что еще более существенно — оно обеспечивает формирование у студента потребности подкреплять свой учебный труд в области изучения ИЯ определенным материальным продуктом, в котором он может фиксировать и накапливать как дневник самостоятельно получаемую учебную информацию.

Такого рода продукт учебной деятельности может стать действительно личностным и обеспечить, прежде всего, личностный (персонализированный) характер владения ИЯ, возможность встроить эту новую языковую систему в свою систему значений и понятий. Кроме того, это поможет заинтересовать студента в “открытии для себя” языка и в конечном итоге обеспечить его более прочное усвоение.

Таким образом, с позиции изучающего ИЯ идеальный речевой продукт накапливается в индивидуальном опыте изучения ИЯ и культуры, который формирует индивидуальный стиль изучения ИЯ. Материальными продуктами учебной деятельности можно считать выстроенный в качестве личностной системы индивидуальный справочный инструментарий, который служит студенту в качестве своеобразной собственной опорной учебно-информационной базы данных.

Определение особенностей личностного речевого продукта, идеального и материального речевых продуктов как основных компонентов продуктивной иноязычной текстовой деятельности в контексте продуктивного иноязычного образования позволяет выявить ряд факторов, обуславливающих его продуктивный характер:

- профессиональная направленность продуктивной иноязычной текстовой деятельности;
- осознание важности решения проблемной лингвистической/коммуникативной задачи и нацеленность на её продуктивное решение;
- прогнозирование результатов продуктивной иноязычной текстовой деятельности;
- рефлексия имеющегося опыта по решению проблемных лингвистических/коммуникативных задач с помощью продуктивных приёмов организации речевой продукции.

Отталкиваясь от вышеуказанного, мы вправе сделать вывод, что продуктивное обучение ИЯ, направленное на создание личностного речевого продукта позволит студентам осуществлять **продуктивную иноязычную текстовую деятельность**, которая является одним из способов решения проблемы становления профессиональной компетентности будущих специалистов — учителей иностранного языка.

Таким образом, реализация продуктивного обучения ИЯ, направленная на формирование продуктивной иноязычной текстовой деятельности с учётом развития её базовых компонентов позволит решать различные проблемы межкультурного общения и осуществлять обучение ИЯ с помощью продуктивных способов и приёмов организации иноязычной речевой продукции.

ДРИДЗЕ Т. М., 1996. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность. Вып. 3. М.

ДРИДЗЕ Т. М., 1984. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциокации. М.

ЕРЁМИН Ю. В., РУБЦОВА А. В., 2007. Принципы построения модели продуктивного обучения профессиональной коммуникации на ИЯ в педагогическом университете // Проблемы современной филологии и лингводидактики. Вып. 2. СПб.

РУБЦОВА А. В., 2008. Базовые компоненты продуктивной иноязычной текстовой деятельности // Герценовские чтения. Иностранные языки. СПб.

РУБЦОВА А. В., 2008. К вопросу определения понятия продуктивной иноязычной текстовой деятельности и её базовых компонентов // Материалы региональной научно-практической конференции. «Проблемы обучения иностранным языкам на неязыковых факультетах и общие вопросы языкового образования». Бирск-СПб.

Т. А. Казакова

АСИММЕТРИЧНОСТЬ СТИЛЯ В ПЕРЕВОДЕ

Анализ перевода традиционно опирается на противопоставление эквивалентности и неэквивалентности. Эта оппозиция, при всей условности термина [Тюленев, 2004: 132–138], как правило, позволяет выявить несколько категорий эквивалентности, критерии которых колеблются по шкале достоверности, построенной от общего смысла до буквальной передачи лексического состава. Однако вопрос об эквивалентности стиля, насыщенный не только для перевода художественных текстов, но и в более широком плане — для воспроизведения авторского стиля / идиолекта, в том числе, и в научном изложении, остается едва намеченным. Тем не менее, с достаточной отчетливостью говорится о различии (и при этом слабой изученности этого различия) стилистических норм разных языков как в синхронии, так и в диахронии. В этом направлении можно отметить понятие *функциональной оправданности* в трудах А. В. Федорова [Федоров, 1971: 146] и принцип *эстетической перспективы* у И. Левого [Левый, 1974: 93], хотя следует отметить, что фундаментальной разработки на уровне сопоставительно-контрастивных исследований языков эти идеи до сих пор не получили.

Тем не менее, наблюдения показывают, что переводчики, как правило, эти различия ощущают и стараются находить приемлемые решения в условиях отсутствия устойчивых соответствий. Однако само по себе отсутствие стилистических соответствий, достоверно установленных, неизбежно приводит к субъективности оценок: выбор варианта как в процессе перевода, так и при его оценке не подпадает ни под одно из более или менее разработанных определений эквивалентности, при том что апелляция к эквивалентному воздействию на читателя вообще не может служить критерием оценки, ибо переводное произведение живет совсем иной жизнью и в иной среде по сравнению с оригиналом.

Между тем, в классическом переводоведении имеются резервные понятия, которые, будучи сопоставлены с инструментами современной логики, позволяют воспользоваться не только кри-

терием эквивалентности, но и принципиально иным критерием, а именно оппозицией симметрия — асимметрия. Термин «асимметрия» здесь применяется, в отличие от термина Н. К. Гарбовского «межъязыковая асимметрия» [Гарбовский, 2004: 338], не к различию лексиконов, а к различию способов выражения в исходном и переводном текстах. В близком к нашему пониманию асимметрии Л. Сальмон употребляет понятие «прагматической асимметрии»: «когда X в Я1 обозначает Y в Я2, тогда как то же самое X в Я2 обозначает Z» [Сальмон, 2007: 230]. Представление о переводе с позиций «неравномерной точности» [Левый, 1974: 209] в определенном смысле пересекается с идеей выведения «коэффициента стилистической дискомфортиности» [Сорокин, 2003: 147] в анализе перевода. Иными словами, мы можем обратиться к анализу функциональных различий, с тем чтобы определить их природу и информационные последствия. Такой подход может оказаться полезным как для решения ряда практических задач при выборе вариантов перевода и оценке переводного текста, так и для более общих задач моделирования речемыслительной деятельности переводчика.

Какие общие и отличительные черты свойственны исходному и переводному текстам с точки зрения стиля, если понимать стиль как способ выражения? Мы можем условно выделить два основных разряда «носителей» стиля: лексический и грамматический, разумеется, с учетом их общей роли в построении стиля целого текста. При этом вполне закономерно возникает вопрос: что происходит с текстом в переводе, когда, вынужденно или не вынужденно, переводчик меняет стилистические параметры, то есть вносит в процесс перевода асимметрию? Например, английский способ выражения эпистемической универсальности (истинности знания) может быть выражен в разных стилевых регистрах (привожу по нисходящей):

1. It is a universally acknowledged truth that...
2. We acknowledge that...
3. They take it for granted that...
4. Everybody knows that...

В русском языке этот смысл может быть выражен тоже разными способами:

1. Общепризнано, что...

2. Известно, что...
3. Само собой разумеется, что...
4. Все знают, что...

Если попытаться найти «общий знаменатель» для всех этих выражений с точки зрения денотата, то, в отвлечении от лексико-грамматических осложнений, наиболее простым и очевидным окажется «все знают, что» и его английское соответствие «everybody knows that». С этой простой точки зрения «все знают, что» допустим как ситуативно-смысловой аналог при переводе любого из приведенных английских вариантов, и это можно рассматривать как сравнительно незначительную, или допустимую асимметрию.

Однако наш простой аналог допустим отнюдь не всегда, то есть может рассматриваться лишь как маргинальное соответствие. В любом случае, когда стилевой регистр оказывается функционально нагруженным, возникает информационное осложнение, при котором лексико-грамматический состав текста начинает выражать дополнительные смыслы, пренебрежение которыми при переводе сопровождается недопустимой асимметрией, то есть приводит к искажению общего смысла текста. Рассмотрим в качестве примера следующее предложение.

Jane Austen: *It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife* [Austen, 1980: 5].

Перевод-1 (И. Маршак): *Все знают, что* молодой человек, располагающий *средствами*, должен *подыскивать* себе жену [Остен, 1996: 3].

Перевод-2 (И. Гурова): *Холостяк*, если он обладает солидным состоянием, должен настоятельно нуждаться в жене, *такова общепризнанная истин*а [Остен, 2006: 5].

Оба перевода в той или иной мере асимметричны, нарушая стилевое и смысловое равновесие оригинала. Если рассмотреть перевод-1, то на первый взгляд он не так заметно отличается от оригинала, как перевод-2, с точки зрения структуры предложения, зато существенно нарушает свойства лексического состава, имен, называющих участников ситуации. Главное преобразование в переводе-1 относится к начальной фразе, приведенной выше, и в принципе как будто бы не искажает смысла исходного

текста, ибо денотативное значение имен¹ [Никитин, 2002: 105] «truth universally acknowledged» и «все знают» совпадает. Однако если принять во внимание функциональную нагрузку на эти имена, то она в оригинале чрезвычайно информативна как с точки зрения смысловой структуры предложения, так и с точки зрения выражения авторской позиции в целом тексте. Противопоставление высокого стилевого регистра эпистемического модуля «истины-знания» и «простого» бытийного статуса имен «good fortune» («средства») и «in want of a wife» («подыскивать жену») создает отчетливый иронический контекст обманутого ожидания, позволяя изначально строить текст как сатирический: после заявленного высокого статуса «истины» ожидается некое высокое деяние, а речь, оказывается, идет о таком житейском деле, как женитьба. Имена «все знают», «средства» и «жена» такого ожидания не создает, поскольку не отмечено высоким стилем, а значит не создает и необходимого для иронии контраста, тем более что сопровождается также простыми именами «средства» и «подыскивать жену» — и таким образом лишает переводной текст уже не стилистической, а денотативной игры, в сущности, превращая его в бытовой семейный роман по сравнению с оригинальной сатирой. В дальнейшем этот принцип стилевого выравнивания в переводе-1 проявляется вполне последовательно, то есть выступает в качестве системного свойства, внося в перевод недопустимую асимметрию не только стилей, но и смыслов.

Перевод-2, формально соблюдая вышеотмеченное стилевое противопоставление, на деле нарушает его, изменив последовательность имен: сначала — о солидном состоянии и жене, и лишь в конце — об общепризнанной истине. Такое расположение имен меняет сам характер взаимодействия денотатов, то есть логику предложения: человек (с солидным состоянием) должен жениться — такова общепризнанная истина. Иронический характер контекста здесь не только не очевиден, напротив, предложение в таком виде может рассматриваться как прямая референция, ибо, в конце концов, так оно и есть в действительности. Сигнifikативная двойственность, характерная для перевода-2, также

1 В настоящей статье термин «имя» употребляется в общелогическом смысле, в каком его применяет М.В. Никитин, в частности, в указанном источнике, называя именами «все знаменательные слова, включая глаголы и наречия».

носит все системные признаки асимметрии смысла в сравнении с оригиналом, поскольку переводчик придерживается принципа приоритета повествования над размыщлением и последовательно укорачивает, упрощает, либо сдвигает эпистемические, философские компоненты авторского стиля, то есть совершаet аналогичное недопустимое отклонение от оригинального способа изложения.

Наш беглый анализ одной переводческой ситуации с позиций учета асимметрии показывает, что можно выделить асимметричность как системное свойство переводного текста по отношению к оригиналу и оценивать расстояние между оригиналом и переводом в терминах асимметричности допустимой и недопустимой. Допустимой может считаться асимметричность, вынужденная лексико-грамматическими различиями между исходным и переводящим языками, если она не затрагивает основных принципов стиля как способа выражения, присущего исходному тексту. В условиях допустимой асимметричности могут возникать определенные лексико-стилистические и грамматико-стилистические потери и отклонения, меняющие оригинальный способ выражения в частностях, но не в основе. Часть таких отклонений сравнительно легко компенсируется, однако эта обманчивая легкость способна обернуться недопустимой асимметричностью, если виртуально допустимый вариант языковой единицы приводит к потере смысла в актуальном словоупотреблении или противоречит контексту. В частности, в рассматриваемом нами примере «*a single man*» виртуально может соответствовать вариантам «*неженатый человек / мужчина*», «*одинокий мужчина*», «*холостяк*», «*бобыль*» или «*вдовец*», однако в условиях ограничений, накладываемых данным контекстом, большинство из них не пригодны, не согласуясь с ситуацией.

Легко видеть, что истолкование исходного именования в виде варианта «молодой человек» (перевод-1) существенно отклоняется от оригинальной формулы «*single man*», поскольку в данном контексте признак «молодой» вообще не имеет значения, а потому является избыточной попыткой компенсации. С другой стороны, «*холостяк*» в силу внутренней формы слова и контекстуальной парадигмы русского словоупотребления обладает избыточными коннотациями (не такими существенными, как «*бобыль*», но не

менее устойчивыми). Учитывая наличие неопределенного артиклия — в условиях предложения-афоризма, можно предположить, что некоторая доля обобщения должна быть восстановлена для этого имени в переводе. Следовательно, информационно оптимальным вариантом, по-видимому, является «каждый одинокий мужчина»: во-первых, он сохраняет оригинальный способ выражения (не «*bachelor*»), во-вторых, соответствует оригинальному стилевому регистру, в-третьих, способен выполнить нагрузку афористичности высказывания, построенную, как уже отмечалось, на ироническом эффекте противоречия стилистических и денотативных свойств².

Недопустимая асимметричность всегда наблюдается в случаях невынужденных отклонений, когда переводчик произвольно, по субъективным соображениям меняет что-либо в тексте, даже если это не вызвано объективными различиями исходного и переводящего языков. В нашем примере иллюстрацией может служить принципиальное изменение структуры предложения в переводе-2, приводящее, как отмечалось, к искажению не только способа выражения, но и смысла оригинала. Такая перестройка сопровождается потерей статуса «истины»: перенося ее во вторую часть сложносочиненного предложения, переводчик тем самым отводит более важную роль бытовому событию, тогда как в оригинале оно сопровождает эффект обманутого ожидания. Недопустимая асимметрия может проявляться в семантическом, pragmaticальном и синтаксическом аспектах.

Исследование типов и видов асимметричности в переводе может проводиться не только с помощью сопоставительного анализа, но и с применением такого инструмента, как эксперимент. В частности, возможны различные варианты ассоциативного, рефлексивного и эвристического³ экспериментов.

² Учитывая приведенные соображения, рискну предложить свой вариант перевода этого предложения: «Непреложная истина гласит, что каждый одинокий мужчина с приличным доходом настоятельно нуждается в жене».

³ Имеются в виду эксперименты, выявляющие типы переводческих стратегий.

- ГАРБОВСКИЙ Н. К., 2004. Теория перевода. М.
- ЛЕВЫЙ И., 1974. Искусство перевода. М.
- НИКИТИН М. В., 2002. Денотат — концепт — значение // Современные проблемы лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации. СПб.
- САЛЬМОН Л., 2007. Теория перевода. История, наука, профессия. СПб. Астана.
- СОРОКИН Ю. А., 2003. Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры. М.
- ТЮЛЕНЕВ С. В., 2004. Теория перевода. М.
- ФЕДОРОВ А. В., 1971. Очерки общей и сопоставительной стилистики. М.
- AUSTEN JANE, 1980. Pride and Prejudice. N.Y.
- ОСТЕН ДЖ., 1996. Гордость и предубеждение. М.
- ОСТЕН ДЖЕЙН, 2006. Гордость & предубеждение. М.

С. Л. Пшеницын

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА «ПОЛИТКОРРЕКТНЫХ» ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Важнейшим вкладом М. В. Никитина в развитие отечественной лингвистики стали его труды, посвященные природе лингвистического значения и лексической семантики. Для переведоведения большое значение имеет теория структуры лексического значения, разработанная в целом ряде основополагающих работ М. В. Никитина [Никитин, 1983, 1997, 2001]. Данная статья посвящена рассмотрению чрезвычайно интересной переводческой проблемы — переводу лексических единиц с ярко выраженным прагматическим компонентом значения, у которых, по наблюдению М. В. Никитина, «прагматическое значение возникает как аксиологическая производная когнитивного значения», поскольку природа обозначаемого этими словами класса или признака денотатов такова, что непременно вызывает эмоции и оценки [Никитин, 1997: 107]. Интересно, что такое прагматическое значение лексической единицы бывает обусловлено культурой. Именно так обстоит дело с т.н. «политкорректными» наименованиями в современном английском языке, особенности перевода которых и будут рассмотрены ниже.

Феномен «политической корректности» (далее РС — данная аббревиатура произносится «пи-си») уже давно стал реальностью не только официального и делового современного английского языка, но по сути дела, присутствует в той или иной мере во всех сферах общения людей, когда письменная или устная коммуникация выходит за рамки бытовых или личных контактов близко знакомых людей. Суть этого феномена состоит в том, что говорящему необходимо придерживаться определенных правил, которые сигнализируют о том, что он стремится не оскорбить представителей каких-либо этнических, социальных, возрастных и прочих групп, не принадлежащих к доминирующей группе общества. Тем самым имплицируется, что говорящий является человеком «прогрессивным», отмежевывается (по крайней мере, на словах) от дискриминации групп людей, так или иначе ущемленных в правах, и стремится к равноправию в обществе. Можно

привести следующие классические примеры. Нельзя, например, использовать слово *Negro*, поскольку оно является оскорбительным для черных американцев. В качестве политически корректного обозначения используется *black* или *Afro-American*. Другой пример: для того чтобы язык говорящего не воспринимался как сексистский (т.е. язык, дискриминирующий женщин), в предложениях генерического характера следует использовать *he or she* или *they* (а не генерическое местоимение *he*), когда имеются в виду люди как мужского, так и женского пола. Это делается для того, чтобы подчеркнуть, что женщины тоже имеются в виду. По этой же причине прилагаются усилия, чтобы, например, на фотографиях, публикуемых в газетах и журналах, а также в школьных учебниках, были в должной пропорции представлены женщины и люди национальных меньшинств.

За явлением РС стоит весьма важная черта американской культуры — индивидуализм, предполагающий, что у людей должны быть равные возможности и равные права. Возникновение РС в 1960-е годы было связано с идеей, что английский язык отражает взгляды доминирующей группы и, как следствие, в нем воплощены предубеждения против угнетенных групп населения — женщин, национальных и сексуальных меньшинств, людей с различными физическими или умственными недостатками. Согласно идеологии сторонников РС, традиционный английский язык является орудием угнетения меньшинств и всех «инаких», т.е. тех, кто отличается от доминирующей группы, и способствует их бесправному положению, поскольку закрепляет его, а поэтому, по мнению сторонников РС, необходимо изменить язык, сделав его свободным от предрассудков (*bias-free*).

Неудивительно, что оценки РС противоречивы, как неоднозначно и само это явление. С одной стороны, РС является проявлением стремления к эгалитаризму в американском обществе, и внедрение РС действительно способствовало привлечению внимания к реально существующим проблемам людей, по тем или иным причинам обделенных обществом, ущемленных в правах. С другой стороны, справедливы и нарекания тех, кто считает, что РС ограничивает свободу людей выражать себя. РС сравнивают с «новоязом» — тем языком, на котором должны были говорить люди в романе Дж. Оруэлла «1984», и который был специальн-

но создан для подавления инакомыслия: чтобы даже крамольные мысли оказались невозможны (по крайней мере, настолько, насколько мысль зависит от языка). Сторонники РС насаждают использование сконструированных ими эвфемизмов, чтобы — в соответствии с концепциями мультикультурализма — способствовать многообразию и плюрализму, на деле же РС оборачивается принудительным единообразием и нетерпимостью [Аринштейн, 1997: 39–42].

Явление РС ставит перед переводчиком очень серьезные проблемы не только чисто лингвистического, но и культурологического характера. Как дать понять русскоязычному получателю текста перевода (ПТ), что на исходном тексте (ИТ) лежит отпечаток РС? Нужно ли вообще это делать, если принять во внимание, что при создании текста на английском языке РС является, по сути дела, нормой, тогда как на русском языке такой нормы как факта языка не существует. Соответственно, при переводе с русского языка на английский встает вопрос, как и в какой мере следует редактировать в соответствии с РС текст перевода. Следует ли вводить в заблуждение англоязычного адресата, создавая у него иллюзию, что и русскоязычный создатель текста руководствуется нормами РС, принятыми в современной англоамериканской культуре? Ведь иначе вполне образованный носитель русского языка без всякой вины с его стороны и просто в силу принадлежности к другой культуре будет восприниматься в переводе как человек невежливый, не владеющий нормами культуры общения, и при этом он даже не будет догадываться о таком восприятии своей речи.

На эти вопросы нет простых ответов. Рассмотрим возможные переводческие стратегии, при решении проблем, связанных с РС.

1. В большом количестве случаев при переводе на русский язык наиболее приемлемым переводческим решением оказывается дать такой вариант перевода, который никак не отражает РС качеств оригинала. Например, таким лексическим единицам как *flight attendant*, *chairperson*, в переводе обычно соответствуют *бортпроводник/бортпроводница* или *стюард/стюардесса* (в зависимости от реального пола человека) и *председатель*. Пытаться передать по-русски маркированность этих английских лексических единиц, т. е. pragmatischeий компонент их значения, обус-

ловленный тем, что, в соответствии с предписаниями РС, специально избегается использование слов, указывающих реальный пол человека (т.е. не *steward/stewardess*) или избегаются слова с полуаффиксом *-man* (т.е. не *chairman*), чрезвычайно трудно и вряд ли целесообразно (если, разумеется, в ИТ не пародирует-ся РС). В русском языке слова *бортпроводница* или *стюардесса* не имеют отрицательных коннотаций; в принципе, можно также использовать и слово *бортпроводник*, но оно мужского рода и, таким образом, использование его для обозначения женщин в известной мере противоречит принципам РС [см. подробнее: Аринштейн, 2001] и, главное, никак не проясняет для русского-ворящего получателя перевода то обстоятельство, что оригинал следует правилам РС. В случае *chairperson* — даже если это слово обозначает женщину — единственно приемлемым русским со-ответствием в деловом/официальном тексте оказывается именно *председатель*, поскольку *женщина-председатель* или *председа-тельница* не являются нейтральными по стилю.

В русском языке (как, по сути дела, и в английском) наименования лица, используемые в генерическом смысле, обычно нейтральны в отношении индивидуальных признаков человека (возраста, пола, роста, семейного положения, расовой или этнической принадлежности и т. д.). Поскольку ядерной доминантной семой выступает то качество человека, которое обуславливает вхождение его в данный класс, то все остальные качества не являются различительными для членов класса [Аринштейн, 2001: 27-28]. В предложении: *Что должен и что не должен делать продавец* слово *продавец* обозначают всякого человека, работающего в таком качестве, т.е. хотя данное наименование лица грамматически является словом мужского рода, оно обозначает лиц как мужского, так и женского пола. В русском языке, где любое существительное характеризуется определенным родом, в качес-стве такого генерического наименования лица обычно выступает именно существительное мужского рода часто даже при наличии стилистически нейтральных парных лексем, обозначающих лиц женского пола: *поэт/поэтесса, журналист/журналистка*. За-частую слова, обозначающие лиц женского пола, стилистически окрашены: *доктор/докторша, редактор/редакторша* и поэтому их невозможно использовать при переводе стилистически ней-

трального текста, даже если английское слово обозначает именно женщину: *Carla del Ponte, the Swiss Attorney-General; Madeleine Albright, the US Secretary of State* в переводе: *Карла дель Понте, генеральный прокурор Швейцарии (не прокурорша), Мадлен Олбрайт государственный секретарь США (не секретарша)* (примеры: [Riabova, 2001: 143]).

По аналогичным причинам обычно не представляется возможным передавать на русском языке особенности ИТ, связанные с заменой генерического *he* на *he/she* или *they*. Употребление *он/она* не только привело бы к затемнению смысла высказывания (поскольку при наличии генерического смысла высказывания, внимание оказалось бы сконцентрировано на уже и так очевидном обстоятельстве, что слово и замещающее его местоимение обозначают лиц обоих полов), но и к проблемам согласования с глаголом, а главное, вызвало бы недоумение русскоговорящего получателя текста, поскольку смысл отклонения от нормы ему не был вполне очевиден именно по причине отсутствия кодифицированных языковых средств выражения РС в русском языке.

Как результат, при переводе следующего, например, отрывка: «*There is usually more of a story than we realize behind a person's name. A teacher may explain how he or she came to be named what they were, or they may describe the series of events of how their name changed over time*» оказывается, что все выделенные элементы текста, характеризующие данный ИТ как «политически корректный», передаются на русском языке без отражения особенностей РС: *Зачастую мы даже и не подозреваем, что за именем человека стоит целая история. Учитель может объяснить, почему его назвали именно так, а не иначе, или же он может рассказать о том, как с течением времени его имя менялось*. В результате этот ярко выраженный прагматический элемент ИТ совершенно теряется для русскоязычного получателя. ПТ соответствует ИТ в стилистическом плане — является стилистически нейтральным, однако, маркированность ИТ как «политически корректного» при переводе не передается.

2. При переводе на английский язык обычно переводчику необходимо в отношении правил РС следовать принципу функциональной адекватности (т.е. переводить не «букву», а смысл). В соответствии с этим принципом, ПТ и ИТ должны быть, если

не тождественны, то близки по своему функциональному стилю: если ИТ «общественно приемлем», т. е. в нем соблюдены определенные культурные и языковые нормы, то и в ПТ должны быть соблюдены соответствующие нормы. Другими словами, если текст не воспринимается русскоговорящим адресатом как сексистский или оскорбительный для каких-либо меньшинств или национальностей, то при переводе на английский язык ПТ тоже, как правило, должен быть нейтральным в этом отношении. На практике это означает, что переводчик должен при создании ПТ на английском языке для соответствующей аудитории и в соответствующем контексте следовать нормам РС. Таким образом, если русскоговорящий оратор использует слова *negr, американские индейцы, председатель, уборщица* и т.п., то в переводе следует употребить РС соответствия *Afro-American* (а не *Negro/colored*), *Native Americans* (а не *American Indians*), *chairperson* (а не *chairman*), *cleaning person* (а не *charwoman/cleaning lady*). Разумеется, следует также избегать генерического *he*. При необходимости, чтобы не поставить ничего не подозревающего автора высказывания в неловкое положение, переводчик может быть вынужден — для того чтобы соблюсти РС — редактировать и содержание (это возможно, конечно, не во всех ситуациях — обычно лишь в частных беседах и письменных текстах). В качестве примера можно привести ситуацию из практики переводчицы М. Берди. Во время обеда мужчина произносит тост: *За красивых дам, которые украшают наш стол.* Переводчица прекрасно понимает, что он лишь пытается быть галантным хозяином и не подозревает, насколько оскорбительно для присутствующих деловых женщин-американок с феминистскими убеждениями может быть то, что он сравнивает их с «украшениями стола». Поэтому она переводит смысл тоста как комплимента присутствующим дамам, но меняет его буквальный смысл: *I raise my glass to the brilliant women gracing our table* [Berdy, 2002].

3. В целом ряде случаев при переводе «политически корректного» ИТ на русский язык переводчик может столкнуться с тем, что в русском языке уже существуют какие-то слова и слово сочетания, которые могут выступать в качестве специфических переводческих соответствий для «политически корректных» лексических единиц ИТ. Обычно это те случаи, когда в результате

влияния английского языка и американской культуры некоторые слова и выражения русского языка начинают осознаваться как не вполне приемлемые, по крайней мере, для использования при коммуникации с англоязычными людьми. Как следствие, появляются различные варианты для замены этих слов. Так, при переводе с английского, а также в определенных ситуациях общения с людьми, говорящими по-английски, у русскоязычных людей часто наблюдается тенденция избегать употребления слова *negr*, вместо которого нередко используются такие слова и словосочетания как *чернокожий /-ая (американец /-ка)*, *американец /-ка африканского происхождения*.

Очень симптоматично, что хотя такие альтернативные наименования и проникают в русский язык именно в качестве эвфемизмов, подавляющая масса носителей русского языка не осознает эти слова как эвфемизмы, обладающие pragматически маркированным компонентом значения: старые наименования продолжают восприниматься как нейтральные. Весьма любопытное подтверждение такого положения дел дает сцена из популярного отечественного фильма «Брат-2», где главный герой, будучи в Америке, использует в своей речи (говоря по-русски) слово *negr*, что приводит к конфликту с черным американцем, который воспринимает это как намеренное оскорблечение. Из объяснений русского героя фильма явно следует, что данное слово в русском языке ругательством не является, а представляет собой нейтральное наименование человека с темным цветом кожи, выходца из Африки.

Аналогичным образом обстоит дело и в отношении такого слова как *инвалид*. С одной стороны, данное наименование по-прежнему является приемлемым и используется в официальных документах. С другой стороны, появляются альтернативные наименования: *люди с (физическими) проблемами, дети с особыми нуждами* и т. п. Очевидно, что такие альтернативные наименования возникли непосредственно под влиянием соответствующих английских РС наименований: *people with disabilities, children with special needs, physically challenged*.

В настоящее время такие альтернативные наименования на русском языке используются не только неправительственными организациями, связанными с зарубежными НПО, но и начи-

нают проникать в официальные документы и речь чиновников. Это свидетельствует о том, что слово *инвалид* начинает восприниматься как нежелательное наименование. Например, на недавнем семинаре с участием американских специалистов и педагогов представитель Министерства образования РФ в своем выступлении вместо наименования *дети-инвалиды* использовала только и исключительно выражение *дети с ограниченными возможностями*, которое является более сокращенным и более широко употребимым вариантом теперь уже официально принятого термина *дети с ограниченными возможностями здоровья*. Любопытно отметить, что эвфемизм *дети с ограниченными возможностями*, с точки зрения РС, вряд ли можно признать удачным, т.к. он подчеркивает именно отсутствие равенства (ограниченные возможности), а ведь как раз по этой причине борцы за РС и отвергли традиционные наименования *handicapped* и *invalid*, внутренняя форма которых, по мнению сторонников РС, говорит о «негодности» или «дефективности» людей с физическими проблемами и, таким образом, способствует сохранению неравенства. Такой неудачный выбор эвфемизма, как представляется, свидетельствует о том, что при его выборе, по-видимому, отсутствовало четкое понимание, почему же собственно следует избегать слова *инвалид*. Очевидно, для носителей русского языка слово *инвалид* по-прежнему не обладает отрицательными коннотациями, и идея необходимости избегать его употребления возникает как результат внешнего влияния — запрета на использование *invalid* в английском.

Полезно проанализировать стратегии переводчицы, работавшей на этом семинаре. Вполне очевидно, что при переводе с русского языка на английский переводчик могла использовать только РС приемлемые наименования. Действительно, выражение *дети с ограниченными возможностями* переводилось ею на английский язык как *children with disabilities / children with special needs*. Интересно, однако, что и переводя выступление американской специалистки, которая использовала в своей речи 3 различных выражения (с одним и тем же значением) *children with disabilities / children with special needs / special children*, переводчица употребляла все то же выражение *дети с ограниченными возможностями*. С одной стороны, это, конечно, обеспечивало

тождественность обозначения, но с другой стороны, в результате такого перевода получилось, что американская специалистка использует такое же не вполне «корректное» обозначение, что и представитель министерства. Кроме того, русскоязычные слушатели не получили действительно приемлемой альтернативы слову *инвалид*, а уж если вместо старого вводится новое обозначение, то необходимо позаботиться о его приемлемости и корректности.

4. Следует также особо остановиться на тех случаях, когда переводчику приходится вводить в ПТ неологизмы для обозначения РС наименований. Как правило, такое решение бывает продиктовано тем, что существующие в русском языке наименования, которые могли бы выступать в качестве переводческого соответствия, по тем или иным причинам использовать не представляется возможным.

Так, в современном английском языке широко употребляются сочетания со словом *inclusive* для обозначения включения детей с проблемами в развитии, а также детей из неблагополучных семей, детей национальных меньшинств в обычные группы дошкольных учреждений и обычные классы обычных общеобразовательных школ (а не в специализированные школы или интернаты): *inclusive schools*, *inclusive education*, *inclusive classrooms*. Использование слова *inclusive* в английском языке в известной степени является данью РС: сочетания с *inclusive* заменили собой использовавшиеся ранее сочетания с *integrated*. За этой заменой стоит основополагающая идея мультикультурализма — признание и уважение «культурного многообразия» (*diversity*): следует не **интегрировать** меньшинство в доминирующее большинство (т.е. менять представителей национальных меньшинств, заставляя их приспосабливаться к большинству и, таким образом, становиться подобными большинству), а **включать** всех на равных правах, чтобы представители меньшинств, не теряя своего культурного своеобразия, могли добиваться успеха в культуре большинства, а представители доминирующего большинства могли также извлечь пользу из многообразия, развивая терпимость и обогащаясь в процессе знакомства с другими культурами. Аналогично при включении особых детей (т.е. детей с нарушениями физического или умственного развития) в обычные детсадовские

группы или начальные классы школы, акцент делается на том, что от этого выигрывают все.

При переводе *inclusive* в таких сочетаниях на русский язык перед переводчиком открывается несколько возможностей. С одной стороны, казалось бы, можно использовать *интегративный* или *интегрированный*. Однако в русском языке оба этих термина уже «задействованы» в сфере образования для обозначения других концептов и поэтому вряд ли целесообразно использовать их в качестве соответствия этому относительно новому и политически нагруженному РС термину. Можно воспользоваться словом *включающий*: *включающее образование, включающие школы и детские сады, включающие группы и классы*. Возможно, еще более подходящим соответствием является транслитерация *инклюзивный*: именно в силу его непрозрачности для русскоязычного получателя оказывается обязательной его семантизация, а это позволяет раскрыть для адресата его точный смысл, что, в конечном итоге, способствует терминологической точности использования данного неологизма.

В качестве еще одного примера, когда переводчик вынужден прибегать к заимствованию, можно указать на перевод такого РС этнонима как *Roma* — слова, которое заместило в современном «политически корректном» английском традиционное наименование *Gypsy*. Разумеется, в русском языке имеется слово *цыган* /-ка /-ский, которое, по сути дела, является единственным наименованием на русском языке лиц соответствующей народности. Поэтому может показаться странным сама проблема перевода *Roma* на русский язык: раз нет других слов для обозначения данной народности, то, казалось бы, следует использовать традиционное наименование *цыгане*. Поэтому тем более показательно, что в силу давления РС переводчик может быть вынужден отказаться от использования в ПТ на русском языке слов *цыган* /-ка /-ский.

Так, в учебных материалах по искоренению предрассудков и предубеждений, переводившихся на русский язык для организации, специально занимающейся интеграцией цыган в общество, переводчик под давлением заказчика столкнулся с необходимостью выбрать в качестве соответствия слово *рома*. Более того, чтобы избежать громоздких выражений типа: *координатор национальности рома по работе с семьями рома* (*Roma Fam-*

*ily Coordinator) или помощник учителя национальности рома (Roma teacher assistant), вводится прилагательное ромский. Разумеется, при первом употреблении слова *рома*, оказалось необходимым дать комментарий: «так предпочитают называть себя цыгане».*

Несмотря на кажущуюся искусственность таких инноваций, у них бывают шансы прижиться в общенародном языке — при возникновении широкой потребности использовать наименование, которое представляется более нейтральным (более уважительным/корректным), чем уже существующие. Примеры этому за последние годы: *в Украине* (вместо *на Украине*, чтобы подчеркнуть статус Украины как суверенного государства), *гей* (вместо *голубые/розовые* — слишком разговорного наименования или *гомосексуалисты/лесбиянки* — слишком медицинского). Любопытно, что по мере того, как слово или словосочетание становится основным способом выражения соответствующего понятия в языке, его маркированность и прагматическое значение закономерным образом подавляются.

5. В качестве заключения интересно рассмотреть, что происходит в тех случаях, когда переводчику приходится во что бы то ни стало в максимальной степени передать РС окрашенность и РС элементы ИТ. Речь идет о переводе текстов, пародирующих РС.

Пытаться ввести в ПТ лексические замены, соответствующие РС элементам ИТ, оказывается затруднительно и неэффективно. Как было показано выше, для рядового человека, близко не знакомого с англоязычной культурой, такие слова как *negr, invalid, Gypsy, American Indian*) по-прежнему являются стилистически нейтральными основными наименованиями лиц соответствующих категорий людей. И коль скоро для носителя русского языка данные номинации не обладают какими-либо отрицательными коннотациями, то использование каких-то других слов (таких, например, как *чернокожий, человек с физическими проблемами, рома, коренные жители Америки*) не создает какой-то особой маркированности текста. Можно, конечно, пытаться нарочито передавать во всех случаях замещения генерического *he*, но сможет ли русский читатель понять, для чего это делается? В самом

деле, как пародировать языковое явление, которое отсутствует в языке перевода?

Со всеми этими проблемами сталкивается переводчик известной пародийной книги Дж. Гарнера «Politically Correct Bedtime Stories». При переводе ее на русский язык для создания пародийного эффекта вводится много нарочито неуклюжих неологизмов и используются нелепым образом обычные слова: *young person* (так в пародии именуется Красная Шапочка) переводится как *юный индивид*; в других случаях слову *person* соответствует *персона*; *womyn's work* переводится как *типично женособское дело*; *mature adult u wise and nurturing matriarch* (речь идет о бабушке Красной Шапочки) переводятся как *зрелое и полноценное человеческое существо* и, соответственно, как *мудрый и заботливый матриарх*; *woodchopper person* (имеется в виду дровосек) переводится как *индивиду, зарабатывающий на жизнь заготовлением дров*; для выражения *optically challenged as a bat* подбирается соответствие *оптически неординарна как кротиха*; *speciesist* переводится как *враг живой природы*.

Следует отметить, однако, что смысл всех этих языковых инноваций остается (несмотря на все усилия переводчика) не вполне ясен для читателя перевода. Все эти языковые нелепости оказываются смешны только в общем пародийном контексте: русскоязычный читатель начинает понимать суть «политически корректных» правил и реформ, пародируемых в книге, прежде всего по тем изменениям, которые претерпевает сюжет знакомой детской сказки. Пародия в русском переводе «работает», и текст вызывает смех, но сами по себе языковые нововведения и их логика в ПТ оказываются малопонятными. Представляется, что это вполне закономерно: языковое творчество переводчика не может восполнить отсутствия в русском языке и культуре политической корректности как кодифицированной системы; у русскоязычного читателя нет представления ни о масштабах РС, ни о специфике РС словотворчества и, как следствие, возможности пародирования языковых особенностей РС на русском языке оказываются весьма ограниченными.

Проблемы перевода, возникающие в связи с РС, ярко демонстрируют неразрывность языка и культуры и свидетельствуют о необходимости интеграции аспектов перевода, связанных с куль-

турой, как в теорию, так и в преподавание перевода. Теория структуры лексического значения оказывается полезным инструментом анализа лексических единиц, позволяющим выявить прагматические элементы их значения, которые в случае «политкорректных» единиц обусловлены культурой и, с точки зрения перевода, представляют собой культурный компонент их значения. Несомненно, что применение теории структуры лексического значения в ходе переводческого анализа помогает сделать такой анализ более тонким и способствует выработке вдумчивых переводческих решений. Такой анализ помогает студентам, будущим специалистам в области английского языка, выработать навыки критического мышления, столь важные для профессии переводчика, а также позволяет приблизиться к пониманию роли переводчика как посредника межкультурного общения.

- АРИНШТЕЙН В. М., 1997. Движение за «политическую корректность» и его языковая политика // *Studia Linguistica IV*. СПб.
- АРИНШТЕЙН В. М., 2001. Язык и социокультурный контекст. СПб.
- НИКИТИН М. В., 1983. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М.
- НИКИТИН М. В., 1997. Курс лингвистической семантики. СПб.
- НИКИТИН М. В., 2001. Знак — значение — язык. СПб.
- BERDY M. A., 2002. The word's worth // *The St. Petersburg Times*, November 29.
- GARNER J. F., 1994. Politically correct bedtime stories. New York.
- RIABOVA M. Yu., 2001. Translation and sociolinguistics: sexist language as a translator's problem // *Translation and meaning. Part 5*. Maastricht.

И. Н. Хольмстрём

LA FORMATION DE LA COMPETENCE COMMUNICATIVE DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRAN3AISE

La tâche de la formation de l'espace commun européen éducatif est une des principales dans la Déclaration mondiale de l'enseignement supérieur acceptée en 1998: «Dans les conditions du développement des processus d'intégration en Europe la politique éducative dont la base est l'idée de la «dimension européenne dans l'éducation» vise à former une vision commune dans les systèmes nationaux d'enseignement et à créer «une harmonisation» des systèmes d'enseignement» [Балысникова, 2007 : 33]. Dans les conditions de la mondialisation les questions de la préservation de la souveraineté nationale et des cultures des pays participant au processus de Bologne deviennent actuelles.

L'intégration de l'enseignement supérieur au processus de Bologne fait voir la langue sous un aspect nouveau puisque c'est elle qui est un des moyens principaux des relations communicatives des gens dans l'espace informationnel. Le programme innovant éducatif «Création du système innovant de préparation des spécialistes dans le domaine des technologies humanitaires pour la sphère sociale» réalisé à l'Université Pédagogique d'Etat A. I. Herzen «résout les problèmes de la préparation, du recyclage et de la formation continue du personnel concernant une orientation innovante de l'activité, aussi ce programme se pose comme un système d'auto-adaptation du renouvellement innovant des méthodes, des formes et de la technologie de l'enseignement dans l'école supérieure sur la base moderne scientifique et méthodologique prenant en considération et développant les études les plus récentes du pays et étrangères interdisciplinaires dans la sphère de la communicative et des stratégies communicatives» [Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере, 2007 : 24].

Les centres de français langue étrangère figurant dans ce répertoire font souvent référence au Cadre européen commun de référence [Petertoire de centres de français langue etrangere en france, 2007]. Le Cadre européen commun de référence pour les langues,

appelé communément CECRL, CECL ou «le Cadre», est un outil permettant la description des processus d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation des langues vivantes. Initié à la demande du Conseil de l'Europe afin de promouvoir le plurilinguisme, il résulte d'une longue phase d'élaboration menée par des professionnels de la didactique des langues étrangères entre 1991 et 2001. Le CECL a le mérite de favoriser la lisibilité et la comparabilité des dispositifs de formations et certifications linguistiques. Aujourd'hui, grâce à cet outil, et quelle que soit la langue étudiée, il est possible de réaliser des parcours d'apprentissage structurés et d'évaluer les acquis qui en découlent de manière objective.

Depuis 2001 adoptent progressivement le Cadre européen commun de référence et calibrent leur offre de cours sur l'échelle des niveaux de compétences. Cette échelle est une arborescence en trois niveaux généraux, lesquels se déclinent à leur tour en sous-niveaux. Le tableau ci-contre rend compte de cette organisation:

1. Utilisateur élémentaire, A1.

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant — par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. — et peut répondre au même type de questions.

2. Utilisateur élémentaire, A2. Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

3. Utilisateur indépendant, B1. Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses

domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, ne expérience ou un rêve, écrire un espoir ou un dut et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

4. Utilisateur indépendant, B2. Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

5. Utilisateur expérimenté, C1. Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

6. Utilisateur expérimenté, C2. Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

Chaque niveau, de A1 à C2, correspond à un profil linguistique global. Afin de spécifier chacun d'eux, le CEFR propose une description précise et détaillée des compétences suivantes : écouter, lire, prendre part à une conversation, s'exprimer oralement en continu, écrire. À la lumière de ces types de compétences, les 6 niveaux de l'échelle globale deviennent plus lisibles aussi bien pour les professionnels.

L'information joue le rôle principal dans notre monde moderne changeant et variable. À l'aide des possibilités techniques des mass-média modernes et d'Internet il y a «une saturation complète» des besoins d'information de la personne. De plus en plus l'utilisation du terme «nanotechnologies» devient populaire. C'est pourquoi dans l'espace moderne d'information le problème de la compréhension est devenu un des actuels.

Ce problème est une des caractéristiques marquantes de notre temps. Avec la quantité immense d'information deux questions apparaissent: sur la qualité et l'authenticité de l'information et sur la possibilité de sa perception juste et de sa compréhension. De ce fait les technologies de la «fabrication» de l'énonciation-message juste attirent une grande attention. Telle énonciation s'aligne compte tenu de deux moments principaux : a) pour qu'on entende, b) pour qu'on comprenne. Mais c'est déjà le travail pour le résultat qui suppose la réponse claire à la question posée.

De ce fait la question des stratégies communicatives liée aux moyens de l'organisation du message semble très importante. Aujourd'hui l'énonciation compétentement construite prenant en considération le facteur du destinataire et le but concret est un des composants du succès. Il est important non seulement qu'est-ce que vous parlez, mais aussi à qui vous parlez et pourquoi vous parlez cela, soi-disant «l'horizon de l'attente» de votre message. La manière de votre langage parlé dépend de la compréhension de la fonctionnalité du modèle moderne de l'événement communicatif.

Au début des années 20 du siècle passé M. Bakhtine a désigné l'existence du problème des «genres du discours». L'énonciation de parole était comprise par le savant comme le phénomène social, la coopération du récepteur, du destinataire et du monde environnant. Plus tard l'événement communicatif a reçu le nom du discours (M. Foucault), la coopération des esprits par les moyens du texte.

La question de la compréhension de l'énonciation est liée aujourd'hui aux questions de la formation des compétences communicatives de la personne linguistique.

La compétence communicative comprend quelques composants: «la compétence linguistique (le maniement d'une langue ou des langues suffisant pour aller au fond du message oral ou du texte écrit); la compétence sociolinguistique (la connaissance et la capacité à engendrer et à comprendre le message dans le contexte en prenant en considération le sujet, le but du message, l'état des communicateurs); la compétence discursive (la capacité à faire des rapports entre la forme et la signification compte tenu des genres divers); la compétence stratégique (le maniement des stratégies diverses communicatives)» [Беляева, 2008: 3–4]. Ainsi la personne

compétente possède l'ensemble des connaissances et des savoir-faire universels dont la base est une expérience de la recherche autonome de l'information et de son analyse: «La compétence communicative de la personne linguistique s'appuie sur son bagage de culture générale, est formée et est corrigée lors de la pratique de parole ou de l'enseignement orienté à but choisis. La présence de la compétence communicative est le critère de la culture communicative de la personne linguistique et sert d'un des critères importants de la culture générale de la personne» [Козырев, 2008: 32].

Au cours de l'enseignement de la langue étrangère on forme les compétences suivantes professionnelles:

1) la *compétence communicative* comprenant

a) la compétence linguistique,

6) la compétence discursive (la capacité à utiliser adéquatement les moyens linguistiques pour la construction des énonciations et des textes conformément aux normes de la langue parlée et écrite);

2) la *compétence professionnelle opérationnelle* (la connaissance des standards, des procédures et des protocoles de l'organisation de l'activité professionnelle);

3) la compétence socioculturelle (la connaissance des particularités nationales et culturelles des pays de la langue étudiée, des règles du comportement verbal et non verbal dans les situations typiques et le savoir-faire de réaliser son comportement verbal ou non verbal conformément à ces connaissances).

Le but posé et la formation des compétences ci-dessus indiquées sont atteints par la décision des tâches suivantes concrètes:

1) approfondir les connaissances des règles du système linguistique de la langue française,

2) perfectionner le savoir-faire de réaliser le dialogue en langue étrangère concernant les sujets macroéconomiques et professionnels ainsi que la polémique scientifique,

3) continuer l'étude des aspects et des formes des contacts d'affaires, de l'éthique des relations d'affaires,

4) perfectionner les savoir-faire de la lecture étudiante et de skimming des textes présentant de l'intérêt professionnel,

5) perfectionner les savoir-faire de la traduction complète et au choix en russe du texte concernant les sujets économiques présentant de l'intérêt professionnel,

6) perfectionner le savoir-faire de faire et réaliser les énonciations sous forme de monologue concernant les sujets professionnels (exposés scientifiques, présentations, interventions, rapports),

7) perfectionner le savoir-faire de la perception et de la compréhension du contenu total des segments de parole prononcés en français dans le rythme ordinaire de la parole (conférences, exposés etc.) concernant les sujets macroéconomiques et professionnels,

8) perfectionner le savoir-faire de la composition en langue étrangère des types particuliers de la documentation, de la correspondance d'affaires, des rapports etc.

La tâche actuelle du stratège communicatif aujourd’hui est de créer, dans l'espace immense d'information, son itinéraire — discours individuel qui amènera au destinataire nécessaire et sera compris par lui. De ce fait la «compétence» est comprise comme le résultat uniquement possible et «les stratégies communicatives» comme les genres de discours, formations de discours selon le savant français M. Foukault, comme les moyens de la transmission du sens, de la signification.

БАЛЯСНИКОВА Л. А., БРАЖНИК Л. А., ЗОЛОТУХИНА Н. Ф., 2007. Качество высшего образования: Экономические и культурные императивы в контексте Болонского процесса// Вестник Герценовского университета. СПб. №8.

БЕЛИЕВА Л. Н., 2008. Гуманитарные технологии vs гуманитарные науки в аспекте подготовки современного специалиста// Вестник Герценовского университета. СПб. № 1.

КОЗЫРЕВ В. А., ЧЕРНЯК В. Д., 2008. Языковое образование и языковая личность// Вестник Герценовского университета. СПб. №1.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 2007. Вестник Герценовского университета. СПб., № 4.

PETERTOIRE DE CENTRES DE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE EN FRANCE, 2007. Département Publications et Ecrit, Paris.

И. А. Шалудъко, А. В. Иванова
**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
 И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА**

*...me in interpretatione Graecorum,
 absque Scripturis sanctis, ubi et verborum
 ordo mysterium est, non verbum e verbo,
 sed sensum exprimere de sensu...*

Hieronymus. Ad Pammachium.¹

Настоящая статья посвящена изучению роли лингвистического анализа для понимания и адекватного перевода текста. Сразу оговоримся, что положения, которые будут сформулированы ниже, основаны на анализе переводческих ошибок и неудач, обнаруженных нами в русском переводе испанского литературного текста, а потому ни в коей мере не претендуют на роль общих постулатов. Актуальность подобного исследования обусловлена тем тревожным фактом, что в некоторых работах по современному переводоведению значимость лингвистического анализа как приема переводческой деятельности сознательно сводится к нулю (Д. Селескович, М. Ледерер, Ж. Делиль, Т. И. Бодрова-Гоженмос и др.). Ситуация усугубляется тем, что авторы этих работ, исходя из абсурдного, на наш взгляд, тезиса о диссоциации таких элементов переводческой деятельности как исходный язык и язык перевода, язык и мысль, ничтоже сумняшееся провозглашают создание «общей теории перевода».²

¹ ...в переводе с греческого, за исключением Священного Писания, где и порядок слов есть таинство, выражено не слово словом, а смысл смыслом... Св. Иероним. Письмо Паммахию.

² Заметим, что абсурдный характер данного постулата проявляется именно в попытке его универсализации. Дело в том, что его появление в рамках интерпретативной модели (ИМ), иными словами, модели устного (изначально синхронного!) перевода, вполне объяснимо: «при той скорости, на которой осуществляется синхронный перевод (около 150 слов в минуту), невозможен ни анализ лингвистических структур, ни запоминание слов говорящего, поскольку последние улетучиваются из памяти переводчика, а что в ней сохраняется, так это смысл в невербальной форме, который требует выражения средствами другого языка» [Hurtado Albir, 2007: 324]. Сторонники ИМ априорно исходят из того, что текст оригинала понят полностью, и понят верно, поэтому герменевтический аспект перевода как таковой, по сути, оказывается за рамками данной концепции, что оправдано, с известными оговорками, только в случае устного перевода специ-

Материалом данного исследования послужили литературные тексты разных жанров: художественная проза К. Х. Селы и публицистика А. Переса-Реверте.

В специальной литературе приводится несколько классификаций ошибок перевода, основанных на разных критериях: содержательных, формальных, методологических [Hurtado Albir, 2007: 289–308]. Пристальное внимание в современном переведоведении уделяется *смысловым ошибкам*, градуируемым по шкале *неточность — противоположный смысл — бессмыслица*. Поиск их причин приводит исследователей к вполне предсказуемому выводу о том, что самые грубые ошибки обусловлены лингвистическими факторами семантико-синтаксической природы [там же: 293]. Предпринятый нами анализ переводческих промахов, допущенных профессионалами (а следовательно, свидетельствующих о том, что от подобных неприятностей не застрахован никто), показывает, что единственным надежным способом избежать профессиональных неудач является лингвистический анализ исходного текста, позволяющий представить его смысловую структуру как взаимодействие явно выраженных элементов содержания и скрытых смыслов и таким образом минимизировать усилия по их «интерпретации». Создание скрытого содер-

алистами-билингвами. Распространение же данной модели на все виды перевода, несмотря на существование очевидного и принципиального различия устной (дискурса) и письменной формы вербальной коммуникации, вызывает принципиальные возражения. Но самым поразительным является даже не сама попытка протащить частное положение на универсальный уровень. В шоковое состояние приводит тот факт, что некоторые сторонники ИМ умудряются увязать ее сомнительные положения с идеями М.М. Бахтина (см. [Бодрова-Гоженмос, 2002]). Не вступая в полемику со сторонниками ИМ (в конечном итоге, всякое понимание чужих идей – результат интерпретации, порой верной, а порой ошибочной), ограничившись следующими замечаниями. Во-первых, в отличие от своих новоявленных «апологетов» от традукологии, М.М. Бахтин отчетливо понимал, что смысл неотделим от языковой формы выражения: «Единство формы есть единство активной ценностной позиции автора-творца, осуществляющейся при посредстве слова (занимание позиции словом), но относящейся к содержанию» [Бахтин, 1975: 69]; во-вторых, неприменимость лингвистического анализа для исследований на уровне текста, на которую указывал исследователь, имеет простое объяснение: лингвистика начала XX в. не располагала приемами и методами работы с текстом, словами М.М. Бахтина, «не во всех отделах равномерно <...> сумела методически овладеть своим предметом» [там же: 45].

жания, иными словами *имплицитной информацией (ИИ)*, при функционировании языка обусловлено действием закона экономии, универсальным языковым механизмом которого является *компрессия* [Зеликов, 1999: 10]. На уровне текста можно выделить шесть типов компрессионного механизма: (1) системная, (2) структурная, (3) структурно-семантическая, (4) семантическая, (5) прагматическая компрессия и (6) символизация, или коннотация.³ Игнорирование любого из перечисленных феноменов в отдельности или в их совокупности неизбежно приводит к ошибкам перевода, вплоть до самых грубых. Покажем это на конкретном материале.

(1) Системная компрессия — это такой вид подразумевания, который основан на системных (пространственно-временных и причинно-следственных) связях между реальными фактами — импликациях, которыми изобилует любой текст. Этот тип компрессии, подчиняющийся универсальным закономерностям, как правило, не представляет сложности для перевода. Тем курьезнее случаи текстовых неувязок, обусловленные ложными импликациями. Ср.: *La noche es de música, humo de cigarrillos, cerveza Pacífico y tequila en el Quijote de Culiacán, Sinaloa. Mis amigos celebran un negocio reciente, y además, como cada día, el hecho milagroso de seguir vivos. ... Luego la seguimos en el Lord Black. Un téibol. Música discotequera* [Pérez-Reverte: 87] «Ночь. Музыка, сигаретный дым, пиво «Пасифико» и текила в “Дон-Кихоте”, город Кульякан в штате Синалоа. Мои друзья справляют удачную сделку, а в придачу и ежедневное — что чудесным образом еще живы. ... Мы проводили ее потом до “Лорда Блэка”. Здесь “тейбол”. Музыка — будто на дискотеке» [Перес-Реверте: 85–86]. Учитывая то, что в левом контексте не появляется ни одной особи женского пола, за которой можно было бы следовать, трактовка переводчиком выделенного элемента является совершенно необоснованной. Логика событий, создающая текстовые связи, обуславливает единственную возможную интерпретацию: «Вечер с музыкой, сигаретным дымом, пивом “Пасифико” и текилой в баре “Дон Кихот” в Кулиакане, штат Синалоа. Мои друзья отмечают удачную сделку, а в придачу то, что чудом всё еще живы. ...

³ Подробнее о данной типологии см.: [Шалудько, 2005; 2008]

Потом мы продолжаем [вечеринку] в “Лорде Блэке”. Танец на столе. Дискотечная музыка».

(2) Структурная компрессия является источником национально специфических типизированных синтаксических структур с опущенными и легко восстановимыми элементами — эллиптических моделей⁴ и других компрессионных синтаксических образований. Следовательно, умение восполнять недостающие компоненты синтаксической структуры является необходимым условием понимания и адекватного перевода. *Y cuando lo piensas, a quien de verdad te gustaría borrarle la sonrisa es a los empresarios sin escrúpulos que con su avaricia persuaden a los inmigrantes de que es más rentable el hachís en Torrevieja que un invernadero de Lorca* [Pérez-Reverte: 163] ← “es más rentable vender el hachís en Torrevieja que currar en un invernadero de Lorca” «А подумав, кому действительно хотелось бы стереть улыбку, так это тем наглым дельцам, чья алчность убеждает иммигрантов в том, что выгоднее торговать гашишем в Торревьехе, чем вкалывать в теплицах в Лорке». Невнимание к структурной неполноте приводит к порождению настоящих монстров перевода: «А вот кому действительно стоило бы начистить физиономию, так это тем мерзавцам, которые из жадности и в погоне за барышом уговаривают иммигрантов заниматься продажей гашиша в Торревьехе, где когда-то проводил зимы Лорка» [Перес-Реверте: 173]. Еще один факт игнорирования переводчиком структурных особенностей высказывания покажем на примере, в котором имеет место совмещение двух основных тенденций языкового функционирования — к сокращению и к расширению, сп.: ¡Y quiero comprarme una cajetilla entera y no fumarme las colillas del bestia! [Cela: 306] ← “... y no fumarme las colillas de la bestia de mi cuñado” «И еще, хочу купить себе пачку папирос, целую, а не докуривать окурки этого канальи [= моего чертова зятя]». Элементарное внимание к форме атрибутивной структуры (ср.: определенный артикль м. р., тогда как bestia — ж. р.) проясняет, что здесь эллиптическая модель эмфазы атрибута существительного со значением лица м. р. (последнее опущено, но вполне восстановимо из ближайшего контекста; кроме того, на страницах романа неодно-

⁴ Исчерпывающее описание последних на иберо-романском материале см.: [Зеликов, 2005].

кратно встречается: *la bestia de González / la bestia de mi cuñado*). Ср. решение переводчика: «Я хочу купить себе целую пачку и не курить эти собачьи окурки!» [Села: 271]. На то, что это не просто «собачьи окурки», а именно контекстуальный эллипсис «окурки зятя» указывает и тот факт, что персонаж, которому принадлежит реплика, Мартин Марко, уходя от сестры, вынес из ее дома конверт с окурками, заботливо собранными специально для него, о чем не раз упоминается в тексте.

(3) Суть структурно-семантической компрессии состоит в опущении звеньев при вербализации мыслительной цепи. Этот тип компрессии универсален. Его результатом является лакуна, алогизм или анахолуф. Данный способ создания ИИ, в силу универсальности механизма, не требует использования переводческих приемов (в частности, расширения структуры). Однако сочетание этого механизма со структурной компрессией может привести к ошибкам перевода. Así que también yo he mandado un mensaje por Internet y por teléfono móvil: «Si los tontos volaran, El Semanal lo leeríamos a la sombra. Pásalo» [Pérez-Reverte: 534] ← “*Hay tantos tontos que si volaran, cubrirían el sol* y El Semanal lo leeríamos a la sombra. *Lee este mensaje y pásalo al siguiente*” «Так что я тоже послал по Интернету и мобильному телефону сообщение: “Если бы дураки летали, “Эль Семаналь” мы бы читали в тени. Передай дальше”, ср.: «Если бы дураки летали, “Семаналь” пришлось бы читать исключительно в тени. *Не берите в голову*» [Перес-Реверте: 644].

(4) Семантическая компрессия заключается в универсальной по своей природе семантической деривации (метафоризации) имплицитного смысла структурой эксплицитного значения, результат которой зачастую идиоэтничен. *Ahí está la madre del cordero, me digo* [Pérez-Reverte: 144] «*Вот где собака зарыта*, говорю я себе», ср.: «Так вот она, овца, мать ягненочка, говорю я про себя» [Перес-Реверте: 147]. Ср. также: *Me acordé de él de repente porque lo vi en la calle. —¡Con lo grande que es Madrid! <...> —¡Ca, es un raiuelo!* [Села: 318] «*Вдруг вспомнила о нем, потому что видела его на улице. — Надо же — встретились в таком большом городе. — Подумаешь, пятакочек!*» [Села: 279]. Последнюю реплику можно было бы перевести более адекватно: «Куда там! *Мир тесен!*», если рассматривать ее как зевматическую модель, ср.:

¡Ca, es un pacuelo! ← [Madrid] es un pacuelo, где *Madrid* занимает позицию существительного *mundo* исходного фразеологического сочетания *El mundo es un pañuelo* — «Мир тесен!».

(5) Механизм прагматической компрессии состоит в создании имплицитных иллокуций, имплицитной модальности, имплицитной оценки денотата и имеет идиоэтнический характер. В связи с тем, что именно на уровне прагматики формируется смысл высказывания, ему необходимо уделять особое внимание при переводе. Ср.: ...cuando antes uno necesitaba el número de teléfono de, no sé, los Legionarios de Cristo por ejemplo, para apuntarme — me hizo ver la luz el reportaje de El Semanal de hace un mes *sobre la salvaciyn alternativa*—, marcaba el 003... [Pérez-Reverte: 404] «... когда в былье времена тебе нужен был номер телефона, ну скажем, Воинства Христова, чтобы вступить в его ряды — меня *просветил* репортаж месячной давности в “Эль Семаналь” *насчет альтернативной формы спасения* — ты набирал 003...». Ирония, сквозной прием публицистики А. Переса-Реверте, бесследно исчезает в следующем переводе: «...было время, когда, чтобы узнать какой-нибудь номер телефона, к примеру Христова Воинства, мне достаточно было — *всё это разъяснялось* в одном из репортажей “Семаналя” месячной давности — набрать 003...» [Перес-Реверте: 472]. Ложную интерпретацию целой прагматической ситуации дает переводчик в следующем примере, не замечая компрессионного характера оригинального текста, тогда как автор далеко не случайно использовал здесь явление энантиосемии — совмещение противоположных значений в одном слове. Ср.: Laurita frunció el morro; cuando se sentaron en el sofá, no cogiy las manos a Pablo, como de costumbre. Pablo, en el fondo, sintió cierta sensación de alivio. — Oye, ¿quién es esa chica? — Una amiga. [Cela: 177] «Лаурита надула губки; когда они сели на диванчик, она не взяла Пабло за руки, как обычно. *Пабло ощущил некоторое облегчение*. — Слушай, кто эта девушка? — Приятельница моя» [Села: 201]. Отметим, что переводчик в данном случае оставляет без внимания своеобразную диалектику значений выделенной синтаксической структуры: *alivio* — 1) облегчение, смягчение, разрядка (конфликта); 2) *de alivio* — жуткий, невозможный. Последнее как результат компрессии, ср.: ← *sensación* [que tiene necesidad] *de alivio*, букв. «ощущение, требующее разрядки»,

т. е. некое неприятное состояние, предчувствие. О том, что ощущение персонажа является именно «неприятным», свидетельствует последующий диалог, в котором спутница ревниво высматривает у кавалера, что за девушка с ним только что поздоровалась. В тексте перевода смысл прямо противоположный, и персонаж, несмотря ни на что, чувствует себя прекрасно.

(6) Коннотации различных типов (подтекст, аллюзия, каламбур, паронимия, принадлежность к определенному стилевому регистру, табуированность и др.) — частотный способ создания ИИ в литературном тексте. Ср. заголовки-реминисценции статей А. Переса-Реверте: *Beatus ille* [Pérez-Reverte: 187] «Блажен кто» vs. «*Остров Beatus*» [Перес-Реверте: 198], *Reyes Magos* у *Magas* [Pérez-Reverte: 523] «Волхвы и Волхвицы» vs. «*Короли-Magi и Magиссы*» [Перес-Реверте: 629]. Излюбленным приемом этого автора является скрытая цитата. Так, в ряде статей находим аллюзию на крылатую фразу Х. М. Аснара *España va bien* «В Испании все хорошо»: ...esta *España que dicen va de cojón de pato...* [Pérez-Reverte: 148] «...нынешняя Испания, в которой говорят всё официально...», ср.: «...*Испанией, про которую говорят, что ее дела идут хреновее некуда...*» [Перес-Реверте: 138]. См. также [Pérez-Reverte: 258; 352].

Кроме «простых» ошибок, состоящих в единичном факте смыслового несоответствия, в исследуемых текстах нами обнаружены также случаи «сложных», представляющих собой сочетания простых, и «комплексных» промахов, которые основаны на принципе домино.

(2+4) *Qué pasa con la parafina, digo, tirándome el pegote en plan experto en hidrocarburos* [Pérez-Reverte: 83] ← «... *en plan de experto*» «Что у вас там с парафином, — говорю я, кичясь своими глубокими познаниями в области углеводородов» (букв. выдавая себя за эксперта), ср. интерпретацию В. Кардаильского как пример сложной ошибки: «— Что у вас там с парафином? — спрашиваю я самым строгим голосом, как бы стучая альпаратой по графику содержания углеводородов» [Перес-Реверте: 80].

Ср. примеры комплексных ошибок:

(1+2) *El matrimonio González vive al final de la calle de Ibiza, en un pisito de los de la Ley Salmón...* [Cela: 119] ← ...vive <...> en un pisito de los que se construía tras la aprobación de la Ley

Salmón... «Чета Гонсалес живет в конце улицы Ибисы в небольшой квартирке из тех, что строили при министре Салмоне...». Игнорирование фоновой информации⁵ и структурной неполноты высказывания, ни в коей мере невосполнимое слепой верой в силу чудодейственной «языковой когниции» [Демьянков: 27], порождает переводческие заблуждения, подобные следующему: «Чета Гонсалес живет в конце улицы Ибисы, снимает квартирку у домохозяев, исповедующих веру Соломонову...» [Села: 168].

(1+2+5) Además, siempre ha sido más generoso conmigo que yo con él. Tiene esa habilidad, el muy cabrón, ducado de Corso incluido. Por eso estoy en deuda. Me fastidia, la verdad. Pero lo estoy [Pérez-Reverte: 215–216] «Кроме того, он всегда был более обходителен со мной, чем я с ним. Он, злодей, на все способен, он же корсиканский герцог. Так что я даже ему обязан. Это меня несколько беспокоит, по правде. Но все-таки обязан» [Перес-Реверте: 230]. Данный пассаж — образчик переводческой фантазии, возникший на почве неумения восстановить ИИ текста, ключевым элементом которой является аллюзия (титул герцога Корсо), ср. корректный перевод: «Кроме того, он всегда был более щедр со мной, чем я с ним. Есть у него, мерзавца, такая способность [= быть щедрым], от него я получил в том числе титул герцога Корсо⁶. За это [= за его щедрость] я у него в долгу. Мне это неприятно, по правде. Но я его должник».

Итак, адекватность перевода — функция многих аргументов. Важное место в их ряду занимает лингвистическая компетенция переводчика, его способность осуществить предпереводческий анализ языковой формы исходного текста как на уровне элемен-тарных единиц синтаксиса, так и на уровне текстового единства. При этом самое пристальное внимание следует уделять импли-

⁵ Закон, о котором идет речь в оригинальном тексте, весьма далек от иудейского канона. Он был принят во времена 2-ой Республики (1931–1939) для решения жилищного кризиса и предоставлял льготы среднему классу при строительстве арендного жилья. В городской архитектуре 30-х гг. XX в. в Испании в связи с этим сложился особый стиль, т. н. “estilo Salmón” по имени автора закона — члена правительства 2-ой Республики, министра Федерико Сальмон Аморио.

⁶ Данный титул, а также титул королевского Учителя Фехтования Хавьер Мариас как короля острова Редонда, легендарного королевства, помещенного на необитаемый остров в Карибском бассейне, присвоил своему соотечественнику и коллеге по цеху в 1999 г.

цитному (неявному) содержанию, ввиду его способности модифицировать эксплицитную семантику и зачастую доминировать в смысловой структуре текста.

Изложенный материал, при всей его ограниченности, обусловленной рамками настоящей публикации, служит убедительным доказательством того, что передача «общего смысла», игнорирующая лингвистический анализ, на которую ориентируют переводчиков специалисты по устному переводу, совершенно не применима к работе с письменным текстом, поскольку наносит значительный урон не только его содержательной полноте, важным элементом которой является специфика его языковой формы, т.е. стиль, но и самому смыслу, в лучшем случае, наделяя его атрибутом *неточный*, на следующей ступени искажая его до *противоположного*, в пределе же, обращая его в *бессмыслицу*.

- БАХТИН М. М., 1975. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.
- БОДРОВА-ГОЖЕНМОС Т. И., 2002. Концепция М.М. Бахтина и интерпретативная теория перевода// Вестник ВГУ. Серия Лингвистика и межкультурная интерпретация. № 3.
- ДЕМЬЯНКОВ В. З., 1994. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода// ВЯ. № 4.
- ЗЕЛИКОВ М. В., 2005. Компрессия как фактор структуры и функционирования иберороманских языков. СПб.
- ЗЕЛИКОВ М. В., 1999. Функционирование и происхождение эллиптических моделей (на материале взаимодействия баскского и иберороманских языков): Автореф. дисс... док. филол. наук. СПб.
- ШАЛУДЬКО И. А., 2005. О способах создания имплицитной информации в тексте// Studia Linguistica XIV. СПб.
- ШАЛУДЬКО И. А., 2008. Имплицитная информация испанского текста: анализ и перевод (в печати).
- HURTADO ALBIR A., 2007. Traducción y traductología. 3^a ed. Madrid.
- CELA, 2008. — Cela C. J. La colmena. СПб.
- PÉREZ-REVERTE, 2006. — Pérez-Reverte A. No me cogeréis vivo (Artículos 2001–2005). Madrid.
- ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ, 2006. — Перес-Реверте А. Живым не возьмете: Эссе. Пер. с исп. В. Кардаильского. М.
- СЕЛА, 1970. — Села, К. Х. Улей. Пер. с исп. Е. Лысенко// Села, Камило Хосе. Семья Паскуаля Дуарте. Улей. Повести и рассказы. М.

ФАНТАЗИЙНО-ИГРОВОЕ НАЧАЛО ЯЗЫКА И ТЕКСТА

И. А. Каргаполова

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ АБСУРДА (NONSENSE)

Тема абсурда как понятийной области, противостоящей «правильному» или «здравому» смыслу (“absurd”: от лат. *absurdus*, *contrary to reason, inharmonious* [Skeat, 1993: 482]), всегда была актуальна для научных дисциплин, исследующих знаковые системы (лингвистика, металогика, литературоведение, математика, философия, культурная антропология). Но если в точных науках существует условно-единственное (или, во всяком случае, сходное) понимание абсурда, то в гуманистике диапазон его трактовок весьма широк. При невозможности дать понятию «реальное» определение принято обращаться к определениям «номинальным», «семантическим» и «контекстуальным», т.е. к анализу синонимичных и словесно-ассоциативных рядов в лексикографических, естественно-разговорных и научных контекстах. С этого, как правило, начинаются и лингвистические исследования «абсурда» — как в узкой («технико-поэтической»), так и широкой (дискурсной) его трактовке. В словарных дефинициях абсурд отождествляется с нелепостью, тривиальной бессмыслицей и глупостью (ср. Ассоциативный ряд «абсурда»: *ridiculous, preposterous, irrational, incongruous, unreasonable, foolish, silly, asinine, crazy, stupid, ludicrous, nonsensical, senseless, laughable, farcical, meaningless* [Fergusson, 1992: 4]. При описательно-эмпирическом подходе «странные», алогичные или «бессмысленные» высказывания анализируются в терминах языковых аномалий разного уровня. Соответственно, в зависимости от средств их создания выделяются четыре типа абсурда [Мей, 1998: 651–653]:

- фонетический, более известный как «заумь»;
- неологический, обычно создаваемый по непродуктивным словообразовательным моделям, часто не удовлетворяющий требованиям языковой нормы и поначалу вызывающий неприятие и даже «эстетический шок»;
- семантический, представленный дескрипциями, не согласующимися с общими знаниями о мире;

- прагматический, возникающий в результате неправильного применения (или нарушения) дискурсных правил, лежащих «по ту сторону языка, но по эту сторону высказывания» [Тодоров, 2001: 388].

Но классификационный характер исследований не способствует раскрытию «неправильного смысла», заложенного в абсурде. Между тем, интерес к нему, по-видимому, испытывают не только исследователи языковой культуры, но и ее рядовые субъекты. Об этом свидетельствуют многочисленные, устойчивые в своей популярности образцы «народного творчества», широко использующие приемы абсурда.

Второе направление представлено исследованиями, авторы которых всерьез восприняли идеи экзистенциальной философии и концепцию *homo absurdus*, изложенную в известном эссе А. Камю и нашедшую художественное воплощение в литературе и на сцене. Соответственно, в синонимический ряд понятия при расширенном его толковании включаются слова, смысл которых можно объяснить лишь со ссылкой на тот или иной научный и историко-культурный контекст: “*burlesque*”, “*surrealism*”, “*carnivalesque*”, “*folly literature*”, “*pataphysics*” или “*metaphysics of nonsense*” [Cuddon, 1992: 596, 967]. Сторонники этого направления весьма скептично относятся к понятию языковой аномалии, считая, что «язык предназначен не только для типичных, но «для всех вообще ситуаций — реальных или воображаемых» [Успенский, 2007: 126], нелепых и серьезных. По справедливому замечанию Б. А. Успенского, создать «бессмысленный текст» чрезвычайно трудно: невозможно изъять из языка план содержания, тем самым лишив его (язык) способности играть собственными смыслами, хотя бы и вопреки воле говорящих. С другой стороны, нельзя отнять у человека потребность в интерпретации этих смыслов. Знаменитые бессмыслицы типа «бесцветных зеленых идей» и «глокой куздрь» на самом деле таковыми не являются. Первые (“Colorless green ideas sleep furiously”) просто не вписываются в наш повседневный опыт и потому являются «именно проблемой нашего опыта, а не проблемой смысла». Интерпретация же вторых (“The vapy koobs dasaked the citar molently”) затруднена не потому, что они не могут быть поняты, а «потому, что возможности их понимания неограниченны» [Там

же: 171, 188]. В большинстве работ дискурсно-философского плана утверждается, что абсурд по-своему логичен и представляет собой своеобразный метод познания, действующий в обход здравого смысла. Он создает иную («изнаночную») реальность и соответствующие ей картину мира, идеологию, эстетику и т.д. Декларируемой целью таких исследований является обнажение этой «минимальной (local) логики» и «философии» абсурда.

Сравнение узкого и широкого пониманий абсурда порождает вопросы методологического характера, а именно:

- Можно ли «примирить» два разных подхода к объекту (описательно-эмпирический и абстрактно-теоретический), два уровня его осмыслиения (наивно-языковое и философское) и две разные его оценки (абсурд как нечто комическое и аномальное vs драматичное и наделенное глубоким смыслом)?

- Можно ли выделить какой-то существенный признак, который был бы одинаково значим для описания абсурда как в узком, так и расширенном его понимании, и, соответственно, мог бы синтезировать выводы, полученные в рамках обоих исследовательских направлений?

И в технике создания абсурда (т. е. в языковых аномалиях), и в его «метафизике» ощущается действие общей тенденции, которую можно определить как *антиструктурная направленность* (т. е. способность автономной системы к нарушению собственного равновесия и, в конечном итоге, к изменению и обновлению). В современной лингвистике антиструктурность (или, метафорически говоря, «действие в языке невидимой руки изменений») нередко именуется «антисистемностью», что вполне объяснимо, поскольку общепринятого разграничения понятий «система» и «структура» до сих пор не существует [ЯБЭС, 1998: 452–453]. При этом антиструктурность/антисистемность понимается не как отрицание системности/структурности, а как ее продолжение, ее издержки. В частности, появление аномалий обусловлено такими свойствами языковой системы как гибкость, асимметрия формы и содержания, наличие центра и периферии, доминантных и рецессивных черт, консервативных тенденций и инноваций и т.д. С другой стороны, в культурологических исследованиях «антиструктурность» приписывается некоторым видам человеческого поведения, которое, в зависимости от контекста и задач исследо-

вателя, именуется «антиповедением», «контркультурой», «играми беспорядка» и т.п. В британской антропологической школе, к которой в основном причисляют себя исследователи такого поведения, «структура» вообще употребляется синонимично «культуре», обнажая таким образом смысл, вкладываемый в понятие антиструктурности. Из этих сопоставлений следует вывод о том, что и поверхностный, и глубинный планы абсурда можно описывать в терминах единого категориального аппарата.

Предваряя схему такого описания, сформулируем ряд исходных постулатов в их логической последовательности:

а) Абсурд в осознаваемых, семиотических его формах — это явление культурное, а не исключительно языковое.

б) По общему определению, культура — «это совокупность знаковых систем, важнейшей из которых является язык» [ФЭС, 1989: 630].

в) Составными частями культуры, неотделимыми от повседневного опыта ее субъектов, являются язык, картина мира (как «наивная», так и научная) и совокупность форм общения или репертуара «языковых игр».

г) Соответственно, абсурд как явление антиструктурной (и, в широком смысле, антикультурной) направленности стремится «перелицевать» составные части культуры и создать свой собственный «антязык», свой «антимир» и альтернативные правила коммуникации.

д) Поскольку речь идет об антиструктурной тенденции в знаковых системах, описание ее «разрушительного» эффекта также следует представить в семиотических категориях — по примеру О. Дубравки, анализирующего русскую футуристическую поэзию в рамках так называемого «категориального семиотического четырехугольника», где четвертая его грань — «культурно-синхроническая» [Дубравка, 1991: 57–80] — отражает связь между знаком и культурой. Такой анализ, позволяет не только систематизировать языковые явления, но и обнаружить некоторые аксиомы культуры, преломленные в сознании ее субъектов («ментефакты»).

Ниже демонстрируются приемы «покушения» абсурда на основной компонент культуры, на «важнейшую из знаковых систем» — язык (NB: за рамки статьи намеренно выводятся способы

построения «антимира» и правила «антикоммуникации» — первые достаточно давно исследуются гуманитарными дисциплинами, исследование вторых вошло в традицию с середины XX века с появлением связных теорий речевой деятельности).

«Покушение» совершается в «форме лингвистического неповиновения» (Бродский: цит. по [Магаротто, 1991: 12]), цель которого — преодолеть догматизм языка, «дискредитировать его устойчивые механизмы» и утвердить противоположный принцип — адогматизм. Наивно полагать, что новый принцип можно установить полным отрицанием естественного, «догматичного» языка и заменой его языком искусственным, никак не связанным с оригиналом. Способом «дискредитации» становится игнорирование сущностных черт «старой» знаковой системы и избирательное применение к ней предписывающих и разрешающих правил. Такого рода эксперименты могут проводиться над всеми аспектами языкового знака: семантикой, синтаксикой, прагматикой.

Антиструктурные тенденции в семантике обнаруживаются в ее стремлении к анти- и ареференциальности, т.е., с одной стороны, к игнорированию конвенциональной связи между знаком и его референтом, с другой — к отрицанию произвольности знака. Первое приводит к неоглоссии, к созданию приватных языков, к необходимости их перевода — как в неологических загадках (Humpty-Dumpty Riddles): “My mother sent me to your mother to borrow the whimble-bo, the whamble-bo, the iron body, the bore-body, the lillica-lallecky whirligig” (i.e. flax wheel) [Abrahams, 1980: 114]. Второе (т.е. ареференциальность) способствует «овеществлению» языка, в чем выражается стремление «человека абсурдного» подыскать адекватные изобразительные средства для предмета изображения, дать ему «право голоса» (ср. «цитирующую» самою себя загадку-скороговорку: “What is a tongue-twister? — It’s when your tang gets all tungled up” [Rosenbloom, 1976: 50]).

Абсурдные или антиструктурные тенденции в синтаксисе отражают упрощенное понимание «формального» (как оппозиции «семантическому») и отрицание тезиса о содержательности (мотивированности) формы. Линеаризация смысла представляется в виде набора правил, допускающих их «слепое», механичес-

кое применение — т. е. «алеаторический монтаж». Эффект таких построений тем абсурднее, чем большей общественной (или официальной) цензуре они изначально подвергаются. К таковым относятся имена людей, групп населения и профессиональных коллективов, наименования этносов, географических объектов и т.п. (ср. примеры из [Dunkling, 1978; Dillard, 1976; Shankle, 1937]: Magnolia Zenobia Pope, Molasses & January, Chicagorillas, Omahogs, Scandahoovians, etc). Механическое применение синтаксических правил порождает три вида речевых произведений:

- антиграмматизмы (вызванные нарушением кодифицированных правил и норм естественно-коммуникативного языка): “I could of danced all night”.

- аграмматизмы (возникающие в результате полного игнорирования грамматики конкретного этнического языка): “Inky pinky fidgety fell, ell dell drom and ell ...”;

- метаграмматизмы (создающиеся по реальным или ложным моделям иностранных, архаических, нативизированных языков и диалектов): “peacharino”, “dotissima”, “washer-dona”.

Антиструктурность в прагматике проявляется в возможности отмены «человеческого измерения», свойственного языку. Тезис о его антропоцентризме, о неизбежности выражения в нем человеческих ценностей и приоритетов имеет аксиоматический статус в современной лингвистике. Об этом можно судить по многообразию прагматических терминов: «фокус эмпатии», «принцип приоритетного обозначения», «иерархия предпочтений (выделенности)», «шкала одушевленности», «интерактивные категории», «когнитивно изменчивая (относительная) семантика». Суть языкового абсурда, напротив, состоит в отказе от всех этих принципов, в попытке «объективного» и беспристрастного взгляда на мир, в «выравнивании» всех иерархий, в стремлении к «внеморальности» и безоценочному пониманию. Все это можно наблюдать на примере образцов «черного юмора» (*sick humour*), где фокус эмпатии говорящего намеренно переключается с лица на неодушевленный и тривиальный предмет (“But Henry, that isn’t our baby.” — “Shut up. It’s a better carriage” [Davis, 1993: 142]). Разрушение шкалы приоритетов может приобретать и форму всевозможных инверсий, смысл которых — утвердить равенство «всех видов опыта» и всех точек зрения — как это часто делает-

ся в анаграммах и усечениях типа Santa/Satan, monastery/nasty Rome, St. Helen > St. Hell, St. Catherine > St. Cat). Складывается впечатление, что «абсурдный человек», фигура которого маячит за лингвистическими экспериментами такого рода, отличается кощунственной, патологической черствостью, как если бы ему (по выражению А. Бергсона) была сделана «анестезия сердца» [Bergson, 1956: 63].

Но антиструктурность «абсурдного языка» проявляется не только в упразднении общепринятых приоритетов. В абсурдном дискурсе отменяется и иерархия речевых функций. В результате, функции, традиционно считавшиеся второстепенными, маргинальными или «архаичными», уравниваются в статусе с функциями «первичными», универсальными. Их перечень длиннее, чем можно было ожидать: миметическая, орнаментальная, магическая, криптолалическая, «ритуальная» (функция самопрезентации), манипулятивная, глоссолалическая, символно-логическая. Они редко попадают в орбиту теоретической лингвистики, за исключением узкоспециальных дисциплин, но всегда востребованы лингвистикой «народной». Канонизацией вторичных функций языка до аудитории доносятся точки зрения миноритарных групп, типы и состояния сознания, отличные от тех, что востребованы «структурой». Прерогатива абсурда — изображать речь, которой свойственно либо полное отсутствие логики, либо ее избыток. Для «магического» сознания (и для осуществления одноименной функции) первостепенны не семиотические, а онтологические, осозаемые свойства знаков. Они отчетливо проявляются в глоссолалических выкриках, в обрывках афатической речи и детском лепете (“Hulla-baloo-ballee ...”/ “Zintie tintie tetherie metherie ...”), а также в «кинетических» текстах, приводящих в движение или иное состояние и тех, кто их произносит, и тех, на кого они направлены (заклинания, проклятия, колыбельные, застольные и маршевые песни, детские считалки и т.п.). Софист же, страдающий избытком логики, напротив, упирает на идеальные свойства языка и на его способность выполнять символично-логическую функцию и доказывать «все, что угодно, ... поскольку ничего не доказано» [Камю, 1989: 248]. В основу аргументации кладется та же абсурдная концепция языка, согласно которой омонимы объявляются синонимами, звуковое

подобие слов — их семантическим тождеством, а дескрипции и цитации — категориями одного логического типа — как в случаях псевдоэтиологических загадок и шуток, пародирующих метод формального «научного доказательства» (ср. «Мышь грызет книжку: но мышь — имя существительное; следовательно имя существительное грызет книжку» [Ивин, 1986: 132]). Осуществление подобных функций было бы невозможно без названных свойств «абсурдного» языка (анти- и ареференциальность, аграмматизм, прагматическая нейтральность или смещенный фокус эмпатии, утрированный полифонизм).

Даже на отдельных и немногочисленных образцах «лингвистического неповиновения» можно убедиться в том, что абсурд далек от бессмыслицы и что за игрой с антиструктурными тенденциями языка стоит определенная «философия». Она представляет собой не систему научных знаний, не совокупность логически связанных утверждений, а особое мироощущение и близкое ему умонастроение (*The philosophy of the absurd is a pervasive attitude rather than a system of thought* [Cuddon, 1992: 967]). Но помимо всего абсурд выражает и соответствующую «философию языка», т.е. комплекс реакций, лингвистических установок (критических и эмоциональных), ожиданий, оценок и т.п. Что собой представляет эта философия? Какие «ментефакты» стоят за попытками создания «альтернативного» языка?

Для человека, желающего порвать со структурой (но скорее не на деле, а, в буквальном смысле — «на словах», символически), «анти-язык» открывает новые возможности, так как имеет ряд существенных отличий от общепринятого, «естественного» языка, а именно:

а) В каком-то смысле он перестает быть «средством принуждения», авторитетом вне критики, навязывающим всем свои правила и, в частности, «тиранию семантического» [Ажеж, 2003: 246]. У «человека абсурдного» появляется некоторая свобода выбора (например, в обозначении объектов и построении высказываний). При этом язык частично утрачивает свою «социальную предназначеннostь», становясь языком малых групп и отдельных личностей.

б) Отказ от антропоцентризма придает языку большую «объективность», наделяя говорящего способностью трезво и беспри-

страстно смотреть на действительность и помогая ему опровергнуть неутешительный тезис «Я способен к пониманию только в человеческих терминах» [Камю, 1989: 258].

в) Приобретая осязаемые свойства или уподобляясь референту, язык становится действенной, почти физической силой. Э. Ионеско, устами своего персонажа, замечает: «Звуки, лишенные смысла, высоко держатся в воздухе, а слова, обремененные значением, падают <...> в уши других или лопаются как мыльные пузыри» (цит. по [Дюшень, 1994: 411–412]). Модель альтернативного языка как будто воплощает в себе наивные представления или мечту об «идеальной» (т. е. иконической) знаковой системе. В истории лингвистики эти представления известны как «комплекс Кратила» [Attardo, 1994: 153].

г) Критерий «правильности» применительно к языку отвергается раз и навсегда. Универсальность и состоятельность языка определяется не его способностью описывать «типичное» в любых его проявлениях, а тем, что можно сделать или выразить с его помощью, и — более всего — той степенью свободы, которую он может дать каждому его «пользователю».

Этот комплекс интуитивных представлений о языке, выводимый из закономерностей его абсурдных употреблений, может многое сказать лингвисту-теоретику. С одной стороны, в них обнаруживается глубокий интерес говорящих к семиотическим проблемам, к устройству языка, его структуре и функциям. С другой стороны, язык осознается как «человеческая проблема», как форма жизни и часть «человеческого удела» (*human condition*). Любопытно и то, что эти «наивные» представления концептуально перекликаются с некоторыми тезисами аналитической философии и «философии существования» — о banальности и «изношенности» языка, о его способности «переодевать мысли» [Витгенштейн, 1958: 44], о границах свободы (в том числе языковой) и «выходе за свои пределы» (и, соответственно, за пределы своего языка), о роли творчества и приоритете индивидуального над общим и безличным. Но парадоксальным образом эта стихийная критика языка и испытание его методом абсурда (акцентуацией его антиструктурных свойств) реабилитируют язык, доказывая, что его кажущийся алогизм «позволяет ... приводить в порядок логическое мышление» [Дюшень, 1994: 411–412].

- АЖЕЖ К., 2003. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М.
- ВИТГЕНШТЕЙН Л., 1958. Логико-философский трактат. М.
- ДУБРАВКА О. Т., 1991. Заумь и дада // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Ред. Л. Магаротто. — Bern, etc.: Lang.
- ДЮШЕН И. Б., 1994. Послесловие // Эжен Ионеско: Театр. М.
- ИВИН А. А., 1986. Искусство правильно мыслить. — М.: Просвещение.
- КАМО А., 1989. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов / Под ред. А.А. Яковleva). М.
- МАГАРОТТО Л., 1991. (ред.). Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. — Bern, etc.: Lang.
- ТОДОРОВ Ц., 2001. Понятие литературы // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. М.
- УСПЕНСКИЙ Б. А., 2007. Ego Loquens: Язык и коммуникативное пространство. — М.
- ABRAHAMS R., 1980. Between the Living and the Dead. Helsinki.
- ATTARDO S., 1994. Linguistic Theories of Humor / Ed. by V. Raskin and M. Apte. — Berlin, N.Y.: Mouton de Gruyter.
- BERGSON H., 1956. Laughter // Comedy / Ed. by W. Sypher. — Garden City (N.J.): Doubleday & Co.
- CUDDON J.A., 1992. Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. L.
- DAVIS M., 1993. What's So Funny? The Comic Conception of Laughter and Sosity. Chicago.
- DILLARD J. L., 1976. Black Names. The Hague, Paris: Mouton de Gruyter.
- DUNKLING A., 1978. First Names First. L.: Hodder & Stoughton.
- MEY J., 1998. (ed.). Concise Encyclopedia of Pragmatics. Amsterdam, Philadelphia.
- ROSENBLOOM J., 1976. The Second Dragon Riddle Book. L.: Granada Publishing Ltd.
- SHANKLE G. E., 1937. American Nicknames: Their Origin and Significance. — N.Y.: The H.W. Wilson Co.
- Словари:*
- ФЭС — Философский энциклопедический словарь, 1989. / Под ред. С. С. Авенинцева и др. М.: Советская энциклопедия.
- ЯБЭС — Языкоzнание: Большой энциклопедический словарь, 1998. / Под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Большая Российская энциклопедия.
- FERGUSSON R., 1992. (ed.). The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms. L., N.Y.: Penguin Books.
- SKEAT W. W., 1993. The Concise Dictionary of English Etymology. — Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions LTD.

E. H. Левко

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЛОРДА ВОЛАН-ДЕ-МОРТА «СИМВОЛИЧЕСКИМ ДРАКОНОМ»?

Змееборство в развитом виде встречается во всех древних государственных религиях, а змей остается одной из наиболее сложных и неразгаданных фигур мирового фольклора. История употребления существительных «змей» и «дракон» показывает, что ими обозначалось одно и то же существо [Копычева, 2007: 8]. Согласно В. Я. Проппу, дракон — продукт культуры более поздней, механическое соединение нескольких животных: змеи, орла и хищников, представляющих собой опасность, вызывающих подсознательный страх [Пропп, 1986: 216]. Дракон как один из продуктов фантазийно-игровой деятельности сознания входит органической частью в такие жанры, как сказка и фэнтези [Никитин, 2007: 644].

Дж. Кэмпбелл выводит единую структуру построения странствий и жизни протагониста — мономиф. Одним из ее центральных моментов является сражение с драконом, в результате которого герой претерпевает ритуальную смерть или может быть изувечен [Кэмпбелл, 1997: 64]. Правило, согласно которому тот, кто убьет дракона, станет королем, восходит к древнейшим эпосам [Колберт, 2002: 66].

Если в мифах, исследуемых Дж. Кэмпбеллом, дракон — это ле-тающее чудовище, изрыгающее огонь и нападающее на людей, то в более поздних литературных произведениях на его месте может оказаться любое другое существо, выполняющее те же функции и обладающее иногда сходными внешними чертами с драконом. Иными словами, для любой сказки характерно существование «символического дракона», который противостоит главному герою в решающем поединке. Является ли Лорд Волан-де-Морт в произведении Дж. К. Роулинг таким «символическим драконом»?

У Дж. К. Роулинг антагонист главного героя Гарри Поттера Лорд Волан-де-Морт наделяется чертами змея и с развитием сюжета выполняет его традиционные функции.

Во-первых, во внешности антагониста прослеживается сходство со змеей: с существительным *face* употребляется эпитет

snake-like (flat and snake-like face, his terrible snakelike face) или сравнение с конструкцией as (flat as a snake's); существительное slits появляется в описании глаз и носа (slits for nostrils, slit-pulled eyes); кроме того, взгляд описывают глаголы stare, gleam, которые приобретают отрицательную коннотацию в сочетании с прилагательным snakelike; цвет глаз передается оттенками красного: scarlet, red.

Во-вторых, Лорд Волан-де-Морт является «змеевустом», то есть владеет змеиным языком и часто появляется в сопровождении огромной змеи.

Кроме того, антагонист принадлежит к одному из факультетов волшебной школы — Slytherin, название которого ассоциируется у англоговорящих читателей с глаголом, описывающим движение змеи: *to slither* — скользить, извиваться.

Связь антагониста и протагониста в романах носит традиционных характер: убив родителей Гарри Поттера, Волан-де-Морт не смог убить младенца, а лишь потерял собственную физическую оболочку, оставив на лбу Гарри шрам в виде молнии — тем самым он выполнил одну из важнейших функций антагониста, которую В. Я. Пропп называет вредительством.

Связь между героями усиливается с развитием сюжета: в пятой книге Гарри Поттер обретает способность ощущать эмоции Волан-де-Морта, а тот — временно овладевать сознанием Гарри Поттера; в последней главе появляется пророчество: «*and earlier must die at the hand of the other for neither can live while the other survives*». Это та самая связь между героем и «символическим драконом», которая началась за пределами повествования, до его начала. Антагонист каким-то образом знает о существовании героя и о том, что он погибнет от руки именно этого героя. Никто другой не может повергнуть змея, он бессмертен и непобедим. Эту связь В. Я. Пропп называет «мотивом изначального противника» [Пропп, 1986: 303]. Концовка серии книг, где Лорд Волан-де-Морт погибает в финальном поединке от руки Гарри Поттера, подтверждает сохранение этого мотива в традиционном виде: рожденный от змея убьет змея.

Поединком антагониста и протагониста заканчивается каждая из книг цикла, однако дракон не погибает, а изгоняется или претерпевает мнимую смерть; герой остается в напряженном

ожидании следующего эпизода [Васильева, 2004: 57]. Отсутствие гибели антагониста делает исход поединка не вполне традиционным, хотя очевидно, что в серии из семи книг «символический дракон» должен погибнуть лишь в последней.

Дж. К. Роулинг в целом придерживается традиционной схемы поединка со змеем, но в то же время искусно интерпретирует традицию на разных уровнях: трансформируется ситуация боя, его исход, образ змея и образ героя-змееборца [Васильева, 2004: 56]. Так, традиционные изменения природы перед появлением противника часто заменяются активизацией знака смерти — шрамаметки на лбу Гарри Поттера. Если в первых книгах это случается изредка и выражено двумя глаголами *hurt* и *ache*, то ближе к финалу увеличивается число синонимичных глаголов, а также частотность их появления в тексте, что говорит о возрастании эмоционального напряжения. Глаголы делятся на две группы: с общей семой *fire* (*burn*, *scorch*, *sear*) и *pulse* (*pulse*, *prickle*, *throb*). Первые глаголы в обеих группах (*burn*, *pulse*) передают общее значение, вторые (*scorch*, *prickle*) — не очень сильную боль и часто употребляются с наречиями *occasionally*, *uncomfortably*, *unpleasantly*, а последние (*sear*, *throb*) — несут в себе сему *strong* и употребляются с наречиями *painfully*, *horribly*.

Также характерно для сказочного жанра противопоставление белого и черного мага. Одно из имен Волан-де-Морта — *Dark Lord*, в то время как имя традиционного дарителя, который помогает протагонисту, *Albus*, в переводе с латыни означает ‘белый, светлый’. Антропоним описывает не только внешность, но и характер героя: белый цвет — символ чистоты и открытости. Описание, связанное с именем, делает героя похожим на других волшебников, встречающихся в легендах, например, Мерлина из Легенд о Короле Артуре или Гэндалльфа из трилогии Дж. Р. Р. Толкина “Властелин колец”.

Альбус Дамблдор — типичный персонаж, обладающий волшебными свойствами, он встречается главному герою в начале его пути и становится его проводником и покровителем, он помогает герою, дает советы, дарит амулеты, находится рядом с героем, но только до определенного этапа — кульминации: спрятаться с трудностями и выдержать решающий бой с «драконом» герой должен в одиночестве.

Важно отметить, что само имя Voldemort используется героями крайне редко. Его звучание вызывает у них отрицательные эмоции, передаваемые в тексте глаголами shock, shudder, exasperate, с общей семой dislike [Longman, 2000]. Поэтому в волшебном мире на это имя наложено своеобразное табу, подобное запретам, которые налагались в древности на некоторые слова, в основном имена диких животных или чудовищ.

Из всех героев только двое называют Лорда Волан-де-Морта по имени: протагонист Гарри Поттер и Альбус Дамблдор. Они оба связаны с антагонистом, единственные, кого он боится, и поэтому могут не считаться с запретом, наложенным на это имя в волшебном мире. В речах остальных героев вместо антропонима Voldemort используются словосочетания и сложноподчиненные предложения: ‘The Dark Lord’, ‘He Who Must Not Be Named’, ‘You Know Who’. В “Словаре русской ономастической терминологии” Н. В. Подольская называет антропонимы подобные Voldemort именами-табу (табуированные, табуистические имена). Вместо таких имен обычно употребляются искусственно созданные имена [Подольская, 1978: 127].

Наличие нескольких имен у одного героя не случайно. С одной стороны, образ Лорда Волан-де-Морта символизирует эгоизм, алчность, стремление к власти, попытки обрести бессмертие, за которое нужно заплатить человеческими жизнями, нравственное падение и унижение, он олицетворяет зло вселенских масштабов. С другой стороны, этот герой представляет собой личность, которая имеет собственную историю, характер и внутренние конфликты. В книгах о Гарри Поттере не просто создан образ злодея, но и показана его внутренняя сторона, истоки, причины появления зла. Вот, что говорит об этом персонаже автор:

“Я хотела создать такого злодея, чтобы вы могли понять, что происходит в его душе, а не просто плохого парня, одетого в черное. Я хотела изучить его и узнать, откуда взялась вся эта злоба” [www.mugglenet.com. BBC, Fall, 2001, Fall, 2001].

Образ «символического дракона» в произведениях Дж. К. Роулинг значительно шире образа мифологического и сказочного дракона, поскольку имеет ряд особенностей не характерных для традиционной сказки: он способен разрушить не столько физический мир, сколько мир духовный, а причиняющий им ущерб

является не отдельным бедствием, а всеобщим нравственным хаосом. У него особые отношения со смертью: на протяжении всего повествования он пытается обрести физическую оболочку и даже делит свою душу на несколько частей, чтобы получить бессмертие. Несмотря на эти особенности, «символический дракон» Дж. К. Роулинг сохраняет свои традиционные функции: похищение, разрушение, убийство, поглощение, вредительство, а также внешние черты, напоминающие облик змея (дракона). Таким образом, его можно считать традиционным «символическим драконом», хотя и претерпевающим ряд изменений в своем развитии.

ВАСИЛЬЕВА Н. И., 2004. Сказка-бестселлер, или почему «Гарри Поттер» должен кончиться хорошо (к проблеме фольклоризма массовой литературы) Йошкар-Ола.

КОЛВЕРТ Д., 2001. Волшебные миры Гарри Поттера. М.

КОПЫЧЕВА Т. А., 2007 Мифологическое драконоведение. М.

КЭМПБЕЛЛ ДЖ., 1997. Тысячеликий герой. М.

НИКИТИН М. В., 2007. Курс лингвистической семантики. СПб.

ПОДОЛЬСКАЯ Н. В., 1978. Словарь русской ономастической терминологии. М.

ПРОПП В. Я., 1986. Исторические корни волшебной сказки. Л.

LONGMAN, 2000- Longman Dictionary of English language and Culture.

www.mugglenet.com

А. О. Тананыхина

ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СКАЗКИ

Современная англоязычная литературная сказка чрезвычайно популярна во всем мире. Нам представляется интересным рассмотреть особенности такой важной текстовой категории, как хронотоп современной англоязычной литературной сказки на примере сказок Д. Роулинг и Ф. Пулмана. В этой связи необходимо сравнить традиционный «сказочный» хронотоп волшебной фольклорной сказки со «сказочным» хронотопом современной англоязычной литературной сказки.

Многие исследователи отмечают, что в фольклорной волшебной сказке присутствуют два царства, или два мира [Бахтина, 1974; Топоров, 1983; Липовецкий, 1992 и др.]. Художественное пространство волшебной фольклорной сказки представлено двумя мирами — миром обыденной действительности, в котором герой обычно появляется на свет, и волшебным миром, в котором герой проходит испытания. Волшебный мир становится антимиром по отношению к реальности [Липовецкий, 1992: 32]. В волшебной фольклорной сказке происходит аксиологическое разделение обоих миров: положительная оценка мира обыденной реальности героя и отрицательная оценка волшебного мира. Волшебный мир, населенный отрицательными персонажами, представляет собой мифологический хаос, который герой волшебной фольклорной сказки гармонизирует, освобождая от зла. В центре сказочного хронотопа лежит трансформированная цепная семантика мифа: претворение хаоса в космос, упорядочивание мира [Липовецкий, 1992: 34]. В фольклорных сказках отмечается «путь к чужой и страшной периферии», в котором изображается возрастание энтропии и ужаса по мере развертывания пути. Кульминационный момент пути совпадает с максимумом энтропии и приходится на стык двух частей, указывающих на границу-переход между двумя по-разному устроеннымми «подпространствами» [Топоров, 1983: 262–263]. Пространственные элементы, представляющие собой сетку перемещений героя и являющиеся в каком-то смысле

ле основообразующими в композиции сказки, особо существенны в следующих пунктах:

1. Исходная ситуация: «дом героя», где начинается действие, откуда происходит его отлучка и куда он возвращается.
2. Путешествие / передвижение героя.
3. Место, где герой действует: а) место, куда он попадает намеренно; б) место, куда он попадает случайно.
4. Переход героем границы или пограничной области, отделяющей его дом от места, куда он направляется или случайно попадает [Цивьян, 1975: 196].

Важным средством различения *своего* и *чужого* мира является указание границы или пограничной области между ними. Это — один из основообразующих элементов в семантической структуре сказки: герой не может оказаться в *чужом/ином* мире, не пройдя некоторого *пути* и/или не перейдя некую *черту* [Цивьян, 1975: 198]. Художественное пространство волшебной фольклорной сказки дискретно, конечно и анизотропно, то есть не обладает тремя евклидовыми характеристиками реального пространства: бесконечностью, непрерывностью и единобразием [Стеблин-Каменский, 1976: 32].

В современной англоязычной литературной сказке, как и в фольклорной сказке, пространство представлено двумя мирами: миром обыденной реальности и волшебным миром, но в литературной сказке эти миры сближаются. Художественное пространство волшебного мира включает в себя географические реалии мира обыденной реальности. Например, в сказке Д. Роулинг «Harry Potter and the Philosopher's Stone» крошечный паб, «Leaky Cauldron», где встречаются волшебники, расположен на одной из улиц Лондона, но обычные люди его не видят:

1. The people hurrying by didn't glance at it. Their eyes slid from the big book shop on one side to the record shop on the other as if they couldn't see the Leaky Cauldron at all [Rowling, 1997: 54].

Необыкновенность ситуации подчеркивается подбором глаголов (*eyes slid*; *didn't glance*), сравнением (*Their eyes slid from the big book shop on one side to the record shop on the other as if they couldn't see the Leaky Cauldron at all*).

В волшебный переулок — «Diagon Alley», в переводе И. В. Оранского «Косой переулок», можно попасть из маленько-го Лондонского дворика:

2. He tapped the wall three times with the point of his umbrella. The brick he had touched quivered — it wriggled — in the middle, a small hole appeared — it grew wider and wider — a second later they were facing an archway ... on to a cobbled street which twisted and turned out of sight [Rowling, 1997: 55].

Удивительность и волшебность происходящего выражается соответствующим подбором глаголов, описывающих превращение кирпича (The brick quivered — it wriggled), быстрота происходящего перемещения подчеркивается апозеопезисом.

В школу волшебства Хогвартс — «Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry» отправляется поезд с Лондонского вокзала King's Cross, правда, поезд отправляется с необычной платформы — девять и три четверти. На эту платформу обычные люди не могут попасть, но для волшебников это просто:

3. ... you have to walk straight at the barrier between platforms nine and ten. Don't stop and don't be scared you'll crash into it, that's very important. Best do it at a bit of a run if you're nervous [Rowling, 1997: 70].

Пытаясь попасть на волшебную платформу, Гарри Поттер очень волнуется:

4. Harry walked more quickly. He was going to smash right into that ticket box and then he'd be in trouble — leaning forward on his trolley he broke into a heavy run — the barrier was coming nearer and nearer — he wouldn't be able to stop — the trolley was out of control — he was a foot away — he closed his eyes ready for the crash —

It didn't come ... he kept on running ... he opened his eyes.

A scarlet steam engine was waiting next to a platform packed with people. A sign overhead said *Hogwarts Express, 11 o'clock*. Harry looked behind him and saw a wrought-iron archway where the ticket box had been, with the words *Platform Nine and Three-Quarters* on it. He had done it [Rowling, 1997: 70].

Гарри волнуется, что может не преодолеть волшебный барьер, его волнение передается апозеопезисом. Мгновенно и незаметно он попадает на волшебную платформу и перемещается в другой, сказочный мир. Отличие волшебного мира от обычного передается сменой характера повествования — вместо обрывочного, напряженного повествования момента пересечения сказочного

барьера, характер повествования в сказочном мире становится размежеванным, спокойным.

В сказке-трилогии Ф. Пулмана «His Dark Materials» в иной мир можно попасть через дыру, которая расположена недалеко от Оксфордской кольцевой:

5. It looked as if someone had cut a patch out of the air, about two yards from the edge of the road, a patch roughly square in shape and less than a yard across. If you were level with the patch so that it was edge-on, it was nearly invisible, and it was completely invisible from behind. You could see it only from the side nearest the road ... that patch of grass on the other side was in a different world [Pullman, 1998: 13].

Необыкновенный характер волшебного места — границы между мирами — передается с помощью сравнения (It looked as if someone had cut a patch out of the air) и лексических повторов (patch; invisible).

Д. С. Лихачев писал о том, что «пространство в фольклорной сказке не служит затруднением действию» [Лихачев, 1979: 337], однако все же нужно отметить, что героям фольклорной волшебной сказки необходимо какое-то время на преодоление расстояний, необходима затрата усилий на преодоление препятствий. Например, по словам Д. С. Лихачева, «если героине нужно бежать, она берет ковер-самолет, садится на него и несется на нем, как птица (Афанасьев, № 267)» [Лихачев, 1979: 337].

Совершенно иное дело — в современной англоязычной литературной сказке. Например, во второй части трилогии Пулмана «His Dark Materials», “The Subtle Knife”, если герою нужно бежать, он просто прорезает себе волшебным ножом окно в другой мир, бежит туда и закрывает это окно:

6. That gave Will the moment he needed to seize the edges of the window and press them shut. His own world had vanished, and he was alone in the moonlit parkland in Cittagazze, panting and trembling and horribly frightened [Pullman, 1998: 180].

Перемещение происходит мгновенно и незаметно, мир немедленно меняется. Пулман изображает меняющийся мир с помощью использования выразительных глаголов (seize the edges of the window; press them shut; his own world had vanished). Уилл оказывается один в ином мире, его больше не преследуют. Одна-

ко он остается взволнованным и испуганным, что определяется причастиями, прилагательным (*panting; trembling; frightened*) и полисинтетоном. Своеобразие другого мира подчеркивается стилистическим неологизмом, названием города (*Cittàgazze*).

В приведенных выше примерах можно увидеть, что в пространство волшебного мира легко и просто попасть из мира обыденной реальности, причем это проникновение героев в волшебный мир происходит мгновенно. Во второй книге Джоан Роулинг «*Harry Potter and the Chamber of Secrets*» эти мгновенные перемещения в волшебный мир происходят с помощью «*Floo powder*», в переводе М.Д. Литвиновой «летучего пороха»:

7. He took a pinch of glittering powder out of the flowerpot, stepped up to the fire and threw the powder into the flames. With a roar, the fire turned emerald green and rose higher than Fred, who stepped right into it, shouted, «Diagon Alley!» and vanished [Rowling, 1998: 41].

В этом примере перемещение также происходит мгновенно, что определяется подбором соответствующей лексики — существительных, глаголов, прилагательных, выразительно описывающих момент мгновенного перемещения (*fire turned emerald green; rose higher than Fred; stepped right into it; vanished*), а также эпитетов (*glittering (powder); emerald green (fire)*).

В сказке Пулмана проникновение в другой мир не требует почти никаких усилий:

8. ... he pushed his tote bag through, and then scrambled through himself, through the hole in the fabric of this world and into another. He found himself standing under a row of trees [Pullman, 1998: 13].

Все случается мгновенно, просто мир вокруг изменяется.

В сказке Роулинг «*Harry Potter and the Chamber of Secrets*», когда Гарри перемещается с помощью волшебного пороха, все происходит иначе:

9. It felt as though he was being sucked down a giant plug hole. He seemed to be spinning very fast ... the roaring in his ears was deafening ... he tried to keep his eyes open but the whirl of green flames made him feel sick ... something hard knocked his elbow and he tucked it in tightly, still spinning and spinning ... now it felt as though cold hands were slapping his face ... squinting through his glasses he saw a blurred stream of fireplaces and snatched glimpses

of the rooms beyond ... his bacon sandwiches were churning inside him ... He closed his eyes again wishing it would stop, and then — he fell, face forward, onto cold stone and felt his glasses shatter [Rowling, 1998: 41–42].

Быстрая смена ощущений во время мгновенного перемещения подчеркивается подбором глагольных форм и существительных, связанным с вращением (*spinning, whirl, churning*). Для изображения мгновенного перемещения в пространстве, стилистические средства являются следующими: апозеопезис, эпитеты (*the deafening (roaring); green (flames); blurred (stream); snatched (glimpses)*), сравнения (*It felt as though he was being sucked down a giant plug hole; now it felt as though cold hands were slapping his face*), метафоры (*a blurred stream of fireplaces and snatched glimpses of the rooms beyond*).

Мы уже отмечали, что художественное пространство волшебного мира современной англоязычной литературной сказки включает в себя географические реалии мира обыденной реальности, но к этому необходимо добавить и то, что компоненты волшебного мира современной литературной сказки присутствуют в обыденной жизни. В сказке Роулинг это и совы, летающие среди бела дня по улицам Лондона:

10. ... in broad daylight ... people ... pointed and gazed open-mouthed as owl after owl sped overhead. Most of them had never seen an owl even at night-time [Rowling, 1997: 9].

Удивление людей выражается соответствующим выбором глаголов, передающих людское изумление (*pointed and gazed, had never seen*) и сложным эпитетом (*open-mouthed*).

Это и люди в мантиях, появляющиеся на тех же самых улицах Лондона:

11. ... he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. People in cloaks [Rowling, 1997: 8].

Необычность ситуации передается подбором лексики: наречием (*strangely*) и необыкновенной одеждой, существительным (*cloaks*).

В сказке Пулмана, где речь идет о множественных мирах, существующих параллельно с нашим миром, люди и предметы из параллельного мира попадают в наш мир, и в нашем представлении они являются волшебными. В качестве примера можно

привести появление в нашем мире людей из иного мира, людей с деймонами. Друг Лиры, Уилл, живущий в нашем мире, встречается с сэром Чарльзом, человеком из мира Лиры:

12. And then he saw something so bizarre he thought he had imagined it. Out of the sleeve of Sir Charles's linen jacket, past the snowy white shirt cuff, came the emerald head of a snake. Its black tongue flicked this way, that way, and its mailed head with its gold-rimmed black eyes moved from Lyra to Will and back again... Will saw it only for a moment before it retreated again up the old man's sleeve, but it made his eyes widen with shock [Pullman, 1998: 145].

Необычность происходящего определяется неординарным подбором лексики — прилагательным, глаголами, существительными (*bizarre; imagined; snake*) и образными эпитетами (*snowy white (shirt cuff); emerald (head of a snake); mailed (head); gold-rimmed black (eyes)*).

Для мира обыденной реальности волшебными являются и предметы, попавшие к нам из иного мира, например, алетиометр, прибор, с помощью которого Лира может узнавать будущее. Таким образом, в современной англоязычной литературной сказке компоненты волшебного мира проникают в мир обыденной реальности и происходит некое наложение волшебного мира на мир обыденной реальности.

В современной литературной сказке аксиология двух миров — мира обыденной реальности и волшебного мира часто меняется на противоположную по сравнению с фольклорной сказкой: мир обыденной реальности часто оценивается отрицательно, в то время как волшебный мир оценивается определенно положительно. Например, в книгах Д. Роулинг «Harry Potter and the Philosopher's Stone» и «Harry Potter and the Chamber of Secrets» Гарри Поттер явно несчастен в обыденном мире, в семье Дарсли его не любят и всячески притесняют. В то же время в волшебном мире он — настоящий герой, которым многие восхищаются. В книге Роулинг персонажи из волшебного мира даже говорят с неким пренебрежением об обычновенных людях.

Объективное пространство, как его осознает современный человек, бесконечно, непрерывно и единообразно. Оно может быть абстрагировано от своего конкретного содержания, и оно осоз-

нается объективно существующим независимо от того, воспринимается ли оно и осознается ли его существование. Осознание этого объективного пространства подразумевает максимально внешнюю точку зрения на пространство, максимальную противопоставленность субъекта объекту. Но в чувственном восприятии пространства эта противопоставленность не дана. В нем нет трех евклидовых атрибутов пространства — бесконечности, непрерывности и единобразия. Таким образом, для современного человека существует как бы разрыв между пространством, мысленно осознаваемым, и пространством, чувственно воспринимаемым [Стеблин-Каменский, 1976: 42]. В мифе этого разрыва не было. В мифе, как и в волшебной фольклорной сказке, пространство не непрерывно, не бесконечно и не единообразно [Стеблин-Каменский, 1976: 32]. Художественное пространство волшебной фольклорной сказки представлено двумя мирами — миром обыденной реальности и волшебным миром, причем эти два мира отделены друг от друга. Чтобы попасть из одного мира в другой нужно пройти большие расстояния, преодолеть величайшие препятствия. Таким образом, мы можем говорить об анизотропии фольклорной волшебной сказки. В современной англоязычной литературной сказке эти два мира находятся рядом, по соседству, и для того, чтобы попасть из одного мира в другой никаких больших расстояний преодолевать не нужно, не говоря уже о немыслимых препятствиях. Персонаж современной литературной сказки попадает мгновенно в совершенно другое, волшебное, сказочное пространство. На наш взгляд, это позволяет говорить о ярко выраженной анизотропии современной англоязычной литературной сказки.

Художественное время в литературной сказке также претерпевает изменения по сравнению с фольклорной сказкой. В современной литературной сказке присутствует большое количество реалий, следовательно, художественное время здесь не является абсолютно замкнутым, оно стремится к размыканию, оно соотнесено с реальным настоящим. Но следует отметить, что художественное время современной литературной сказки замкнуто на сюжете и здесь мы находим две противоположные тенденции: с одной стороны, художественное время в современной литературной сказке стремится к размыканию, но, с другой стороны, оно остается замкнутым на сюжете.

- БАХТИНА В. А., 1974. Пространственные представления о волшебных сказках // Фольклор народов РСФСР. Уфа.
- ЛИПОВЕЦКИЙ М. Н., 1992. Поэтика литературной сказки. Свердловск.
- ЛИХАЧЕВ Д. С., 1979. Поэтика древнерусской литературы. М.
- Стеблин-Каменский М.И., 1976. Миф. Л.
- ТОПОРОВ В. Н., 1983. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.
- ЦИВЬЯН Т. В., 1975. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору. Сб. статей. М.
- PULLMAN P., 1998. The Subtle Knife. New York.
- ROWLING J. K., 1997. Harry Potter and the Philosopher's Stone. London.
- ROWLING J. K., 1998. Harry Potter and the Chamber of Secrets. London.

O. E. Филимонова

К ПРОБЛЕМЕ АДРЕСАТА: СТИХИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН

В данной статье на примере творчества Пэм Эйрис (Pam Ayres) рассматриваются некоторые аспекты адресованности поэтического текста.

Вопросам адресованности текста и, в частности, текста поэтического, посвящено значительное количество лингвистических исследований. В наиболее общем виде взгляды на проблему сводятся к двум противоположным мнениям: 1) к признанию того, что словесное произведение пишется для определенного читателя и 2) к утверждению об отсутствии ориентации на определенного адресата при создании текста. Сторонники первой точки зрения находят убедительные аргументы в виде разнообразных сигналов адресованности в тексте, отражающих намерения автора воздействовать своим произведением на определенную возрастную, социальную или иную группу читателей. Вторая точка зрения состоит в том, что художественные произведения могут не иметь возрастных, социальных, географических и каких-либо еще границ для адекватного восприятия и интерпретации, и, соответственно, могут быть лишены эксплицитных сигналов более или менее узкой адресованности.

Показательно в этой связи то, что пишет о создании одного из своих произведений автор популярных детских книг Майкл Бонд: «Ten working days later, having completed seven more stories, I realized I had a book on my hands. It hadn't been written with any particular age group in mind, which was fortunate, because until then I had always written for adults and if I had consciously aimed at a young audience I might have 'written down', which is always a bad idea. Anyway, I agree with Gertrude Stein: a book is a book is a book, and it should be enjoyable on all levels» [Bond, 156].

В предисловии к цитируемой выше книге вполне уместным кажется утверждение о том, что книги Майкла Бонда написаны для молодых душой людей любого возраста «for the young at heart of all ages» [Bond, 1]. Гипотетического адресата такого типа можно назвать широким, по крайней мере, по возрастному параметру.

Мы рассмотрим здесь пример адресации другого рода, а именно достаточно узкой адресации. Предлагаемый в данной статье анализ категории адресованности проводится на материале сборника стихов современной британской поэтессы Пэм Эйрис «*Surgically Enhanced*», вошедшего в список 10 бестселлеров 2007 года. Мы исходим из гипотезы о том, что причиной высокой воздействующей силы и, соответственно, большого успеха и популярности данного сборника стало осознанное или неосознанное использование автором творческого приема «сужения адресата». На основании анализа лексико-семантических «сигналов адресованности», о которых речь пойдет ниже, мы определили гендерные и возрастные параметры адресата, указанные в заглавии статьи. Однако пожилой возраст и принадлежность к слабому полу — не единственныесоставляющие «портрета адресата», который можно реконструировать из текста стихов данного сборника. Текстовый материал позволяет выявить также такую характерную для адресата данного сборника черту, как принадлежность к среднему классу. Рассмотрим последовательно указанные свойства адресата, или параметры, по которым можно судить о «сужении адресата».

О принадлежности адресата к женскому полу и пожилому возрасту свидетельствует уже название сборника «*Surgically Enhanced*». Несмотря на то, что косметическим операциям по подтяжке лица для омоложения подвергаются и мужчины, чрезвычайно популярными они стали в последние десятилетия именно у женщин. Вынесенное в название сборника стихотворение содержит юмористическое описание проблемных зон женского лица и фигуры, нуждающихся в коррекции:

I stand before the mirror and I feel my spirits sink,
I'm so bored with this old body, it's so normal, round and pink,
It hasn't got the shingles or a heavy chesty cough,
But it needs a few adjustments; a few sections slicing off,
So jab it, stab it, use it, bruise it, give it all a tweak,
Insert the bags of saline in the hope that they don't leak,
Inject the collagen, carve me a monumental pout!
So I'll have lips of blubber once the stiches have come out.
I'm going to have my neck done, it's so crepy, slack and loose,
They haul it up and stretch, I think they do it with a noose
[Ayres, 2007: 1–2].

Описания хирургических действий могут быть восприняты как популярный в Великобритании черный юмор: они не только смешны, но и отталкивающе страшны.

Вышеприведенное стихотворение начинается с представления статической ситуации «женщина перед зеркалом», переходящей в динамическое описание гипотетической операции-пытки. Прототипическая для пожилых женщин ситуация «свет мой, зеркальце, скажи...» представлена в стихотворении «There's some mistake»:

Mirror, mirror, on the wall,
Where am I? I'm young and tall,
I'm not like that old bird at all,
There's some mistake...
So that old gal, I say again,
Is much too old and much too plain,
With glasses on a chain!
For goodness sake [Ayres, 2007: 77]...

Причтания по поводу недовольства своей стареющей внешностью дополняются раздражением, вызванным аналогичными изменениями со стороны мужа, которого также видит в зеркале героиня:

Mirror, mirror softly lit,
Where is my husband strong and fit?
Raconteur and wit,
There's some mistake...
I know my man and he is not it,
That bald and boring stooped old git,
He looks about to quit,
Give him a shake [Ayres, 2007: 78].

Очки, облысение, сутулость, занудный характер — все эти «возрастные детали» узнаваемы пожилым адресатом. Представленные в поэтическом тексте, они контрастируют с ожиданием поэтичности своей обыденностью и жестокостью, однако вызывают эмпатию читателя и привносят своеобразную лиричность в текст благодаря точной диагностике душевной боли, и грустной, и смешной.

В некоторых стихах содержится прямая номинация “возрастного” адресата существительным *pensioner*, атрибутивным

словосочетанием *retirement sale* и т.п., то есть присутствуют эксплицитные сигналы сужения адресации по линии возраста. В других случаях пожилой адресат имплицирован употреблением таких деталей и артефактов как *shaking fingers, hip replacement, false teeth, glasses*. В стихотворении «*If I Only Had My Glasses I'd Be There*» юмористически описываются узнаваемые пожилыми людьми неудобства и переживания, связанные с забывчивостью и склерозом, такие как в следующем четверостишии:

I had a few days' holiday and went to catch the train,
 I tried to read the timetable, it wasn't very plain,
 The numbers they were minuscule, the writing was so small,
 My final destination wasn't where I hoped at all [Ayres, 2007: 56].

Многие стихи напоминают типичный женский разговор с подругами о семье, о детях. Лирическая героиня обращается в своих стихах к таким же, как и она сама, женщинам, дети которых выросли и покинули родительское гнездо :

Where are my children young and free,
 So beautiful for all to see?
 They are not here with me,
 There's some mistake...
 They're scattered now, gone to achieve,
 With partners I could take or leave,
 In silent rooms I grieve
 For old time's sake [Ayres, 2007: 78].

Стихотворение *Don't Bother, I'll Do It Myself* имеет подзаголовок (*On bringing up teenagers*). Приведем заключительную строфи этого юмористического стихотворения, описывающего трудности воспитания подростков:

I have lost all my charms, grown orang-utan arms,
 As I lope along clearing each shelf,
 So it would've been great if you'd washed up your plate,
 But don't bother, I'll do it myself [Ayres, 2007: 150]!

В некоторых стихотворениях читатель “подслушивает” типично женский разговор о похудании, о разнообразных диетах и физических упражнениях:

I've got the diet books, the step, the weights, as you can see,
 All the workout tips advised by each celebrity,

I bought a slimmer's wheel, you had to push it to and fro,
But I've pulled so many muscles that it's going to have to go,
'Cause I'm too fat, too fat,
I've bought a load of tat,
Books to help you win the fight,
Pills to blunt your appetite,
Bats to beat your cellulite,
I'm too fat [Ayres, 2007: 109].

Существование романов для женщин — как правило, легко-развлекательного жанра, хорошо известно. Нам неизвестны, однако, романы для женщин какой-то определенной возрастной группы. Тем более интересным представляется появление стихов для женщин «продвинутого возраста». Не отрицая художественных достоинств многих стихотворений Пэм Эйрис, можно сказать, что популярность сборника ее стихов в Великобритании и за ее пределами в значительной степени обусловлена тем, что они адресованы растущему в США и в Европе демографическому слою пожилых женщин среднего достатка.

Об адресованности текстов Эйрис к читательницам-представительницам среднего класса можно судить по ощущимому присутствию в анализируемом сборнике стихов тем, актуальных для семей среднего класса. Среди них — зарубежные путешествия, домашние животные, сплетни о политиках и их личной жизни, обеспокоенность экологическими проблемами и некоторые другие.

В заключение высажем предположение о том, что отчасти анализируемый сборник стихов ориентирован не только на пожилых женщин среднего класса, но и на представительниц весьма среднего интеллекта (что не лишает его художественных достоинств). Данное предположение основано на особенностях структурно-семантической организации данного сборника стихов. Многие стихи сборника предваряются прозаическим текстом, часто с тем же названием, что и сами стихи, вводящим читателя в проблематику стихотворения, объясняющим его, иногда довольно подробно пересказывающим стихотворение или комментирующим личные переживания по поводу написанного. Примером может служить текст, предваряющий стихотворение *They Should Have Asked My Husband*: «I am of age now when a lot of my friends' husbands are

retiring. I notice that in some cases this is a triumphant success for the couple, whereas with others it takes a bit longer to get adjusted, particularly if he is a man of firm opinions.

This is about the person everybody's met who *knows it all*. It doesn't matter what your modest little view might be, he is going to *overwhelm* it with his great big, massively more important opinion.

I would like to point out that this has nothing at all to do with any member of my own family» [Ayres, 2007: 14].

Отдавая должное умению автора придать юмористический тон комментарию стихотворения, хочется отметить, что включение подобных предваряющих стихотворение текстов свидетельствует о недооценке автором интеллектуальных способностей своих читательниц.

В некоторых случаях, тем не менее, краткие предисловия к стихам не связаны с недооценкой автором интеллектуального потенциала адресата, а вызваны желанием исповедоваться, подчеркнуть, что каждое стихотворение продиктовано событиями личной жизни автора и отражает связанные с ними переживания реальной жизни. В век расцвета мемуаристики такой поэтический прием оказывается успешным для реализации сборника. В подавляющем числе стихотворений анализируемого сборника лирическая героиня и поэтесса Пэм Эйрис — одно лицо. В качестве примера приведем отрывок из стихотворения *The Pension Poem* и предваряющий его краткий комментарий:

On 14 March 2007, I was sixty years old. One morning shortly before my birthday I opened the post and had a shock...

A letter came this morning and it fluttered to the floor,
I picked it up and read it, as I've done countless times before.
Well I laughed! I doubled up! I stamped my foot and slapped
my thigh,

I couldn't get my breath, the tears were streaming from my
eyes.

I mean, they'd got the right address, they'd even found my
proper name,

But the heading said 'State Pension — it's time to make your
claim' [Ayres, 2007: 162].

Экспрессивно описывая в ходе дальнейшего изложения свое возмущение по поводу получения письма из “Пенсионного фонда”, молодящаяся героиня все же суммирует свою реакцию в конце стихотворения восклицанием «Oh, GOOD GRIEF!» Оригинальное употребление данного оксюморона удачно отражает борьбу полярных эмоций, хорошо знакомых читательницам пенсионного возраста в подобных ситуациях:

Well that's not me! That is not me! Look, I've kept my
youthful figure!

These aren't age-spots upon my face, they're freckles...only
bigger!

Not so long ago strong men competed for my honour,
So let's have no more nonsense! I'm a goer, not a gonner!
For ME to be a pensioner, I say with some relief,
I'd be sixty in 07! ... Wait a minute...Oh GOOD GRIEF [Ayres,
2007: 164]!

Проведенный в данной статье анализ адресованности поэтического текста демонстрирует актуализацию выявленного М.В. Никитиным принципа должностной информативности высказываний — общего принципа речевой деятельности, регулирующего подачу информации в актах коммуникации, определяющего ее отбор, дозирование, квантование и организацию для слушающего [Никитин, 1996: 682]. Поэтическая речь не является исключением из этого общего правила. Она также «обусловлена некой целью, потребностью, интересом в решении некоторой прагматической задачи — нередко не непосредственно, а опосредованно — в информационном процессе с вовлечением адресата [разрядка моя, О.Ф.]» [Никитин, 2008: 48].

НИКИТИН М. В., 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.

НИКИТИН М. В., 2008. К разработке когнитивного аппарата когнитивной семантики // Язык и текст в проблемном поле гуманитарных наук. *Studio Linguistica XVII*, СПб.

AYRES P., 2007. *Surgically Enhanced*. London.

BOND M., 2003. *A Bear Called Paddington*. Postscript. London.

З. М. Чемодурова (Тимофеева)

ИГРОВЫЕ СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЕЙКТИЧЕСКОГО МОДУСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ПОСТМОДЕРНИЗМА

М. Я. Дымарский, рассматривая модели классического и неклассического нарратива, определяет дейктический модус текста как функционально-семантическую категорию текста, базирующуюся на значениях референциальной определенности (неопределенности) всех содержащихся в нем элементов субъектной и хронотопической семантики. Как считает исследователь, при определенности дейктического модуса текста у читателя существует возможность составить непротиворечивую картину изображаемого «возможного мира», т. е. возникает дейктический паритет между автором и читателем. Именно дейктическая определенность текста и дейктический паритет автора и читателя являются, по мнению М. Я. Дымарского, наиболее существенными признаками классического (традиционного) нарратива [Дымарский, 1999: 243–244].

Многие художественные тексты постмодернизма относятся к неклассической модели нарратива, характеризующейся игровыми экспериментами современных писателей, творящих миры, «не заботясь о том, возможные это миры или нет» [Нikitin, 2003: 55].

Представляется, что в сфере субъектно-объектных отношений к игровым стратегиям конструирования противоречивой картины изображаемого «возможного мира» в художественном тексте постмодернизма можно отнести:

1. «местоименную» игру, под которой понимается намеренная неоднозначность интерпретации элементов субъектной семантики, моделирующая неупорядоченность «прагматических фокусов» повествователя;

2. «автобиографическую» игру, понимаемую как намеренное использование текстовых элементов из семантического поля «функциональность/ фактографичность» при моделировании «образа автора» (двойная экспозиция, по Левину);

3. «ролевую» игру, направленную на создание «многоликости» персонажных / повествовательных масок.

Степень энтропии субъектно-объектной определенности обуславливается, в том числе, и последовательным применением одной или сразу нескольких из вышеназванных стратегий.

В романе Пола Остера «City of Glass» все три стратегии создания субъектно-объектной неопределенности умело используются автором для моделирования типично постмодернистского художественного мира.

Начало романа «*in medias res*», или инициальная ретардация художественного дискурса, содержащего игровые эвристические элементы, подталкивающие читателя к интеллектуальной игре в «знание — незнание», становится отправной точкой для развертывания «широкомасштабной» игры в «знание — незнание», обусловленной коммуникативно-творческой стратегией автора:

It was a wrong number that started *it*, the telephone ringing three times in the dead of night, and the voice on the other end asking for someone *he* was not. Much later, when he was able to think about the thing that happened to him, he would conclude that nothing was real except the chance. But that was much later. In the beginning, there was simply the event and its consequences. Whether it might have turned out differently, or whether it was all predetermined with the first word that came from the stranger's mouth, is not the question. The question is the story itself, and whether or not it means something is not for the story to tell.

As for Quinn, there is little that need detain us. Who he was, where he came from, and what he did are of no great importance. We know, for example, that he was thirty five years old. We know that he had once been married, had once been a father, and that both his wife and son were now dead. We also know that he wrote books. To be precise, we know that he wrote mystery novels. These names were written under the name of William Wilson, and he produced them at the rate of about one a year, which brought in enough money for him to live modestly in a small New York apartment [Auster, 1990: 3].

Первые предложения романа, очевидно, интригуют читателя: эмфатическая конструкция, открывающая повествование, субституты «*it*», «*he*», наречие времени «*later*», употребленное дважды, таинственный голос, видимо, набравший неправильный номер. Однако уже к концу первого абзаца в pragmatischem

фокусе повествования оказывается не таинственный персонаж, а сама история. Такая смена повествовательной перспективы осуществляется за счет смены грамматического времени, повтора ключевых слов «story» и «question». Построение второго абзаца еще более любопытно. Идентификация героя (имя собственное Quinn) происходит в подчеркнуто небрежной манере, зато параллельные конструкции, в которых местоимение «we» в сочетании с модусным глаголом знания встречается четыре раза, подталкивают читателей к соучастию в развертываемом повествовании. Местоимение 1-го лица множественного числа в традиционном повествовании может обозначать экзегетического повествователя [Падучева, 1996: 203], обращающегося к экстрадиегетическому адресату [McHale, 1992: 91]. Однако, как указывает Ж. Женетт, местоимение «we» может означать не только «we=I+you», где местоимение первого лица эпически дистанцировано от рассказывающей истории, а местоимение второго лица относится к экстрадиегетическому адресату, но и «we= I + he» [Genette, 1988: 134].

Почти весь роман Остера характеризуется объективированной повествовательной перспективой, и только в конце произведения появляется рассказчик «I», что позволяет трактовать местоимение «we» в начале романа как вариант «I + he». Смена фокализатора, как таковая, не представляет особых сложностей при интерпретации, однако местоименная игра в романе Пола Остера поддерживается сразу несколькими другими стратегиями. Автобиографическая игра проявляется прежде всего в стратегии персонажной номинации: в романе Пола Остера одним из главных действующих лиц является персонаж по имени Пол Остер, и его жена Сири (реальное имя жены писателя). В отличие от нарративной модели метапрозы [Тимофеева, 2008], персонаж по имени Пол Остер не берет на себя эксплицитную роль «автора-творца», создающего читаемый нами текст, а выступает как «объект» изображения, некий «he» в составе местоименной группы «I + he= we». Субъективированный повествователь «I», появляющийся в самом конце повествования, обозначен как «друг Пола Остера», заявляющий:

As for Auster, I am convinced that he behaved badly throughout. If our friendship has ended, he has only himself to blame. As for me, my thoughts remain with Quinn. [Auster, 1990: 158]

Как справедливо указывает Е.А. Гончарова, «авторизованное повествование от 1-го лица задает, как правило, чрезвычайно сложные и разнонаправленные корреляции между субъектной определенностью повествователя и вуализованными формами выражения авторского «я»» [Гончарова, 1997: 11].

Субъектная определенность повествователя в данном романе расшатывается также благодаря наделению протагониста романа Дениэла Куинна многими автобиографическими чертами реального Пола Остера. Единственный детективный роман Куинна, упомянутый в тексте, называется «*Suicide Squeeze*», в то время как детективный роман, написанный самим Остером в 1982 году под псевдонимом, назывался «*Squeeze Play*». Детали, используемые в романе «*The City of Glass*» для описания возраста Куинна, его занятий и хобби, соответствуют фактам биографии реального Остера и тем самым еще более усложняют автобиографическую игру в романе.

Расшатывание границ между автором, повествователем и героем, «девальвирующее «вненаходимость» автора» [Липовецкий, 1997: 33], происходит в тексте за счет осуществления ролевой игры, мультиплекции масок «*alter ego*» Остера по имени Куинн. П. Во отмечает, что в игре, в которую играют современные писатели, «*маски внутри масок*» [*the masks within masks*] разрушают определенность. По ее мнению, маски присущи всем видам человеческой коммуникации, ролевая игра отличается от реальности и одновременно служит «пропуском» в действительный мир [Waugh, 1984: 97–98].

Уже на первой странице романа благодаря конвергенции стилистических приемов (параллельные конструкции, анафорический повтор местоимения «*we*», см. пример выше) в фокус внимания читателей попадает псевдоним Куинна, автора детективов: William Wilson [Auster, 1990: 3]. Стилистический эффект, создаваемый аллитерацией как в предложении, вводящем имя собственное, так и в самом антропониме с необычной («двойной») формой, усиливается на семантическом уровне аллюзивной функцией антропонимов William Wilson и Quinn. Они имплицитно указывают на повествователя (местоимение «*we*», многократно повторенное в начале повествования). Загадочность и двойственность субъекта повествования («*we = I + he*») поддерживается

ссылкой на имя протагониста новеллы Э. По “William Wilson”, преследуемого двойником, и, хотя и не столь явно, связывается с именем Эллери Куина, известного автора детективных романов. Под псевдонимом Куина — автора (Эллери Куин — имя на обложке) и Куина — персонажа (детектива — любителя) на самом деле скрывались два писателя: Фредерик Данней и Манфред Ли.

Создание «масок внутри масок» осуществляется, таким образом, и за счет аллюзивности антропонимов как одного из видов интертекстуальности, которая в последние годы иногда рассматривается как «игра форм» [Никитин, 2005].

Многоликость маски Д. Куинна, избравшего в качестве псевдонима имя Уильяма Уилсона и предпочитающего скрываться от всего мира [... he did not emerge from behind the mask of his pseudonym] многократно подчеркивается Полом Остером при помощи каламбурного тематического ряда Quinn — Wilson — Max Work:

1) Since finishing the latest William Wilson novel two weeks earlier, he had been languishing. His private — eye narrator, Max Work, had solved an elaborate series of crimes, [...], and Quinn was feeling somewhat exhausted by his efforts. Over the years, Work had become very close to Quinn. Whereas William Wilson remained an abstract figure for him, Work had increasingly come to life. In the triad of selves that Quinn had become, Wilson served as a kind of ventriloquist, Quinn himself was a dummy, and Work was the animated voice that gave purpose to the enterprise [Auster, 1990: 6].

2) Private eye. The term held a triple meaning for Quinn. Not only was it the letter «i», standing for the «investigator», it was «I» in the upper case, the tiny life bud buried in the body of the breathing self. At the same time, it was also the physical eye of the writer, the eye of the man who looks out from himself, into the world and demands, that the world reveal itself to him [Auster, 1990: 9-10].

Постоянное обыгрывание имени собственного «вдвойне вымышленного» частного детектива [...the more Quinn seemed to vanish, the more persistent Work's presence in that world became], местоименная игра [his efforts: Quinn's or Work's?], «расслоение» персонажа на три составляющие [a ventriloquist — a dummy — the animated voice], в ряду которых лидирующее место, безуслов-

но, отведено «живому голосу» творчества, еще более усложняют «ролевую игру» в произведении. Процесс расслоения творческого «эго» автора становится особенно обнаженным за счет каламбурного употребления «детективного» термина «private eye». Сближение творческого процесса с «частным расследованием», совмещение ролей писателя и сыщика на сюжетно-композиционном уровне поддерживается введением новой маски Куинна:

“Hello?” said the voice again.

“I’m listening,” said Quinn. “Who is this?”

“Is this Paul Auster? asked the voice. “I would like to speak to Mr. Paul Auster.” “There is no one by that name”. “Paul Auster. Of the Auster Detective Agency” [Auster, 1990: 7-8].

Образ Куинна, выступающего в роли Пола Остера — детектива и встречающего по ходу расследования Пола Остера — писателя, делает субъектно-объектные отношения в романе крайне неопределенными, противоречивыми и одновременно исключительно интригующими для читателей. Войдя в роль «Пола Остера — детектива» Куинн настойчиво повторяет: «My name is Paul Auster. That is not my real name» [Auster, 1990: 49]. Встречаясь с человеком, за которым следит, детектив-любитель представляет себя своим именем — Куинн: «I see. Yes, yes. I see: Quinn. A most resonant word. Rhymes with twin, does it not? [p. 89]. Лексические единицы twin и mask становятся ключевыми элементами текста. На сюжетном уровне прием «двойничества» реализуется при буквальном раздвоении клиента Куинна, некоего Стилмена:

What happened then defied explanation. Directly behind Stillmen, heaving into view just inches behind his right shoulder, another man stopped, took a lighter out of his pocket, and lit a cigarette. His face was the exact twin of Stillman’s. [...] At that moment, the two Stillmans started on their way again. The first turned right, the second turned left. [p. 67–68]

Иронические обыгрывание тема двойников осуществляется и при встрече Куинна с писателем Полом Остером:

“I am afraid you’ve got the wrong Paul Auster”.

“You’re the only one in the book” [Auster, 1990: 72].

Языковая игра с многозначной лексемой «book» содержит в себе намек на присутствие «автора-режиссера», поскольку единственным «Полом Остером в книге» является реальный когни-

тивный субъект, мистифицирующий, забавляющий читателей и провозглашающий: ... that's finally all anyone wants out of a book — to be amused [Auster, 1990: 120].

Таким образом, изобилие в романе «суррогатных авторов», таинственный повествователь (“Г” — «друг Пола Остера, писателя»), «масковость» персонажей до предела усложняют отношения в коммуникативной цепи «автор — повествователь — персонаж», создавая неиерархизованную картину изображенного мира, слагающуюся из элементов трансгрессивной комбинаторной игры.

ГОНЧАРОВА Е. А., 1997. Тип повествования — pragматическая перспектива — адресованность художественного текста//*Studio Linguistica V*. СПб.

ДЫМАРСКИЙ М. Я., 1999. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб.

ЛИПОВЕЦКИЙ М. Н., 1997. Русский постмодернизм: очерки исторической поэтики. Екатеринбург.

НИКИТИН М. В., 2003. Основания когнитивной семантики. СПб.

НИКИТИН М. В., 2005. Диалогизм vs. интертекстуальность: выбор плацдарма//*Studio Linguistica XIV*. СПб.

ПАДУЧЕВА Е. В., 1996. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.

ТИМОФЕЕВА З. М., 2008. Игра как текстообразующий фактор метапрозы//*Studio Linguistica XVII*. СПб.

AUSTER Paul., 1990. City of Glass// The New York Trilogy. New York.

GENETTE G., 1988. Narrative Discourse Revisited. London.

McHALE B., 1992. Constructing Postmodernism. London.

WAUGH P., 1984. Practicing Postmodernism. Reading Modernism. L., N.Y.

И. А. Щирова

ПАРАДОКСЫ ВЫМЫСЛА

Способность мастера слова вызывать и комбинировать образы в сознании, создавая вымышленный мир, всегда признавалась важной составляющей творчества, хотя и оценивалась неоднозначно. Одни видели в вымысле иллюзорные, а потому ложные образы, другие — воплощение созидательной силы сознания, его чудесной способности воссоздавать невидимое. Уточнению сложных понятий (художественного) вымысла и (художественной) истины, феноменологии и прагматики лжи посвящены многочисленные работы. Не менее подробно обсуждались в науке проблемы референции, однако, и задолго до того, как термин «референция» «получил прописку» в специальной литературе, вопросы соотношения вымышленной и реальной действительности занимал ученые умы¹. Остановимся кратко на некоторых причинах сохраняющегося интереса к теоретически и методологически сложной проблеме вымысла.

Первой среди таковых, вероятно, нужно назвать лакуны в человеческих знаниях. Аксиоматичное мнение К. Поппера о том, что «наše знание может быть лишь конечным, в то время как наše невежество необходимо должно быть бесконечным» [Поппер, 2004: 56], программирует ценность эвристики вымысла. Наряду с интуицией и воображением, вымысел позволяет человеку высказывать самые смелые и невероятные предположения, часть которых, подвергшись проверке временем, становится реальностью.

Не менее важной представляется связь вымысла с механизмами языкового манипулирования: современное состояние социума убеждает в том, сколь часто используются такие механизмы.

¹ В качестве исходной точки предлагаемого далее анализа берётся типология вымысла, предложенная Е. Ю. Ильиновой, которая различает три типа вымысла: эвристический, манипулятивный и художественный. Основой манипулятивного вымысла называется намерение внедрить в сознании социума искаженную информацию, эвристического — объяснить непонятные и неизвестные человеку явления, художественного — обеспечить эстетические потребности человека [Ильинова 2008: 70].

Анализ социальных взаимодействий, происходящих через тексты, приближает лингвистов к осмыслению языка как инструмента власти и определяет их «ответственность за употребление языка» [Болинджер, 1987: 29]. Вымысел соотносится с ложью и противопоставляется истине, а потому справедливо попадает в сферу обсуждения вопросов, связанных с выявлением приёмов неявного управления пониманием и поведением реципиента. Оппозиция «истина и ложь», в контекст которой закономерно включается вымысел, несмотря на интерпретативный, а значит исключающий абсолютную истину характер современной научной парадигмы, затрагивает базовые ценностные установки человека и также не может не являться сферой актуальных научных изысканий.

В немалой степени, возрастание научного внимания к вымыслю обусловлено тем, что он формирует основу «эстетического события» текста. Междисциплинарные подходы, преобладающие при изучении этого сложного феномена сегодня, расширяют поисковые возможности: выход за границы единой предметности позволяет исследователю художественного вымысла объяснить те закономерности реального человеческого мышления, которые не могли быть объяснены ранее отдельными науками, поскольку эти науки ограничивали свои задачи их отдельными аспектами или предлагали чрезмерно идеализированные решения.

Актуальность проблемы художественного вымысла, конечно же, связана с общепризнанной ролью искусства в жизни человека. Эстетически-выразительные формы отражают ценностные установки творческой личности, несут в себе ценностные значения и возбуждают сложную гамму чувств. В «чуде искусства» убеждают нас Седьмая симфония Шостаковича, помогавшая выжить блокадному Ленинграду, непомерно длинная очередь к портрету Моны Лизы в Москве минувшей эпохи или памятник лучшему мультфильму «всех времён и народов» — «Ёжику в тумане»: он недавно появился в Киеве. Изображённый мир бессмертных произведений литературы — результат художественного вымысла — по-прежнему вызывает в человеке очищающий душу катарсис. Если в иных сферах ценностной ориентации человека эмоциональная основа необязательна или невозможна (ср., например, тексты официальной документации), то основу воспри-

ятия произведения искусства всегда составляет эмоциональное переживание. Характер и сила испытанного чувства становятся в этом случае «единственным необходимым и достаточным основанием оценочного суждения». Эмоциональность эстетического восприятия объекта искусства «втягивает» индивида «значительно более глубоко и полно, чем его познавательное отношение к миру», и хотя любое познание осуществляется субъектом, эстетическое чувство является «наиболее сокровенно, интимной и неотрывной от индивидуальности формой субъективного» [Каган, 1997: 133].

Ну и, наконец, вымысел — это ключевое понятие дискуссии о природе и механизмах лингвокреативного творчества. Когнитология как важная компонента современных «наук о духе», уделяет много внимания креативности сознания, т.е. его способности, в той или иной степени автономизировавшись от реального мира, творить вымышленные (воображаемые) ментальные миры [Никитин, 2003]. «Ожившие герои», «ранящие строки», «текст-наслаждение» и «текст-удовольствие», — все эти известные образы говорят о примечательной способности человеческого разума — запечатлённой в артефакте силе воображения.

Сложные механизмы творческой деятельности едва ли когда-нибудь полностью подчинятся учёным в силу сложной организации человеческой психики, а значит, и в будущем сохранят научный интерес. Чтобы в очередной раз проиллюстрировать сложность внутреннего универсума, обратимся к понятию автономного комплекса, которое вводит для описания художественного творчества К. Г. Юнг.

Юнг усматривает в творческом процессе «своего рода живое существо, имплантированное в человеческую душу» (автономный комплекс). Эта «отделившая часть души», убеждён он, ведёт самостоятельную жизнь «за пределами теократии сознания» и использует человека «как питательную среду, эксплуатируя его способности в согласии со своими законами и создавая самой себя во исполнение собственной творческой цели» [Юнг, 1997: 322, 321]. Исходя из разграничения сознания и бессознательного, Юнг выделяет два способа творения. Первый — иллюстрируют произведения, возникающие «целиком из намерения автора добиться конкретного результата». Материал в этом случае подчинён ху-

должественному намерению, каноны форм и стиля соблюдаются, «выражения» выбираются с полной свободой, а автор идентифицируется с работой, в результате чего его намерения «становятся неотличимыми» от акта творения. Автор, т.о., находится «в полном согласии с творческим процессом». В этом, казалось бы, полностью осознаваемом акте, обнаруживается, однако, влияние бессознательного: творческий процесс оказывается способным превратить автора в свой инструмент таким образом, что автор не осознает происшедшего превращения. Произведения противоположного типа, по Юнгу, выходят из-под авторского пера «более или менее полными и совершенными» и входят в мир, как Афина Паллада, появившаяся из головы Зевса. Они «категорически навязывают себя автору, завладевая его рукой» и приносят с собой свою форму: то, что автор хочет добавить «от себя» отвергается, а то, что он хотел бы отбросить, «навязывается ему с удвоенной силой». Поскольку такие произведения «могущественнее автора», автор не может ими управлять, его сознание оказывается «пораженным и беспомощным», творец не идентифицируется с творением и осознаёт, что подчинён произведению или находится вне его, «как если бы он был запасным игроком». Однако в этом, на первый взгляд, «не подчиняющемся» авторскому разуму процессе, выявляется авторская самость, сокровенная натура. Импульс, которому повинуется автор и за которым он якобы следует, лишь кажется чужим («якобы чужой»). Как видим, анализ обоих способов творения приводит Юнга к выводу об иллюзорности абсолютной свободы поэта, который лишь «воображает, будто плывёт, хотя на самом деле его несёт невидимое течение» [Юнг, 1997: 320–322].

Сложность феномена вымысла, заметим, соответствует доминирующему сегодня в науке категориям сложного и многомерного и программирует множественные разнотечения в его описаниях. Так, иногда вымысел разграничивается по параметру «жизнеподобие» (ср. жизнеподобный/правдоподобный vs. нежизнеподобный/неправдоподобный вымысел), а иногда сводится к последней из названных разновидностей. При разграничении жизнеподобного и нежизнеподобного вымысла с первым соотносят вымышленные конструкты, подобные сущностям мира, а со вторым — конструкты, в которых характеристики мира пе-

реплатаются столь причудливо, что у читателя фикционально-го текста возникает иллюзия их независимого существования. Если жизнеподобные вымысленные конструкты подразумеваются вымыслом в широком смысле слова и формируют любой «как бы мир» текста, то нежизнеподобные вымысленные конструкты не имеют референта в реальной действительности (ср., например, образ горгульи). Как следствие, они объективируются в типах текста, запечатлеваяющих «полёт» авторской фантазии, и должны быть признаны их текстотипологическими свойствами. «Ост-ранённость» вербализованного вымыщенного конструкта, предопределляемая отсутствием у него референта в действительном мире, характерна, например, для текстов фэнтези или научной фантастики (Ср. «фантастика» от греч. *phantastike* — искусство воображать).

Проблема вымысла в широком смысле слова часто рассматривается в связи с проблемой творческого воображения: целенаправленный в своей основе вымысел противопоставляется в этом случае «размытому, бесформенному, нестабильному» воображаемому. Так, В. Изер отдаёт предпочтение не диаде «вымысел\реальность», а триаде «реальное\фiktивное\воображаемое». В художественном тексте он обнаруживает реальность, которая не только должна относиться к распознаваемой социальной действительности, но и может относиться к «реальности чувств и ощущений». Эта реальность не фiktивна, поскольку не может стать вымысленной лишь оттого, что появляется в художественном тексте. Более того, она не появляется случайно. Если фикциональный текст основывается на действительности, но не исчерпывается ею, то это удвоение и есть вымысел, выявляющий цели, которые не свойственны самой повторяющейся действительности [Изер, 2001: 189, 188].

Сложность и актуальность феномена вымысла наглядно подтверждается продолжающимися дискуссиями по вопросу о его соотношении с истиной. Обычно в фокусе такого рода дискуссий оказывается неправдоподобный вымысел, — ведь он наиболее очевидно позволяет усомниться в истинности вымысливаемых сущностей. Так, Е. Ю. Ильинова, изучая художественный вымысел на примере концептосферы «Магия» в текстах жанра фэнтези, характеризует его как относительно неточное высказы-

вание, основанное на *ложном* суждении об объекте. Поскольку, считает автор, вымысел предполагает нарушение логических норм соотношения имени субъекта и приписываемых ему признаков, референция, лежащая в его основе является гипотетической, она допускает предикацию несуществующих в реальном мире объектов и ситуаций или их признаков, а значит, вымысел является *отклонением от истины* [Ильинова, 2008: 34] (курсив мой — И. Щ.). Хотелось бы оспорить этот тезис, попутно отметив неизбежность расхождений в решении проблемы истины и лжи по отношению к художественной речи. Даже те мнения по данному вопросу, которые упоминаются в рамках статьи, различны. Так, М. В. Никитин считает тексты типа фэнтези «истинно-независимыми», поскольку они изначально не претендуют на фактуальность [Никитин, 2003: 56], Е. Ю. Ильинова связывает их с отклонением от истины, а автор статьи настаивает на правомерности применения параметра «истинность» по отношению к художественным текстам, хотя и подчёркивает его своеобразие. Каждый из этих взглядов находит своих сторонников и противников. Корень же расхождений, по-видимому, следует искать в природе «расщепленной референции» художественного текста (Ср. блестящий образ Якобсона: «Это было, и этого не было»).

Моделируя реальную действительность, автор художественного текста опирается на воображение. Используя его целенаправленно, автор совершаet акт вымысла. Вымышленные субстанции, признаки и события в силу принадлежности автора действительности не могут не иметь её в качестве онтологической основы. Действительность выступает источником авторского опыта, а потому любые вымышленные им ментальные конструкты лишь модифицируют ту действительность, частью которой он является. Изображенная действительность «не претендует» на то, чтобы её приняли за реальность, что могло бы послужить поводом для упрёка автора в обмане. Вместе с тем, именно такой упрёк неоднократно высказывался авторитетными источниками. «Всегда раздавались голоса, — напоминает Х. Вайнрих, — которые объявляли поэзию страной лжи. Мы бы вовсе не упоминали об этих голосах, если бы среди них не было голоса Платона» [Вайнрих, 1987: 85]. Исходным тезисом для заочной дискуссии Вайнриха с Платоном становится определение лжи, по блаженному Август-

тину: «*mendacium est enuntiatio cum voluntate falsum enuntiandi* (Ложь — это сказанное с желанием сказать ложь) [там же: 47]. У творца литературного произведения, — справедливо замечает Вайнрих, — отсутствует осознанное намерение обмануть, а значит называть его обманщиком неправомерно. В «мире перевёртышей» «с неба падают алые розы, и льётся прохладное вино», т.е. происходят события, отличные от событий реального мира, но все приходящие в волшебный мир *знают это*. О том, что *вымысел преподносится творцом как вымысел, а не как истина*, свидетельствуют «сигналы лжи для посвященных». Например, жанр сказки, вызывающий больше всего подозрений в лживости, имеет родовые отличия, понятные даже ребёнку [там же: 85] (курсив мой — И.Щ.).

С рассуждениями Вайнриха трудно не согласиться. Конститтивное свойство текста — «интенциональность» ориентирует исследователя на «поиски» авторского намерения, которое, в конечном счёте, сводится к стремлению передать на примере вымышленного «как бы мира» отношение к миру реальному. Это отношение объективируется текстом опосредованно: концептуальный материал организуется по индивидуально-авторским моделям через взаимосвязанные фиктивные (вымышленные) сущности. В фантазийном мире текста реальный мир принимает весьма причудливые «обличья», однако, и самые сложные продукты сознания художника не порождены намерением обмануть, — они лишь убеждают в высокой степени креативности авторского сознания. Осуществляя референцию к несуществующим объектам, автор не скрывает своего притворства. Он делает вид, что говорит о персонажах, ему известных, и осуществляет к ним референцию посредством имен, но это притворство не направлено на обман. Скорее между писателем и читателем заключается своего рода соглашение, «кооперативная игра воображения», когда повествователи делают вид, что передают читателям исторически достоверную информацию, а читатели — что принимают её к сведению [Льюиз, 1999: 52, 63].

Парадокс художественного вымысла, как и любой парадокс, противоречит «здравому смыслу» в силу своей необычности (*paradoktos* — неожиданный, странный), но парадоксальность не равнозначна лжи. «То, что, должно по отношению к объекту

художественного моделирования — реальному миру, истинно в возможном мире текста». Этот вывод, укладывающийся в рамки традиционного разграничения художественной и реальной коммуникации, не предполагает отрыва мира вымысла от реального мира. Напротив, только связь этих миров гарантирует понимание фикции, сколь бы далеко не пыталась нас «увести» авторская фантазия. Узнаваемость вымышленных ментальных конструктов, объективируемых материальной данностью текста, предопределяется реальностью внешнего и внутреннего мира как «точек отсчёта» вымысла. И самая замысловатая игра художника со словом всегда подчиняется цели художественной коммуникации — как можно эффективнее передать информацию, значимую, с точки зрения авторской миросценки. Показательна в этом связи ирония Л. С. Выготского по отношению к зауми русских футуристов. «Заумь победила в осмыщенном тексте, насыщаясь смыслом от того места в тексте, в котором заумное слово поставлено. Чистая заумь умерла. И когда сам автор «фрейдыбачит на психоаналитике» и занимается «психоложеством», он не доказывает этим торжества зауми — он образует очень осмыщенные слова из сочетания двух далёких по смыслу слов-элементов» [Выготский, 1997: 75] (выделено автором — И. Щ.).

Говорить об отклонении от истины, подразумевая смысловые искажения фикции по отношению к реальному миру, можно, если иметь в виду абсолютную, аналитическую истину в логическом смысле. Однако сегодня истину не возводят в ранг абсолюта, хотя и признают её как таковую. Ориентация знаний на человека предопределяет актуальность интенсиональных модальных логик, трактующих истинность подвижно, по отношению к одному из возможных миров. В качестве такового целесообразно рассматривать и художественный текст. Мир «внутри текста» (вымышленный, возможный мир) может в этом случае восприниматься как условно автономный, а истина по отношению к составляющим его вымышленным компонентам — как истина, релевантная для этого мира. Описание художественного текста как возможного мира, с одной стороны, связанного с реальным миром, а с другой стороны, отличного от него, приближает нас к гибкому пониманию текста и того, что является в нем истинным. Думается, что гибкое видение истины соответствует неоп-

ределенности и неоднозначности осваиваемого нами сегодня научного знания. Они же неизбежно диктуются текучестью мира и сознания человека.

Завершая эту статью, заметим, что способность психики порождать виртуальную реальность очень часто заменяет человеку ощущения, искомые, но не находимые им в реальной жизни. Вымысел всегда будет выступать предметом обсуждения самых разных интерпретационных сообществ, поскольку он касается жизненных интересов человека.

БОЛИНДЖЕР Д., 1987. Истина — проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.

ВАЙНРИХ Х., 1987. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.

ВЫГОТСКИЙ Л. С., 1997. Психология искусства. М.

КАГАН М. С., 1997. Эстетика как философская наука. СПб.

ИЗЕР В., 2001. Акты вымысла. Или что фиктивно в фикциональном тексте // Немецкое философское литературоведение наших дней. СПб.

ИЛЬИНОВА Е. Ю., 2008. Вымысел в языковом сознании и тексте. Волгоград.

ЛЬЮИЗ Д., 1999. Истинность в вымысле // Логос. № 3.

ПОППЕР К., 2004. Предположения и опровержения. М.

НИКИТИН М. В., 2003. Основания когнитивной семантики. СПб.

ЮНГ К. Г., 1997. Сознание и бессознательное. СПб.

E. B. Яковлева

РЕФЕРЕНЦИЯ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ ЯЗЫКА

В настоящий период отмечается пристальное внимание к изучению механизма референции, появление целого ряда специальных исследований на материале различных языков тому свидетельство. Так, например, на материале испанского языка выделяются монографические исследования Е. F. Querego Gervilla, M. Leonetti Jungl, T. Hämäläinen и др. Отметим, что анализ этих и других работ позволяет говорить о наличии важной и интересной тенденции — изучать особенности референции, учитывая особую природу естественного языка, включающую как рациональный, так и субъективный компонент. Этот факт очень примечателен, поскольку первоначально делались попытки изучать референцию с иных позиций.

Известно, что теория референции начала складываться под влиянием логики [Г. Фреге, Б. Рассел, Р. Карнап, У. Куайн и др.], что объясняет, с одной стороны, интенсивное продвижение вперед новой отрасли в языкоznании, создание терминологической базы, разработки методики исследования. С другой стороны, быстро выявилаась определенная неприспособленность логики к учёту субъективного фактора языка, что заставляет исследователей, приверженцев логического подхода [Л. Витгенштейн, Р. Монте-гю] искать новые пути для решения противоречий. Возникает каузальная теория, затем неокаузальная, предпринимаются попытки преодолеть трудности при помощи когнитивных подходов к пониманию референциального механизма. Логическая семантика сменяется семантикой возможных миров [Я. Хинтикка, С. Крипке] и теоретико-игровой семантикой [Л. Витгенштейн]. Но во всех вариантах все же сохраняется, хотя и видоизмененно, стратегия поиска концепта истины. Наряду с появлением новых школ и направлений появляются отдельные работы, которые позволяют найти проблемные точки теории референции и увидеть пути решения выявленных проблем. К таким исследованием можно отнести труды по семантике М. В. Никитина.

Несомненной заслугой Г. Фреге было создание нового направления исследований, которое в конечном итоге послужило

основой для развития логико-семантических исследований в лингвистике, с одной стороны, а с другой, — привлекло внимание философов к феномену значения, что и явилось базой для продвижения вперед аналитической философии. Как известно, в работах Г. Фреге первоначально рассматривается референция отдельно взятого имени, при этом последовательно различается смысл и денотат (референт), что влечет за собой необходимость определения, что есть смысл, концепт, значение и какова их природа. Во-вторых, рассматривается референция предложения, причем важным, принципиально важным оказывается критерий истины, т.е. то, каким образом предложение соотносится с действительной реальностью, истинно оно или должно по отношению к действительности. В-третьих, в теории Г. Фреге разрабатывается процедура замены некоторого слова кореферентным, при этом такая подстановка не должна менять референции предложения. Таким образом, разрабатывается референция имени, предложения и процедур верификации.

Трудно правильно интерпретировать концепцию Фреге в отрыве от контекста, в котором она развивалась, и тех целей, которые она перед собой ставила. Формализация, существующая в таких теоретических дисциплинах, как геометрия или логика, представляет собой рамки, в которых эти науки помещают свой эмпирический материал, что и позволяет этим дисциплинам упорядочить свои законы. Найти рамки, которые позволили бы лингвистике ограничить свой материал, упорядочить свои законы, — вот те задачи, которыеставил Г. Фреге, причем конечная цель для него — в обнаружении истины.

Теория референции в ее классическом логическом варианте ставит много вопросов, среди которых можно выделить следующие:

1. как трактовать референты, несуществующие в реальной действительности;
2. каким образом процедура верификации проясняет суть предложения, насколько она значима для грамматики и семантики предложения;
3. каков статус определенных дескрипций;
4. каким образом разделять референциальные и нереференциальные употребления.

Нахождение формально-логических элементов, присущих синтаксису и сходных с логическими операторами, создает ощущение правильности выбранного пути. Когда Г. Фреге рассматривает логический статус предложения, он изучает его как определенную сущность в связи с поставленной целью. Поскольку предложение имеет две различные семантические сущности — обладает определенным смыслом, с одной стороны, и содержит ссылку к некоторой области — реальной или вымышленной, с другой, оно оказывается некоторой связкой между логикой истины и семантикой. «Предложение — это предельный предмет утверждения: «*p* истинно» или «*p* ложно». Логика не может обойтись без пропозиционального познания, которое находит опору в представлении констатируемого и действительно истинного положения вещей» [Мулуд, 1979: 193].

Однако процедура соотнесения референции и истины, понятая в рамках логической теории референции, оказывается спорной для интерпретации в рамках лингвистических подходов к референции. Для построения предложения (при учете семантики и грамматики) оказывается неважным, каким является его соотнесение с реальной действительностью (ложным или истинным), поскольку это построение подчиняется иным закономерностям. Тогда возникает вопрос, насколько правомерно применение этого принципа для интерпретации предложения. Общую оценку применению методов, включающих категорию истина-ложь, дает М.В. Никитин, отмечая: «надо принять как общий принцип: истинность-ложность не заложены в структуре языка как конститтивный принцип» [Никитин, 1996: 654].

Теория референции имени, предложенная Г. Фреге, вызывает трудности в интерпретации референтов, не существующих в реальной действительности (Баба-Яга, единорог, Жар-птица, «Летучий Голландец» и т.п.). Кроме того, крайне усложненная интерпретация референции литературных героев, связанная с идеей существования различных миров, предложенная последователями Г. Фреге, вызывает большие сомнения. Такое противоречие есть следствие своеобразного понимания референта — он оказывается лишь физическим объектом, элементом действительности, никаким образом не отражающим представления говорящего субъекта.

Лингвистический объект всегда связан с сознанием человека и его представлениями, лингвистические объекты — это ментальные сущности. М. В. Никитин писал, что можно считать и называть «сущностями все сущее в ментальных мирах сознания независимо от того, являются ли они отражением мира действительного или же являются в той или иной мере конструктами сознания» [Никитин, 2006: 3]. Литературные герои, вымышленные референты — это сущности ментальных миров так, как об этом пишет М. В. Никитин. Внеязыковая действительность для теории референции важна прежде всего как отраженная действительность. Здесь важно подчеркнуть, что для «лингвиста реальная действительность — это действительность, которая подается говорящим как реальная» [Шмелев, 2002 : 35]».

Отметим, что для естественного языка отмечается возможность специфической референции, основанной на допущении диалога с несуществующим референтом. В лирическом произведении мы можем наблюдать различного рода обращения к референтам, общение с которыми невозможно (с позиции здравого смысла). В качестве иллюстрации можно привести стихотворение «Из Венеции», написанное современным испанским поэтом M.Garrido Chamorro. Интересно, что стихотворение представляет собой письмо, которое мог бы написать Ф. де Кеведо к своей возлюбленной.

Oh, Lísida adorada: Os escribo

Desde Venecia, al fin recién llegado (Garrido Chamorro).

Привлекает внимание тот факт, что стихотворный текст, в основе которого находятся сразу несколько допущений, воспринимается достаточно естественно. Внеязыковая действительность нами понимается не только как реально существующая действительность, но и как мыслимая действительность, подаваемая автором как реально существующая.

Стилистический эффект такого рода текстов основан на «игре» с читателем, которые должны оценить реальность вымысла, общую стилизацию под старину, с одной стороны, а с, другой — имитацию стиля самого Ф. Де Кеведо. Иными словами, поэт должен принимать во внимание две предпосылки, связанные с фактором адресата: читатели должны знать стиль Ф. де Кеведо; читатели должны знать лицо, к которому обращается Ф. де Ке-

ведо, и быть информированными о характере отношений между ними.

В связи с возможностью такой сложной игры с реальностью, с прошлым и будущим, можно говорить о реальности вымысла, при этом очевидно, что в данном случае процедура верификации вряд ли применима, пафос этого стихотворения состоит в допущении возможности невозможного. В поэзии границы реальности значительно расширены, причем передача внутреннего диалога с собой, диалога с неодушевленным референтом и т.п. оказываются здесь естественными, они не противоречат природе естественного языка.

Что же касается прозаических произведений, то использование различных ипостасей одного и того же лица в нескольких временных пластиах, незаметные переходы из одного личностного состояния в другое, что соответствует сменам временных планов, составляют одну из особенностей современной испаноязычной прозы. Можно в этой связи вспомнить таких авторов, как Г. Гарсия Маркес (в частности, «Осень патриарха»), Х. Кортасар («Игра в классики»), К. Мартин Гайте («Задняя комната») и др. Специфическая множественная референция с отсылкой к нереальному, несуществующему, которое представляется автором действительно существующим, становится в этих романах своеобразной нормой. Расслоение «я» говорящего, переходы от одного к другому «я» можно рассматривать так же как обыгрывание возможностей игры с мнимым референтом.

Изучение такого рода референций представляет собой интересную лингвистическую задачу. Можно в этой связи отметить, что в каждом таком акте референции имеется допущение о расслоении одного единого референта до нескольких. В таких случаях можно различать два термина, «При этом «денотат» остается общим термином, употребляемым и для реальных, и для мнимых денотатов, а «референт» используется только для существующих денотатов. Соответственно и термин «денотация» и «референция» различаются: первый как синоним обозначения речемыслительного действия независимо от реальности или мнимости денотата, а второй — в смысле мыслительно-познавательного действия, относящего понятие и имя с вещью и устанавливающего, есть ли у них реальный денотат, и если есть, то каков» [Никитин, 1988:

26]. Таким образом, сосуществование двух параллельных терминов оказывается оправданным и рациональным, позволяющим разграничить две схожие ситуации.

В языковом сознании, безусловно, существует понимание того факта, что референт может быть реально существующим и мнимым. Важно подчеркнуть, что нереферентны все «признаковые слова, а также вещные слова, употребленные вне репрезентации» [Никитин, 1988: 26]. Иными словами, для естественного языка является естественным иметь разнообразные референты: реальные и мнимые, референтные и нереферентные, все они обеспечивают, каждый по-своему, функционирование языка.

Как отмечалось, определенную сложность представляет трактовка определенной дескрипции, поскольку в классической теории референции предполагается в случае определенной дескрипции необходимость существования и единственность референта. Вместе с тем, существуют различие в определенности для говорящего и для слушающего.

Особую проблему представляет поиск референта у таких лингвистических объектов, как слова с дейктической природой. Трудно ответить на вопрос, что является референтом у *«вот»*, или у слов-шифтеров (*любой, всякий*), исходя из постулатов, предложенных Г. Фреге. С другой стороны, Б. Рассел, предложивший исключить такие слова из теории, сильно искажает действительность речевого процесса. Таким образом, оказывается, что целый класс слов, который в настоящий период рассматривается как типично референциальный (имеются в виду местоимения), полностью исключается из рассмотрения.

Причиной такого положения вещей является то, что в теории Г. Фреге не учитывается тип лингвистических объектов и их языковая природа. «В зависимости от типа отображаемых объектов в структуре концептов в разной комбинации могут быть представлены или отсутствовать в качестве составляющих их содержание такие «концепты», как чувственный образ, отвлечённое понятие, импликативный потенциал и оценочно-прагматическая значимость» [Никитин, 2005: 27].

Еще одной нерешенной проблемой теории является разграничение референтных и нереферентных ситуаций. Процедура соотнесения с реальной действительностью (истина или ложь) не

может прояснить, в каких ситуациях мы имеем генеративную референцию, а в каких контекстах имеется нереферентное употребление. Специалисты подчеркивают, что Г. Фреге отвергает не только лингвистическую субъектно-предикатную дистинкцию, но также и онтологический смысл разграничения: между двумя видами сущностей, которые фиксируются терминами «единичное» и «общее» [Жоль, 1990: 134].

В некоторых поздних модификациях логической теории референции прагматический фактор играет специфическую роль. В каузальной теории [Доннеллан, Крипке, Патнэм] «решающее значение в механизме референции придается не смыслу выражения, а разного рода прагматическим факторам» [Падучева, 2001: 80]. Однако прагматика этой теории не связана с реальными представлениями говорящих субъектов, прагматика здесь носит умозрительный характер и отсылает нас к тому моменту, когда имя получает свое наименование. Речь идет о референции таких объектов, как золото, вода, при этом утверждается, что их референция связано каузальной связью референций. При таком понимании референции этом из поля рассмотрения исключается и смысл, и субъективизм любого рода.

В качестве выводов отметим следующее. Привлечение внимания к феномену референции, послужившее основой для возникновения новых ветвей в лингвистике и философии осуществленное Г. Фреге, можно рассматривать как несомненную заслугу автора теории референции. Исследование референции имени и референции предложения с помощью логических процедур позволяет говорить о том, что природа естественного языка приходит в противоречие с методологией Г. Фреге и его последователей. Полное исключение ментальности из акта референции в значительной степени обедняет и искажает теорию. В каждом акте референции в обязательном порядке присутствует субъективный компонент, который отражает человеческое видение реальной действительности, его творческий подход к реальности, его суеверия и мечты. Создание мнимых референтов, игра с расслоением единого референта, представление единичного как класса и т.п., иными словами, «игра» с референтами и денотатами является постоянной языковой реальностью. Характер референции обусловлен такими лингвистическими факторами, как часть речи, специфика

концепта, с одной стороны, и фонд знаний говорящего и слушающего, с другой. Исключение учета позиции говорящего субъекта, прогноза относительно фонда знаний слушающего из рассмотрения в значительной степени искажают процесс референции.

ЖОЛЬ К. К., 1990. Язык как практическое сознание (философский анализ). Киев.

НИКИТИН М. В. , 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.

НИКИТИН М. В., 1988. Основы лингвистической теории значения. М.

НИКИТИН М. В., 2005. Развёрнутые тезисы о концептах. // *Studia Linguistica XIII*.

НИКИТИН М. В., 2006. Основные модели когнитивной оппозитивности // *Studia Linguistica XV*.

МУЛУД Н., 1979. Анализ и смысл. М.

ПАДУЧЕВА Е. В., 2001. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М.

ШМЕЛЕВ А. Д., 2002. Русский язык и внеязыковая действительность. М.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

O. V. Карелова

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

В настоящее время существуют различные концепции и направления в изучении художественного текста, в частности поэтического, что в значительной степени объясняется многоплановостью и многоаспектностью данного явления. Обширный теоретический материал, направленный на исследование специфики поэтической речи, представлен в работах таких известных ученых, как М. М. Бахтин, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, М. И. Шапир, Е. Г. Эткинд, Р. Якобсон.

Необходимо отметить, что одной из особенностей стихотворного текста является повышенная функциональная значимость слова. Именно слово, выполняя свою эстетическую роль, является важнейшим средством создания художественного образа. Обычно под художественным образом понимают воспроизведение типичных явлений жизни в конкретно-индивидуальной форме. «Художественный образ как одна из форм отражения внешнего мира есть особый вид его; специфика образа состоит, прежде всего, в том, что, давая человеку новое познание мира, он одновременно передает и определенное отношение к отражаемому» [Арнольд, 2002: 139].

Идею многозначности поэтического слова, «текучести его значения» высказывал А. А. Потебня: «поэтический образ всегда говорит воспринимающему нечто иное и большее, чем то, что в нем заключено. Таким образом, поэзия всегда есть иносказание» [Потебня, 1976: 77]. Ю. И. Минералов в своих работах развивает концепцию А. А. Потебни и устанавливает связь между внутренней формой слова и индивидуальным стилем. Он отмечает, что «слог (стиль) не просто средство выражать мысль, а индивидуальный способ преобразовывать ее» [Минералов, 1999: 279–285]. Слово в поэтическом тексте называет реалию по тому признаку и с той эмоцией, которые отражают восприятие и чувства автора; смысловая структура слова в тексте расширяется и обогащается «приращениями» смысла. Следовательно, слово, несущее собс-

твенное прямое значение, способно вызывать у читателя по ассоциации ряд других значений. З. Д. Попова указывает на то, что ассоциативные цепи понятий могут быть общенародными, социально-групповыми и индивидуальными. «Звуковое обозначение одного звуна такой цепи способно стать сигналом для стимуляции в мозгу человека целой анфилады образов, поэтому одно слово может обозначать одновременно ряд понятий» [Попова, 1982: 3].

С. И. Чернышев отмечает, что «слова как единицы поэтического языка могут включать в свою семантику универсалии разных знаковых систем культуры и системы языка; они могут соотноситься с ядерными образами, восходящими к мифо-поэтическим представлениям, и возрождающимися в истории культуры. В поэтическом произведении при взаимном влиянии и полимотивированности словесных образов мифопоэтический аспект семантически реализуется в соответствии с уникальными контекстуальными условиями и может играть важную роль в организации ассоциативного, эмоционально-экспрессивного, когнитивного планов значения» [Чернышев, 1995: 176].

И. В. Арнольд пишет: «Всякий образ основан на использовании сходства между двумя далекими друг от друга предметами. Предметы должны быть достаточно далекими, чтобы сопоставление их было неожиданным, обращало на себя внимание и чтобы черты различия оттеняли сходства» [Арнольд, 2002: 140]. Центральным образным средством принято считать метафору. «Метафора отражает внутреннюю жизнь человеческой психики... Метафора особенно присуща поэтическим текстам, потому что она противостоит обыденной картине мира, она отвергает традиционную классификацию объектов и предлагает иную, в которой заложен вызов обычному, рациональному взгляду на мир» [Щирова, Тураева, 2005: 142–143].

Следует также отметить, что «особая смысловая нагруженность» слов поэтического языка находится в непосредственной зависимости от всей структуры поэтического текста. По словам С. Гончаренко, благодаря особому устройству поэтической речи, почти каждое поэтическое слово преобразуется из «линеарного знака» в «пространственный поэтический микронах» [Гончаренко, 1988: 106]. Именно структурные ограничения — метроритмические, фонические и словесно-образные — формируют про-

странственно-объемные параметры лирического стихотворения, многомерно интегрируя словесный материал, связывая все его элементы не только по «горизонтальной», но и по «вертикальной» и по «глубинной» оси коммуникации.

Необходимо отметить, что наравне с широко известными теориями Ю. Н. Тынянова («единства и тесноты поэтического ряда»), Ю. М. Лотмана (слова как элемента целостной и сложной структуры поэтического произведения), М. И. Шапира («ритмосмысла» поэтического произведения), интерес представляет и концепция Н. А. Абиевой о повышенном уровне абстрагирования поэтического текста и связанной с этим семантической насыщенностью каждого знака [Абиева, 1999: 5–14].

Как отмечает Т. И. Воронцова, «ритм является важнейшим компонентом любой эстетической системы, формообразующим фактором стиха» [Воронцова, 2005: 159]. Е. Г. Эткинд и М. Л. Гаспаров пишут, что ритм является важным «фактором содержания» поэтического текста.

В теории стихосложения принято выделять три аспекта: фонику (рифму), метрику (стопа, размер) и строфику (строка, цезура, период, строфа) [Холшевников, 1996]. В. М. Жирмунский определяет **рифму** как «всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в метрической композиции стихотворения» [Жирмунский, 1975: 246]. Ю. М. Скребнев дает такое определение: «**рифмой** называется созвучие конечных слогов расположенных в непосредственной близости друг от друга стихотворных строк, основанное на тождественности звучания последнего ударного гласного и следующего за ним согласного (или согласных)» [Кузнец, Скребнев, 1960: 107].

Другим важным компонентом системы стихосложения является **метр**. А. В. Смирнова отмечает, что «специфика стиха лежит в области взаимодействия различных элементов. Его основой является деформирующая роль метра как абсолютного признака всякого стиха относительно факторов языкового рода, под которыми мы понимаем словесное ударение, слоговой состав слова, паузы, речевую интонацию и тому подобное. Метр является симметричным началом в стихе, его костяком, «скелетом», а языковой материал, обладающий своими естественными фонетическими свойствами, не зависящими от метрического закона, вносит

в стихотворный текст элемент асимметричности... Ритм — это, скорее, компромисс между симметричным и асимметричным началами в стихе» [Смирнова, 2000: 10]

И, наконец, особое значение в ритмической организации стихотворного текста имеет **строфа**. Ю.М. Скребнев отмечает, что поэтическое произведение делится на определенные, тождественные по своему строению, интонационно-ритмические смысловые отрезки — **строфы**, границы между которыми становятся заметными благодаря повторяющемуся в каждой из них количеству строк и рисунку расположения рифмы [Скребнев, 2003].

Закономерности в упорядоченности формы стиха определяют механизмы построения и управления смысловой структурой текста стихотворения. «Перед художником — как бы хаос индивидуальных, сложных и противоречивых фактов, смысловых (тематических), звуковых, синтаксических, в который вносится художественная симметрия, закономерность, организованность: все отдельные, индивидуальные факты подчиняются единству художественного задания. Происходит борьба между хаотическим, индивидуальным, и закономерно построенным, гармонически повторяющимся» [Жирмунский, 1975: 436]. При этом, как следование структурным правилам (метрико-ритмические структуры, рифмы, синтаксические и фонетические повторения), так и отступление от них (приемы переноса, ритмико-синтаксический параллелизм внутри строки и т. п.), обеспечивают вектор прочтения смысла стихотворного произведения, выдвижение концептуально важной для достижения единого художественного задания информации или ее аспекта, смысловых единиц.

Осознание факта особой информационной насыщенности поэтического слова является исходной точкой при анализе смысла лирического стихотворения. «Для мира лирической личности, с ее ценностями и идеалами, смысловой сгусток лирического слова является своего рода микрокосмом» [Гинзбург, 1997: 12]. Обладая концентрированной, мгновенной силой воздействия, поэтическое слово как элемент единой стиховой структуры и лирическое стихотворение в целом, несут комплекс смысловой информации: фактуальную (собственно сообщение о некоторых фактах, явлениях, событиях внешнего, реального или воображаемого, мира), концептуальную (поэтический вывод, рациональное и духовное,

эмоциональное освещение «поэтической темы», к которому приходит реципиент, адекватно подготовленный к интерпретации фактуальной стороны поэтического сообщения) и эстетическую информацию [Гумен, 2004: 59].

Отличительной чертой лирического произведения является богатство жанрового своеобразия (пейзажная, любовная, гражданская, философская и т.д. лирика). Как отмечает Н. В. Иванов, каждый художник стремится, прежде всего, утвердиться в жанровой стороне стиля. «Невозможно почувствовать стиль, не почувствовав жанр, в котором работает писатель» [Иванов, 2002: 159]. К лирическим жанрам принадлежат стиховые произведения малого размера [Томашевский, 1999]. Лирическая поэзия способна непринужденно и широко запечатлевать пространственно-временные представления, связывать выражаемые чувства с фактами быта и природы, истории и современности, с планетарной жизнью, мирозданием. Никаких общих норм в выборе лирической темы нет. Однако В. Е. Хализев отмечает, что содержание художественной модели лирического произведения образуется совокупностью трех начал, к которым следует отнести следующие: онтологические и антропологические универсалии, культурно-исторические явления и феномены индивидуальной жизни (прежде всего авторской) в их самоценности [Хализев, 1999: 346].

Художественное самопознание и запечатление авторских экзистенций, безусловно, доминирует в лирике. Лирика из всех родов поэзии наиболее автопсихологична, отличается наиболее яркой направленностью на автора. «Художественная идея (концепция автора) включает в себя и направленную интерпретацию, и оценку автором определенных жизненных явлений, и воплощение философского взгляда на мир в его целостности, которое сопряжено с духовным самораскрытием автора» [Хализев, 1999: 57]. Кроме того, многие лирические произведения отличаются своей автобиографичностью. «Каждое автобиографическое событие фиксируется в трехмерном пространстве, координатными осями которого являются яркость, важность и личностная значимость» [Нуркова, 2000; цит. по: Нюбина, 2005: 169]. Яркость памяти может определяться эмоционально положительными или отрицательными переживаниями, тональность произведения

также может меняться в зависимости от промежутка времени между свершением события и его вербализацией. В связи с этим необходимо отметить, что стиховая речь обладает повышенной эмоциональностью, причем, эмоциональная окраска остается неизменной во всем стихотворении. В лирике, как правило, фигурируют статические мотивы, развертывающиеся в эмоциональные ряды. Действия и события в лирическом стихотворении не образуютfabульной ситуации. Учитывая эмоционально-выразительное значение лирической поэзии, выделяют два основных приема введения и развертывания темы: «связанные» метафоры, которые дают целый метафорический ряд, и сознательное неразличение автором субъекта и объекта произведения. Поэт о внешних явлениях говорит так, как о своих душевных переживаниях, перемешивая свои внутренние впечатления и внешние образы [Томашевский, 1999: 230–233].

В заключение следует отметить, что слово играет особую роль в формировании семантики поэтического произведения и является важнейшим средством создания художественного образа. Символичность, многозначность, повышенная ассоциативность поэтического слова порождаются целостной структурой поэтического произведения с его тесными смысловыми связями. К структурным параметрам поэтического текста можно отнести композицию, ритмику, метрику, мелодику и многое другое, что также является средством создания образа, и только их сложное органическое единство приводит автора к воплощению его замысла. Кроме того, вопрос о том, какими средствами создается образность, решается еще и в зависимости от художественного метода, от жанра произведения, от идеиного замысла писателя и от его творческой индивидуальности — от остроты его наблюдения и от того, как он вообще оперирует словом. Лирическое произведение отличается повышенной эмоциональностью и автор психологичностью.

АБИЕВА Н. А., 1999. Поэтический язык и стимулированная картина мира // Язык. Речь. Коммуникация. Мурманск.

АРНОЛЬД И. В., 2002. Стилистика современного английского языка. М.

ВОРОНЦОВА Т. И., 2005. Ритмическая организация текста баллады // Человек в пространстве смысла: слово и текст. Studia Linguistica XIV. СПб.

- ГАСПАРОВ М. Л., 1989. Очерк истории европейского стиха. М.
- ГИНЗБУРГ Л. Я., 1997. О лирике. М.
- ГОНЧАРЕНКО С., 1988. Стиховые структуры лирического текста и поэтический перевод // Поэтика перевода. М.
- ГУМЕНЮК Ю. С., 2004. Функционирование культурно-специфической лексики в структуре поэтического текста (на материале современной англоязычной поэзии) // Дисс. ...канд. филол. наук. СПб.
- ЖИРМУНСКИЙ В. М., 1975. Теория стиха. Л.
- ИВАНОВ Н. В., 2002. Проблемные аспекты языкового символизма. Минск.
- КУЗНЕЦ М. Д., СКРЕБНЕВ Ю. М., 1960. Стилистика английского языка. Л.
- МИНЕРАЛОВ Ю. И., 1999. Теория художественной словесности. М.
- НИЮБИНА Л. М., 2005. «Поэзия правды или правда поэзии?» // Человек в пространстве смысла: слово и текст. Studia Linguistica 14. СПб.
- ПОПОВА З. Д., 1982. Поэтическая стилистика как предмет исследования // Поэтическая стилистика. Воронеж.
- ПОТЕБНЯ А. А., 1976. Эстетика и поэтика. М.
- СКРЕБНЕВ Ю. М., 2003. Основы стилистики английского языка. М.
- СМИРНОВА А. В., 2000. Поэтика романтизма и поэтический язык П. Целана (на примере сравнения индивидуальных стилей Целана и Новалиса) // Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб.
- ТОМАШЕВСКИЙ Б. В., 1999. Теория литературы. Поэтика. М.
- ХАЛИЗЕВ В. Е., 1999. Теория литературы. М.
- ЧЕРНЫШЕВ С. И., 1995. Эстетическая функция слова и мифопоэтические представления // Словоупотребление и стиль писателя. СПб.
- ЩИРОВА И. А., ТУРАЕВА З. Я., 2005. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы. СПб.
- ЭТКИНД Е. Г., 1974. Ритм поэтического произведения как фактор содержания // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.

Л. С. Некрасова

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОБРАЗ», «ОБРАЗНОСТЬ» И «ИСТОРИЗМ» В СЛОВЕСНО-ТВОРЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Образность художественного текста всегда была в центре внимания лингвистических исследований как за рубежом, так и в русской филологии. Среди исследователей, внесших наибольший вклад в развитие и разработку теории образа, следует отметить И. В. Арнольд, Ш. Балли, И. Р. Гальперина, М. Д. Кузнец, В. П. Кухаренко, А. Н. Мороховского, Н. Ф. Пелевина, Н. П. Потоцкую, Д. Э. Розенталя, Ю. М. Скребнева, и др.

Несомненен тот факт, что в языке имеет место феномен образности и что языковой материал вызывает в нас образные представления; что характер образных откликов, возникающих в нашем сознании в связи с тем или иным языковым артефактом, различен; что существуют так называемые образные средства языка, разные по своей структуре и поддающиеся собственно лингвистическому описанию.

Понятие «образ» является сложным, поскольку оно является предметом исследования многих наук — философии, психологии, эстетики, литературоведения и, конечно, лингвистики.

Как отмечает И. В. Арнольд, образ является основным средством художественного обобщения действительности, знаком объективного коррелята человеческих переживаний и особой формой общественного сознания. В широком смысле термин «образ» означает отражение внешнего мира в сознании [Арнольд, 2004: 113].

Не вызывает сомнений общезвестное в стилистике положение, сводящееся к следующему: образ — щедрый источник, который питает и обновляет язык, но сам по себе он не составляет особой формы речи — это средство или способ.

А. Н. Мороховский дает определение понятия «образ», включающее в себя непосредственно элементы речи, которые этот образ передают. Итак, образ — отрезок речи (слово или словосочетание), несущее особую информацию, значение которой не эквивалентно значению отдельно взятых элементов данного отрезка [Мороховский, 1991: 38]. Безусловно, это общее определение

ние можно уточнить и конкретизировать применительно к слову и к отрезкам речи, большим чем слово. Развивая данную тему, А. Н. Мороховский делает уточнение в определении термина «образ», относительно единиц, больших, чем слово; образ — сложное единство изображения и выражения, то есть образ является сложным знаком, у которого в качестве плана выражения выступает изображение, а в качестве плана содержания — новое выражение, не сводимое к ранее выраженному (в отдельных, впрочем довольно редких случаях, это определение применимо к слову) [Мороховский, 1991: 40]. Конечно, «средством», а точнее — самим воплощением образов, является художественная речь.

Очень емкое, хотя и не связанное с понятием «контекст», понятие образности рассматривается в работах А. И. Чижик-Полейко и Н. С. Болотновой. Авторы пишут, что образность слова — это его способность вызывать зрительные, слуховые, осязательные, моторно-двигательные и другие представления об обозначаемом, возникающее в сознании носителя языка при восприятии слова вне контекста [Чижик-Полейко, 1966: 40, Болотнова, 1988: 38].

Действительно, любое слово в определенных контекстуальных условиях может приобрести некий дополнительный, в том числе, образный смысл. Однако это, как нам представляется, происходит не с каждым словом. Лингвисты, занимающиеся проблемами и первопричинами образности в языке, считают: как идеальные образы сознания являются результатом чувственного познания мира, так и языковая образность связана с механизмами сенсорного освоения действительности. Это означает, что образными в системе языка могут быть те слова, референтами которых являются реально наблюдаемые и осязаемые (ощущимые), воспринимаемые органами чувств явления действительности [Кузнецова, 2005: 80].

В этом вопросе нам близка точка зрения Л. В. Щербы, который различал в тексте художественно значимые элементы и «пустые места», «упаковочный материал», то есть места значимые в коммуникативном отношении, но незначимые или мало значимые в художественном отношении [Щерба, 1974: 246].

Ш. Балли убежден, что понять слово и ощутить его эмоциональную окраску можно только благодаря тому, что мы бессознательно сопоставляем его с другими [Балли, 1965: 39].

В связи с данным положением образы условно можно разделить на две группы: группа «классических, традиционных» образов и группа «непредсказуемых» образов. Понимание последних порой представляет некоторые затруднения. Чем дальше предметы, на сходстве которых основывается образ, тем ярче этот образ.

Например, сравнение цвета глаз с цветом камня или цветком — классическое и часто встречаемое сравнение в литературе:

His eyes, globed and clouded like some green stone of curious texture, were fixed [Woolf, 1995: 9].

... and violet eyes; and a heart of gold; and loyalty and manly charm... [Woolf, 1995: 10].

В следующем примере сравнение становится достаточно неожиданным, поскольку то, что сравнивается, далеко от сравниваемого: тело сопоставляется со шкафом:

... a hand, he guessed, attached to an old body that smelled like a cupboard in which furs are kept in camphor... [Woolf, 1995: 9].

Исследователи по-разному интерпретируют сущность образа и причины его происхождения.

Так, Ш. Балли, предлагая свою трактовку образа, подчеркивает, что было бы глубокой ошибкой считать, что образная речь — прежде всего плод эстетических потребностей нашего разума и что к ней прибегают тогда, когда стремятся облечь мысль в привлекательную форму.

Образ — плод ошибки или необходимости. Эта ошибка имеет место в результате несовершенства человеческого ума, которое состоит в его неспособности к абсолютной абстракции; он не может выделить чистое понятие, воспринять идею вне всякой связи с конкретной действительностью. Абстрактные понятия уподобляются предметам чувственного мира, ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить с ними других. Таково, например, происхождение метафоры.

В том случае, когда создание образа определяется эстетическими намерениями, подводит итог лингвист, образ этот перестает принадлежать стилистике и становится фактом индивидуально-художественного стиля [Балли, 1965: 221-223].

Несколько иначе излагает причину появления образа К. А. Долинин. Образ видится автору как результат чисто фи-

зиологических аспектов. Вслед за физиологом Л. С. Салямоном, К. А. Долинин полагает, что семантическое основание образа хорошо согласуется с принципом «воронки», который заключается в том, что возможности человеческого восприятия значительно больше, чем возможности реагирования на внешние впечатления. Следовательно, за переделами возможностей словесного выражения оказываются в первую очередь наши эмоции для них и необходим второй, особый язык — язык искусства [Салямон, 1968: 310].

Возникновение образности объясняется и рядом психических факторов. Так, К. Бюлер пишет, что оно происходит как результат жажды наглядности и потребности в непосредственном контакте и общении с чувственно воспринимаемыми вещами — это состояние говорящего, психологически вполне объяснимое. Человек же чувствует себя оттесненным промежуточным механизмом языка («вооружившего» человека звуками и словами) от обилия всего того, что может непосредственно созерцать глаз, слышать ухо, ощущать рука, и он ищет путь назад, стремится насколько возможно, к полному охвату конкретного мира, воплощая свою потребность сенсорных ощущений через языковую образность. Таковы мотивы и возможности реализации «феномена живописания», имеющего место в языковой деятельности [Бюлер, 1993: 178–179].

В итоге, признавая словесную образность частным проявлением психического процесса отражения, вслед за Е. М. Журавлевой мы говорим о подчиненности образности общим закономерностям сенсорно-перцептивного отображения, а это значит, что она обладает модальными, интенсивными и другими характеристиками [Журавлева, 1998: 78].

Несмотря на расхождения в вопросе о первопричинах возникновения образа, исследователи приходят к общему заключению: художественный образ как одна из форм отражения действительности есть ее особая форма. Специфика его заключается в том, что, давая человеку новое познание мира, он одновременно передает и определяет отношения к отражаемому, представляет полученную информацию в новой сущности. Психологическая действенность образа делает восприятие литературного произведения живым и конкретным.

Вышеизложенные соображения относительно сущности образа, его «материального» воплощения (отрезок речи — слово или словосочетание, несущие образную информацию), причин появления и связи его содержания с познавательной деятельностью человека позволяют включить в имеющийся ряд средств создания образов в художественном произведении историзмы, поскольку они представляют собой отображение артефактов жизни различных эпох, выполняя в художественном тексте ряд стилистических функций.

На уровне текста историзмы создают образы, и их можно классифицировать на две группы: «простые» и «сложные» образы в зависимости от выполняемых ими стилистических функций.

В случае со стилистической функцией историзмов создания колорита описываемой эпохи чувственный образ основан на конкретном слове-историзме, поэтому его можно отнести к первой группе. Представления об обозначаемом как единственном обозначении исчезнувшего из современной действительности явления или предмета жизни, возникающее в сознании носителя языка уже на уровне текста, имеют тот же характер что и восприятие этого же слова вне контекста (знакомство со словарной статьей). Образ несложен по своей сути потому, что историзмы (в силу их семантической природы — наименование конкретного и опредмеченного) — это обозначение не абстрактных предметов, а элементов чувственного мира, референтами которых являются реально наблюдаемые явления действительности.

Несколько иначе обстоит дело с другими стилистическими функциями, которые выполняет историзм в словесно-творческом произведении, а именно эмотивной функцией и эффектом обманутого ожидания, объединяющими комическую, ироническую и сатирическую стилистические функции. Когда речь идет о таких функциях, имеет место выход на уровень контекстуального анализа, поскольку в таком случае перед нами пример использования историзма вне традиционного контекста исторического описания, когда появление в тексте подобных слов не сводится только к их словарным значениям с пометой «уст.». В результате резкого контраста между нейтральным стилем повествования и высоким тоном историзмов, а также дополнительных коннотативных или ассоциативных значений, появляющихся в этом

несоответствии, проявляется ироническое отношение автора к своим персонажам или ряду событий.

Следует помнить, что, включаясь в речевое высказывание, лексические единицы, безусловно, привносят с собой свой исходный образный потенциал, однако изобразительно-выразительный характер речи далеко не всегда определяется «образностью словаря», то есть простой суммой образных ассоциаций, привносимых в высказывание каждым отдельным словом.

В целом ряде случаев лексические единицы в определенном речевом контексте могут порождать совершенно новые образы, не заложенные в слово на уровне языка и принципиально отличающиеся своим характером от традиционных словесных образов. Так возникают сложные многоплановые ассоциации, благодаря которым историзмы выполняют порой не совсем типичные для них стилистические функции.

- АРНОЛЬД И. В., 2004. Стилистика. Современный английский язык. М.
БАЛЛИ Ш., 1965. Французская стилистика. М.
БОЛОТНОВА Н. С., 1988. Слово в образной перспективе художественного текста//Вопросы стилистики. Вып. 22. Саратов.
БЮЛЕР К., 1993. Теория языка: Репрезентативная функция языка. М.
ДОЛИНИН К. А., 1987. Стилистика французского языка. М.
ЖУРАВЛЕВА Е. М., 1998. Образность как специфическое свойство художественного/поэтического текста//Проблемы культуры, языка, воспитания. Вып. 3. Архангельск.
КУЗНЕЦОВА О. С., 2005. К вопросу о словесной образности//Вопросы германской и романской филологии. Вып. 4. СПб.
МОРОХОВСКИЙ А. И., ВОРОБЬЕВА О. П., ЛИХОШЕРСТ И. И., ТИМОШЕНКО З. В., 1991. Стилистика английского языка. Киев.
САЛЯМОН Л. С., 1968. О физиологии эмоционально-эстетических процессов. М.
ЧИЖИК-ПОЛЕЙКО А. И., 1966. Стилистика русского языка. Воронеж.
ЩЕРБА Л. В., 1974. Языковая система и речевая деятельность. Л.
WOOLF V. Orlando. 1995. Wordworth Editions Limited.

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ	4
---------------------------	---

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАНИЯ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

М. В. НИКИТИН. Об уровневой структуре языка	7
И. В. АРНОЛЬД. Наше наследие: о судьбах русской филологии XX века	18
И. К. АРХИПОВ. Стремление к истине: амбиции и реальности языка	25
Е. А. ГОНЧАРОВА. Лингвистика текста и стилистика — общее и специальное в методологии и предмете изучения	33
А. Г. ГУРОЧКИНА. Диалогический дискурс как среда и результат межличностного взаимодействия	43
В. В. КАБАКЧИ. Значение, словарь и лингвистическое исследова- ние	49
Н. А. КОБРИНА. Исторические предпосылки и закономерность становления когнитивного направления в лингвистике	59
Е. С. КУБРЯКОВА. О концептах, схваченных знаком	69
З. Я. ТУРАЕВА. Язык и когнитивная картина мира	76

ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ

Т. И. ВОРОНЦОВА. Картина мира. Национально-культурный и лингвистический аспекты	86
О. В. ЕМЕЛЬЯНОВА. Языковая актуализация когнитивных стилей в условиях межличностной коммуникации	94
С. В. КИСЕЛЕВА. Формирование содержательного ядра полисе- мантического слова (на примере глаголов отношения «часть-целое») .	101
В. В. МЕНЯЙЛО. Динамичность авторской картины мира	110
Ю. С. ОЛЕЙНИК. К вопросу об отражении картины мира в языке фольклорного текста	118
И. Г. СЕРОВА. Языковые механизмы презентации гендерных концептов в английском языке	127
С. Г. ФИЛИППОВА. О слоисто-полевой организации авторского концепта	135

ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

А. Г. АХИЯРОВА. Развитие семантики относительных прилага- тельных в истории английского языка	142
В. Н. КАРЛОВСКАЯ. Лексические средства презентации амби- валентности эмоций в художественном тексте	147
О. А. ПОСТНИКОВА. Классификация антропонимов-символов (на материале английского языка)	151

А. И. ПРИХОДЬКО. Оценочный аспект функционирования языка	156
О. Д. ПРОКОПЧИК. Проблема оценки в философских концепциях эмоций	162
А. Н. РЕЗАНОВА. Семантические отношения внутри дисфемистических преобразований	167
Ю. В. СЕРГАЕВА. Коллaborативные интернет-проекты: к проблеме словотворчества как двусторонней деятельности	174
И. В. ТОЛОЧИН. Coffee Beans on Coffee Tables: о критериях разграничения сложного слова и словосочетания	183
 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
Ю. П. ВЫШЕНСКАЯ. Куртуазная традиция и ‘гротескный’ реализм в средневековой английской поэзии	191
Н. А. КОБРИНА, Е. Е КАЛИНИНА. Формирование перфектной категории в английском языке	197
О. Н. КУЗЬМЕНКО. Символика числа два (на материале старофранцузского романа XIII в. “La Queste del Saint Graal”)	201
А. Е. ЛУКИНА. Фонетико-графические варианты во французских рукописях XVIII–XIV веков	206
Е. Н. МИХАЙЛОВА. Константы традиционной грамматики в ренессансных описаниях французского языка	213
Н. А. ПУЗАНОВА. Проблемы глагольной синонимии в когнитивном аспекте (в диахронии)	222
 ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	
Г. В. ЕЛИЗАРОВА. Об отличии межкультурного общения от коммуникации	229
Ю. В. ЕРЁМИН, А. В. РУБЦОВА. Особенности продуктивной иноязычной текстовой деятельности	243
Т. А. КАЗАКОВА. Ассиметричность стиля в переводе	250
С. Л. ПШЕНИЦЫН. К проблеме перевода «политкорректных» лексических единиц	257
И. Н. ХОЛЬМСТРЕМ. La formation de la competence communicative dans l'enseignement de la langue francaise	270
И. А. ШАЛУДЬКО, А. В. ИВАНОВА. Лингвистический анализ текста и теория перевода	276
 ФАНТАЗИЙНО-ИГРОВОЕ НАЧАЛО ЯЗЫКА И ТЕКСТА	
И. А. КАРГАПОЛОВА. О лингвистической проблематике абсурда (nonsense)	285
Е. Н. ЛЕВКО. Есть ли «символический дракон» у Дж. К. Роулинг? 295	
А. О. ТАНАНЬХИНА. Особенности хронотопа современной литературной англоязычной сказки	300

О. Е. ФИЛИМОНОВА. К проблеме адресата: стихи для пожилых женщин	309
З. М. ЧЕМОДУРОВА (ТИМОФЕЕВА). Игровые стратегии создания неопределенности дейктического модуса художественного текста постмодернизма	316
И. А. ЩИРОВА. Парадоксы вымысла	323
Е. В. ЯКОВЛЕВА. Референция и субъективность языка	332

**СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ЭКСПРЕССИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ**

О. В. КАРЕЛОВА. К вопросу изучения поэтического текста	340
Л. С. НЕКРАСОВА. Соотношение понятий «образ», «образность» и «историзм» в словесно-творческих произведениях	347

НАШИ АВТОРЫ

АРНОЛЬД ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА — Заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

АРХИПОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ — доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

АХИЯРОВА АЛЬФИЯ ГУСМАНОВНА — аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ВОРОНЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой фонетики английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ВЫШЕНСКАЯ ЮЛИЯ ПАВЛОВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры фонетики английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ГОНЧАРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — доктор филологических наук, профессор кафедры немецкого языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ГУРОЧКИНА Алла Георгиевна — кандидат филологических наук, профессор кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ЕЛИЗАРОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА — доктор педагогических наук, профессор, декан факультета иностранных языков Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии факультета филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета.

ЕРЁМИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой английского языка для гуманитарных факультетов Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ИВАНОВА АННА ВИКТОРОВНА — старший преподаватель кафедры испанского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, соискатель по кафедре романской филологии.

КАБАКЧИ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ — доктор филологических наук, профессор кафедры теории языка и переводоведения Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

КАЗАКОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА — доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии и перевода Санкт-Петербургского государственного университета.

КАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА — аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

КАРГАПОЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — доктор филологических наук, доцент кафедры английской филологии Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.

КАРЕЛОВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА — кандидат филологических наук, ассистент кафедры фонетики английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

КАРЛОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ НАУМОВНА — старший преподаватель кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

КИСЕЛЁВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — доктор филологических наук, доцент кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

КОБРИНА НОВЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА — доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

КУБРЯКОВА ЕЛЕНА САМОЙЛОВНА — Заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкоznания РАН, Председатель Президиума Российской ассоциации лингвистов-когнитологов (РАЛК).

КУЗЬМЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры романской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ЛЕВКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА — аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ЛУКИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры романской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

МЕНЯЙЛО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА — аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА — доктор филологических наук, профессор кафедры французского языка Белгородского государственного университета.

НЕКРАСОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

НИКИТИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ — Заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ОЛЕЙНИК ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА — аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ПОСТНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА — аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ПРИХОДЬКО АННА ИЛЬИНICHНА — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английской филологии Запорожского национального университета.

ПРОКОПЧИК ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры делового иностранного языка Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.

ПУЗАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ПШЕНИЦЫН СЕРГЕЙ ЛЕОНIDOVICH — кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

РЕЗАНОВА АЗЕЛЛА НИКОЛАЕВНА — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

РУБЦОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА — кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка для гуманитарных факультетов Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

СЕРГАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА — кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

СЕРОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА — кандидат филологических наук, профессор кафедры английской филологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.

ТАНАНЫХИНА АЛЛА ОЛЕГОВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ТОЛОЧИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ — доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Санкт-Петербургского государственного университета.

ТУРАЕВА ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА — доктор филологических наук, профессор, около полувека работала в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (ранее Ленинградском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена), в течение 27 лет руководила кафедрой английского языка. Ныне проживает в Германии.

ФИЛИМОНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ФИЛИППОВА СВЕТЛANA ГЕННАДЬЕВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Волховского филиала Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, и.о. заведующего кафедрой.

ХОЛЬМСТРЕМ ИРИНА НИКОЛАЕВНА — кандидат филологических наук, ассистент кафедры французского и испанского языков Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ЧЕМОДУРОВА ЗИНАИДА МАРКОВНА (ТИМОФЕЕВА) — кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ШАЛУДЬКО ИННА АЛЕКСАНДРОВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры испанского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ЩИРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры испанского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Сдано в набор 25.05.2009. Подписано в печать 10.06.2009.

Формат издания 60×84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.

Гарнитура SchoolBookC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0.

Тираж 200 экз. Заказ 2810.

Отпечатано в ООО «Политехника-сервис».
191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6